

Кс

ЗВУКОВЫЕ

MARLENE

В ЖАНРАХ



КИНО

N5

ISSN 0206-8680

СЦЕНАРИИ

5  
95





В начале 1996 года галерея "Дом Нащокина" открывает персональную выставку работ Эрнста Неизвестного

**ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ**  
в галерее  
**"ДОМ НАЩОКИНА"**  
при журнале  
**"КИНОСЦЕНАРИИ"**



Об Эрнсте Неизвестном — выдающемся современном русском художнике, скульпторе и философе — написаны книги, сотни статей, сняты фильмы. Это художник монументального синтеза в духе традиций русского авангарда Кандинского и Малевича. Эрнст Неизвестный является членом Шведской королевской академии наук, Нью-Йоркской академии наук и искусств и Европейской академии гуманитарных наук и искусств. Работы художника находятся в крупнейших музеях и коллекциях мира.

**Генеральный спонсор всех наших выставок банк "ИМПЕРИАЛ"**





# № 5 КИНО СЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Учредители:  
Комитет кинематографии при  
правительстве Российской  
Федерации  
Конфедерация Союзов  
кинематографистов  
Редакция журнала  
"Киносценарии"

Журнал издается с 1973 года

## ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

- |                                |     |                          |
|--------------------------------|-----|--------------------------|
| А. Галин                       | 10  | "АНОМАЛИЯ"               |
| Ф. Горенштейн<br>А. Тарковский | 44  | "СВЕТЛЫЙ ВЕТЕР"          |
| А. Алиев                       | 75  | "НАТИСК СТРАСТИ"         |
| И. Киасашвили                  | 82  | "КАК В КИНО..."          |
| Е. Лобачевская                 | 85  | "ЗВЕРЕВ"                 |
| А. Гоноровский,<br>Р. Ямалеев  | 92  | "ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ"         |
| А. Хван, А. Дедков             | 97  | "ПОЕЗД"                  |
| А. Митта                       | 119 | "СТЕРЕОТИПЫ ДРАМАТУРГИИ" |
| М. Дитрих                      | 138 | "АЗБУКА МОЕЙ ЖИЗНИ"      |
| Б. Носик                       | 144 | "БАХОРФИЛЬМ"             |
| Г. Краснова                    | 172 | "ГРЕТА ГАРБО"            |





**АЛЕКСАНДР ГАЛИН:**

*"Мои герои  
не несчастны.  
Они просто висят  
над землей".*



– Саша, спасибо, что нашли время для интервью. Я знаю, что вы репетируете свою пьесу в театре "Ленком"; студия "Арк-фильм" на "Мосфильме" готовится к началу съемок вашего фильма. Вы, много и плодотворно работая, пользуетесь мировой известностью и при всем этом ведете довольно закрытую жизнь, не втянуты в модные нынче коммерческо-светские отношения. Почему так?

– Я по своему устройству – не человек активных действий. А что вы имеете в виду, говоря о коммерческо-светских отношениях?

– **Все эти тусовки, презентации, фестивальные гонки, политические игры...**

– Эта жизнь наполнена содержанием – борьбой за жизненное пространство. Все, что вы перечислили, делается ради желания быть замеченным. Это нелегко – существовать и быть независимым от "платформ" и "гонок". Выпивать мне как-то не свойственно. Потом я склонен к свежему воздуху, люблю прогулки... Пожалуй, связано только с этим, а идеологических, нравственных, эстетических возражений у меня против этого нет. Я не воспринимаю коммерческо-светские отношения как нечто серьезное, к чему нужно как-то относиться.

– **В искусстве вы достигли расцвета – к вам пришла слава, признание. Когда вы начинали свой путь, вы мечтали об этом?**

– Вы в такой милой форме задаете вопросы: в первом вопросе шарахнули про мировую известность, теперь про славу и расцвет. Приятно слушать, но нужно отдавать себе отчет.

– **А расцвет не от вас зависит, это стихийно происходит в жизни каждого.**

– Про расцвет – это правильно, а насчет славы и признания – думаю, что это преувеличено. Меня знает небольшой круг театральных специалистов.

– **Вы говорите о публичной популярности, а я – о серьезном признании.**

– Может быть, что-то такое есть... Я пережил все это очень рано. Мои пьесы пошли сразу и здесь, и во многих странах. Я знал, что такое большие гонорары, знал, как это бывает, когда приезжаешь на премьеру, тебя встречают, приветствуют. Поначалу все это кажется интересным, а потом только повторяется. Премьера твоего фильма в Нью-Йорке при большом скоплении лимузинов или премьера в Сызрани при небольшом скоплении автомобилей "Волга" и "Жигули", конечно, отличаются, но цикл примерно тот же: овации, взгляды, поцелуи, рукопожатия. Потом ты едешь отдыхать в отель. Отели разные, но в общем все одно и то же...

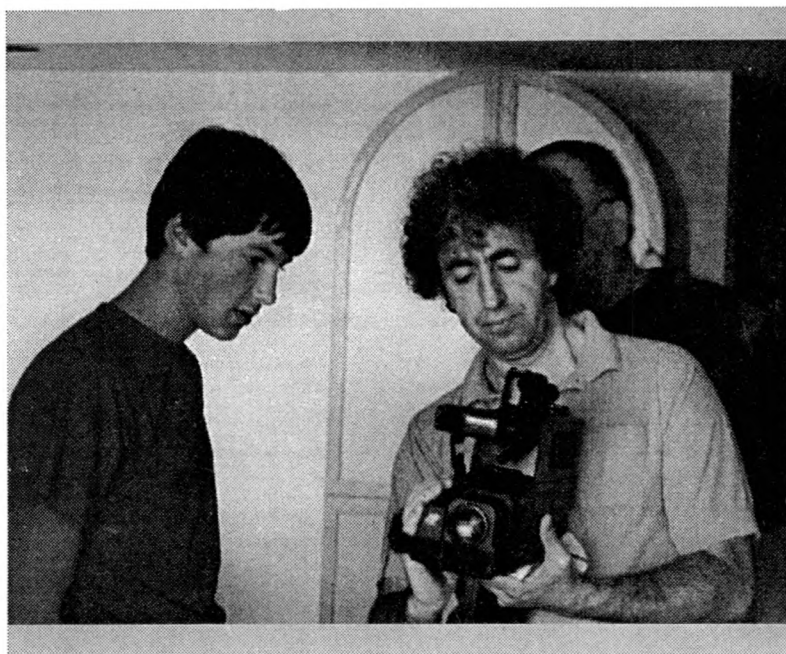
Однако есть и другая сторона. Мне приходят иногда очень горькие и иногда ужасно тяжелые мысли: "Что ты сделал? Как идет твоя жизнь?" Особенно часто я думал об этом на рубеже восьмидесят девятого – девяностого годов. После бурного театрального взлета, когда ставилось много моих пьес, выходили хорошие спектакли, над ними работали хорошие режиссеры, а мне казалось, что я что-то не то делал, не так писал.



**– Вы стояли перед выбором профессии или это было как-то предопределено?**

– Нет, жизнь не предложила мне такого выбора. Я жил в Курске, в маленьком городке, и чтобы чего-то добиться, мне нужно было уехать. Лет в четырнадцать я понял, что нужно сесть на трамвай и доехать до вокзала. От дома до трамвайной остановки на улице Веселой было метров 80, но тогда это пространство казалось мне огромным, невероятным. Это и был мой выбор...

Чем я хочу заниматься, было ясно с самого раннего детства, "с младых ногтей". Лет в семь-восемь я организовал свой театр, который состоял в основном из актрис... Я был маленький, хрупкий, вырос только между 17 и 22 годами, но коллектив держал в жестких руках. Не смейтесь. Я овладел искусством обещания, а женщины этому искусству поддаются.



Александр Галин  
с сыном Владимиром

**– Женщины подчас идут вам навстречу и делают вид, что поверили.**

– Это правда. Но тогда у меня был театр, и я был хозяином, и постановщиком спектаклей, и актером. Мечтал ли я о славе? Вне всякого сомнения. И я ее добился. Слава моя простиралась на несколько близлежащих дворов. С самого раннего детства я понимал, что представляю собой что-то исключительное, потому что появление такого мальчика в голодном, страшном послевоенном дворе, в еврейском, можно сказать, гетто, не было заурядным. Я ставил спектакли, давал представления для взрослых и детей, но потом стало ясно, что жизнь никак не учитывала мои мечты о славе и признании. Я понял, что мне предстоит долгая осада этой крепости. И с тех пор я научился терпению и радости от маленьких шажков. Я понял, что это и есть жизнь. Во всяком случае, для меня.

Позже, когда пришли и признание, и слава и я вступил в этот отполированный мир, кажущийся выше тебя и значительнее, в так называемый элитарный круг, я понял, что он всегда будет для меня и чужим, и чуждым. Оскомина от



необходимости что-то преодолевать, добиваться быть принятым в их группу, элиту навсегда отбила у меня даже интерес к этим отношениям. Я думаю, тогда же мною был сделан еще один выбор: меня тянуло к провинциальным – тихим, спокойным – людям, которых не нужно было завоевывать.

**– Ваши пьесы шли в "Современнике", в "Ленкоме", у Додина в Санкт-Петербургском Малом драматическом театре. Почему вы вдруг решили сами стать режиссером?**

– Я решил стать режиссером по экономическим соображениям. (Смеется.) Вот уже несколько лет я ничего не получаю за свои пьесы не только от отечественных театров, но и от многих зарубежных. Силы иссякли...

**– Это грустная тема и для обсуждения бесперспективная. Я хочу вас спросить "не о хлебе, но о звездах". Как бы ни был художник самостоятелен и независим в творчестве, у него наверняка есть какое-то художественное впечатление, которое влияет на его понимание жизни, творчества, на его мировоззрение. У вас есть?**

– Да. Федерико Феллини. Когда я посмотрел его фильмы, меня поразило, что он выразил многое из того, что было во мне, то, как я чувствовал жизнь, что хотел сам сказать. Мне многое было близко по ощущению жизни, людей, взаимоотношений. И даже как будто знакомо. И эта близость, родственность чувств доставляет мне огромную радость всегда, сколько бы раз я ни смотрел его фильмы.

Еще Шагал. Должен сказать, что я никогда не разделял всеобщего восхищения картинами Шагала, хотя что-то меня в них беспокоило. Этот взлетевший над землей человек, эти петухи на крышах меня тревожили. Что-то в них было из того, что гнездились во мне.

Совсем недавно я был на гастролях в Израиле со своей пьесой "Сорри". В это время у меня умерла мама. Там, в Израиле, я открыл книгу Шагала. Она начинается странно: "Первое, что я помню, это корыто". И я тоже, первое, что помню, – корыто. Дальше он пишет: "Я спал в корыте". И я спал в корыте. Потом он говорит, что у него все время болела шея, потому что он все свое детство смотрел на звезды. То же самое было и у меня. Потом я стал читать дальше и прочел главу о его матери. Он так потрясающе пишет... То, что я чувствую, он произнес вслух, понимаете... и я понял, что у меня с ним в судьбе много общего. Я, конечно, сейчас не анализирую его картины и мои пьесы, но по существу этот висящий над землей человек – герой всех моих пьес. Меня часто спрашивают, почему герои моих пьес несчастны. Они не несчастны. Они просто висят над землей.

В огромной степени чувство понимания жизни связано у меня с Чаплином. Именно с пониманием того, как эта жизнь устроена. Что такое маленький человек? А человек не может быть большим. Он может быть только маленьким, потому что существует в таких больших пространствах, под громадным скоплением страшных величин, – он и есть маленький.

Все это нужно помножить на Николая Васильевича Гоголя, который открыл мне Россию.

**– Где вам интереснее заниматься режиссурой – в театре или в кино?**

– Я еще никогда не занимался режиссурой как таковой. Режиссура – серьезное дело. Мой первый опыт на фильме "Плащ Казановы" – именно опыт. Я этому не учился, черпал из смежных профессий, а чаще всего шел ощупью, вслепую. Мне, конечно, очень помогало то, что я занимался драматургией,



писал сценарий, знал из каких проявлений, из каких знаков лепятся характеры, как удержать на плаву историю, что такое подтекст и что такое дыхание фильма. Я понимал, что у фильма должно быть внутреннее движение, которое скрыто за сюжетом и диалогом.

Мне было очень интересно заниматься изображением, ведь я делал это впервые, раньше все было в словах. А тут еще Венеция. Оперировать этим было легко и увлекательно. Но это не занятие режиссурой. Я делал это полшутя и, должен сказать, безответственно. Только когда все кончилось, я осознал, что в руках у меня были огромные, не принадлежащие мне средства, что от моей

работы, моих решений зависели судьбы людей. Но это я понял потом.

В театре я начинаю заниматься этим трудным делом только сейчас. Я все-таки развращен одиночеством... И в этом смысле ленив, свободен, а занятие режиссурой требует огромной внутренней дисциплины. Занимаясь обманом, ты должен постоянно обманывать других, как будто ты знаешь, чего хочешь; способен всех увлечь, знаешь, как это сделать. Это постоянное душевное напряжение. Этому нужно учиться. Не могу сказать, что я уже научился, но учусь.

**– Есть у вас система работы с актером? Меняется ли она в театре и кино?**

– Есть. Прежде всего нужно поставить задачу, которая увлечет актера, сделать так, чтобы он почувствовал новизну. Если он это уже играл, он обязательно перейдет на штамп. Играется один раз, второй – уже повторяется. Работая с актером, нужно знать, что он играл, как сыграл.

Система работы с актером в театре и кино для меня не меняется. Если

ты готов к репетиции, если придумал спектакль, проанализировал все ходы и прожил, тогда работать легко. Остается главная психологическая задача – отодвинуть компромисс. Домучиться до какого-то рубежа и сказать: "Все! Идем дальше!" – поняв, что больше не нужно терзать человека, больше из него ничего не получится. И из себя тоже ничего отжать невозможно.

Знаете, мне вот говорили, что, приступая к съемкам, я должен посмотреть много фильмов – так принято. А я не посмотрел ни одного. Внутренне я чувствовал, что мне это будет мешать. Не потому, что я хотел сохранить свою самобытность – таковой просто нет, но была уверенность, что на этом пути я ничего не найду. Я придумал один фильм "Плащ Казановы", а получился не-много другой. Я видел чуть-чуть другую Венецию. А потом я увлекся, и мне понравилось, как мы сделали.



Александр Галин с оператором  
Михаилом Аграновичем  
в Венеции на выборе природы

– У вас есть любимые актеры? Будут ли они заняты в вашем новом фильме?

– Мои любимые актеры те, с кем я сейчас работаю и работал раньше: Инна Чурикова, Лия Ахеджакова, Александр Калягин, Николай Караченцов. Почему я люблю их? В них есть острота восприятия несчастья жизни. Они очень близки мне в этом смысле. Да, я планирую занять их в своем новом фильме. Мне хотелось бы поработать с Олегом Янковским, мне нравятся Женя Глушенко, Лена Майорова. Я знаю и люблю актеров.

– Вот мы и подошли к вашему новому сценарию. Когда он был написан? Как родился замысел "Аномалии", ведь всегда бывает начало, толчок. Несмотря на то что события в нем вполне жизненные, реалистическим его не назовешь. Как пришла вам идея такого места действия? Или это – образ нашей среды обитания?

– Сценарий был написан год назад с целью продолжения моей кинематографической карьеры. (Смеется.) Я ощущаю эту историю как реалистическую. Не забывайте, в какой отрезок времени мы живем, какие события приходится отражать. Они так насыщены всевозможными искажениями и столь динамичны, что нет нужды добавлять к ним литературный абсурд. Я считаю абсурдом, что такие города есть на самом деле. Есть и будут. Не бред ли это? Люди сидят под землей и считают на компьютерах в ожидании сигнала, чтобы



Инна Чурикова

послать страшную многотонную ракету и за одну минуту уничтожить сотни тысяч людей. Какая фантазия, какие литературные фантазмагии могут сравниться с этой реальностью? С этим реалистическим отношением к своей работе?

Идея места действия пришла на озвучании "Плаща Казановы".

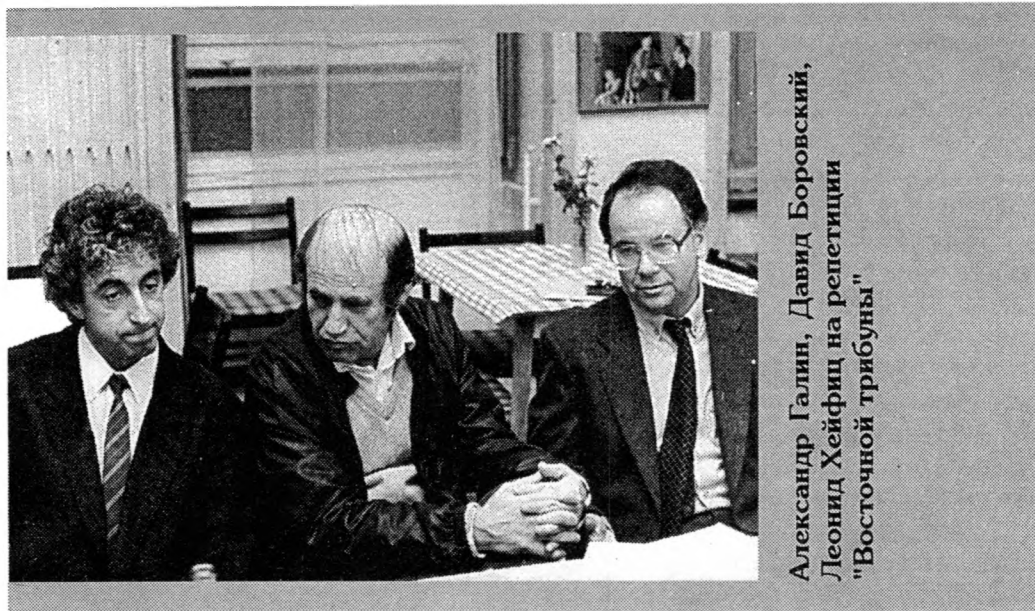
Однажды мы пришли в фонотеку, я протянул руку и достал коробку с надписью: "Шаги усталых людей по бетону" – и почувствовал удар. Знаете; бывает боль, когда в душе что-то ударит. Вот эта земля, залитая бетоном, бетонные заборы, бетонные плиты, этот образ нашего Отечества, недорогой известковый социализм с мраморными вкраплениями в пределах Тверской. Немощная империя и усталые люди на этих бетонных дорогах. Я видел их, когда жил в Курске. Они уходили по этим бетонным дорогам. Они уходили в военные городки и больше не возвращались.



Вот я написал сценарий и уже "распределил роли". Хочу собрать вместе А.Калягина, И.Чурикову, Л.Ахеджакову, Н.Караченцова, Е.Глушенко. Они будут играть артистов-кукольников. А вот кто будет играть тех, кто их встречает в опустевшем военном городке, предстоит еще решить.

**– Герои ваших произведений почти всегда несчастны. Их несчастье, как правило, не в том, что их кто-то разлюбил, бросил, не в бедности и одиночестве. Несчастье в том, что не осуществились мечты, желания, надежды. Это ваш счет жизни или своим героям?**

– Это не счет, это – вывод. Помните, во втором томе "Мертвых душ" Чичиков, подъезжая к одному имению, видит, как мужики вытаскивают сеть совершенно голого человека – Петра Петровича Петуха. И помните его первый



вопрос Чичикову: "Обедали?" И дальше идет безобразная сцена этого обеда, потом ужина, и Чичиков "заснул на каком-то индюке". Петр Петрович Петух – полностью счастливый человек. Он гармоничен. Он потребляет и великолепен для этого – у него очень хороший желудок. А у Чичикова желудок вспухает, у него газы, – потому что его представление о счастье уже не связано с едой.

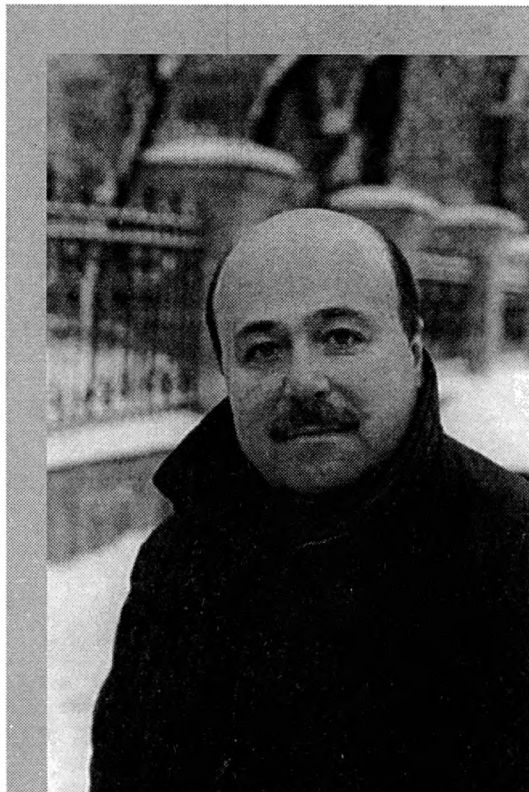
Духовный человек не может быть счастлив. Счастье, когда 19-летняя девушка любит 19-летнего юношу. Это нормально. Такое счастье предусмотрено природой. Счастье идти за руку с подругой, которой 91 год, а тебе 104, и негромко говорить о том, хватит ли сил открыть калитку. Это тоже гармония счастья. Она дается природой. Все остальное рукотворно. Это замес на жизни, на духовности, на идеалах. И с этой точки зрения понимание счастья может быть очень разным. Это моя точка зрения. Есть, конечно, и другие. Но мой мир уже сложился, и никто пока его не поколебал. Я говорил вам, что фильмы Феллини осветили то строение, в котором я уже находился. Это мое строение крайне несовершенно, без крыши. И это хорошо, потому что видно звезды.

**– Просачиваются слухи о новой пьесе "на двоих", которую вы репети-**

**руете в Ленком с Калягиным и Караченцовым. Не расскажете ли об этом – на прощанье?**

– Действительно, пьеса называется "Чешское фото". Давид Боровский сделал гениальные декорации – на сцене в натуральную величину большой паровоз. Работа подходит к концу, осенью должна быть премьера. Но вообще работать сегодня сложно, многое мешает. Помешала Чечня. Понимаете, трудно заниматься выдуманной жизнью, когда в реальной идет война, льется кровь и столько боли. И часто думаешь: "Зачем? Нужно ли?" Эти вопросы возникают постоянно, но я стараюсь не поддаваться соблазнительному искусству публицистики. Я вообще ненавижу публицистику.

Я написал пьесу "Клоун и бандит". Вот про эту пьесу могу сказать, – что-то мне в ней удалось. Думаю, из нее и фильм может получиться. В ней есть момент, за скобками пьесы и сцены, – путешествие человека из уже несуществующего цирка с цирковыми зверями – котами, собаками, козлом. Этот человек не знает сегодняшней жизни, не ориентирован в ней. Он заботится об этих брошенных зверях, но, кроме того, что их нужно прокормить, его беспокоит живущая в них память о выступлениях. В их звериной творческой памяти остались старые номера, и они, выходя на прогулку, прыгают друг другу на плечи, кувыркаются, танцуют. Некий клоун, который уже умер, передал это умение зверям, очеловечил их. Это то, что сделал Бог, Создатель, научив людей "вскакивать друг другу на плечи", забавлять друг друга. И вот этот человек соглашается на авантюрную поездку в Москву, не понимая ее опасности, чтобы дать возможность зверям выступить, реализовать живущее в них воспоминание. История этих зверей занимает очень важное место в пьесе, и если я не сумею сделать этого в спектакле, буду снимать фильм. Я работаю.



**Александр Калягин**

**Интервью провела Элла Корсунская**

*Сценарий А. Галина "Аномалия" – один из пятнадцати, представленных ко второму туру конкурса "Зеркало". Войдет ли он в число призеров, станет известно после объявления решения жюри в конце ноября. Результаты конкурса будут опубликованы в следующем номере нашего журнала.*



## АЛЕКСАНДР ГАЛИН

## АНОМАЛИЯ

■ На закате холодного ноябрьского дня, на краю бескрайнего, оледеневшего карьера стоял автобус. У автобуса одиноко ждал помощи шофер Иван.

Илья смотрел на замерзшие, вывороченные земные недра в карьере, бесконечные курганы сухой, мерзлой и мертвой земли.

– Господи, куда мы попали? – сказала Нина Реут.

Земля... земля... земля, как огромная вырытая могила.

– Знаете, на что это похоже? – продолжала Нина Реут. – На поверхность какой-то опустевшей планеты. Как будто здесь была когда-то жизнь.

С высоты птичьего полета можно было увидеть внизу костер, вокруг него сбившуюся кучку пестро одетых людей, гревшихся у огня. Но в небе птиц не было, а были только провода высоковольтки, гудевшие на ледяном ветру, и сияла на востоке рано взшедшая Венера, одна на всем небе.

Лица актеров были подсвечены словно мистическим светом. Особенно поражало запрокинутое лицо артиста Золова с крупными коровьими губами. Никогда не носивший головного убора из боязни нарушить пробор, Золов согревал голову, наклоняясь каким-то странным образом затылком к огню.

Друг Золова артист Шафоростов, закутанный и обмотанный шарфами, мелко дрожал с обиженным выражением на лице.

Артистка Жанна Калмыкова пристально смотрела на огонь. Ее подруга, могучая Татьяна Болтова, была толста, но у нее было красивое лицо.

Нина Реут смотрела на Илью.

– Илья! – обратилась она к нему. – Вы сказали, что я похожа на женщину Се-

ребряного века! Таня, повтори, что он тебе сказал!

Нина Реут была худа и изысканна.

– Он сказал, что тебя выдумал Врубель! – отозвалась Таня.

– Боже мой, кто научил его так говорить! – воскликнула Реут. – Я люблю этого мальчика.

– Мы тоже, – многозначительно сказала Болтова.

Жанна Калмыкова посмотрела на Илью.

– Врубель? – спросил Золов. – Он кто по нации?

– Валера! – вскрикнул Шафоростов. – Прежде всего он художник!

Нина Реут подошла, взяла Илью под руку:

– Никто здесь, кроме этого красивого юноши, не знает, что был когда-то Серебряный век русского искусства.

Артистка Мусатова, старушка крохотного роста, курила длинную папиросу и находилась в каком-то сложном внутреннем диалоге с невидимым собеседником: саркастически усмехалась, кивала...

– А каким, как вы думаете, Илья, назовут наш век? – спросила Нина. – Осталось несколько лет... до конца столетия...

– Наш будет из говна, – уверенно сказал Золов.

– Валера! – поморщился Шафоростов. – Я тебя умоляю.

Нина Реут грустно улыбнулась Илье и сказала:

– Я уже ко многому привыкла. Вы новый человек в нашем коллективе. Не привыкайте к пошлости...

Трактор шел к ним от линии горизонта.

В кабине трактора триумфаторски выехался в распахнутом кремовом пальто

администратор Ефим Голдин. Выкрашенные в рыжий цвет волосы его были покрыты кремовой шляпой. Добавьте яркий галстук, янтарный мундштук, перстень...

Жанна сняла варежки, протянула свои красивые пальцы к огню и вдруг повернула голову к закату:

– Вы слышите?

Все повернулись, прислушались – только тихое, заунывное эхо проводов гудело над ними.

– Танки идут! – сказала Мусатова.

Актрисы, услышав далекое гудение трактора, закричали, зааплодировали и побежали навстречу, и стало еще более заметно, что люди в котловане были необычные и никак не соответствовали мертвому окружающему пейзажу. Нина Реут обнаружила невероятную прыть и мчалась первой.

Шафоростов вскоре обогнал ее. Золов, хохоча, пытался схватить его за шарф. Женщины, отставая, бежали за ними, крича и смеясь.

Илья стоял с Жанной у костра.

– Тебя все любят, – сказала Жанна. – А ты кого выбрал?

Илья смутился, пожал плечами. Он не ожидал такого вопроса.

– Мне в дороге сон приснился, – сказала Жанна, – мы с тобой распутничали. Проснулась – оказалось, автобус сломался.

Сердце Ильи неожиданно забилося. Их разделял огонь.

– Куда все побежали? – спросила Жанна.

Илья опять пожал плечами.

– Пойду посмотрю, – сказала она глухо.

Пьяный тракторист смотрел сквозь замерзшее лобовое стекло на ликующих артистов. Голдин выпрыгнул из кабины на землю. Достал небольшое ведро; указав на него, сообщил:

– Самогон!

В ответ раздался вопль ликования.

Тракторист застеснялся, затих и пожалел, что был растерзан и пьян, когда в кабину к нему заглянула Нина Реут. Картина окружавших трактор справа и слева женщин привела тракториста в какое-то странное

напряжение. Особенно смущала его Нина Реут. Она смотрела на тракториста в упор.

– Кого вы мне напоминаете? – спросила Нина тракториста.

Тракторист смутился.

– Да это я дома не ночевал... Свеклу вчера отвозили в Ляхово. Пока с приемщиком в шашки играли – не заметили, как напислись...

– А есть тут какой-нибудь город поблизости? – спросила Нина.

– Я деревенский... Нас на "объект" не пускают...

– Объект? – заинтересовалась Нина. – Какой объект?

Парень что-то промычал в ответ.

Жанна шла по дороге. Илья следовал за ней. Через короткое время, достигнув бетонного подножья мачты высоковольтки, она вдруг повернулась. Илья подошел.

– Ты меня не вводи в искушение...

Илья не знал, что ей ответить. Сердце его бешено билось.

– Тебе сколько лет? – спросила она.

– Восемнадцать... девятнадцать... скоро...

Жанна приблизилась к нему, поцеловала и прошептала:

– Маленький ты еще, это во-первых. А во-вторых... сам все понимаешь.

Жанна попыталась высвободиться, но Илья крепко держал ее.

– Что ты делаешь? – шептала Жанна. – Не здесь же... Идем куда-нибудь...

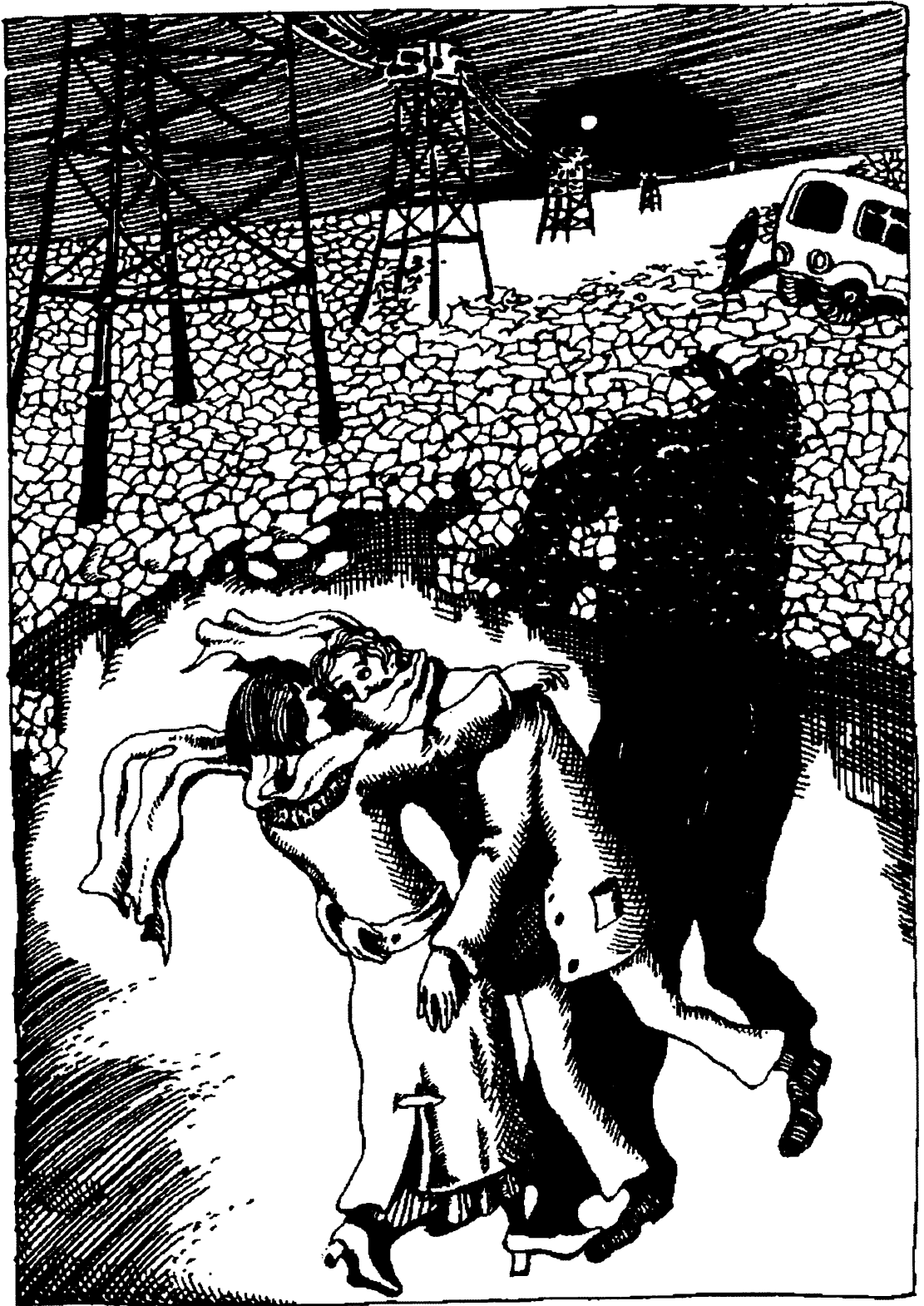
Они шли вверх по склону карьера, ища хоть какое-нибудь укромное место. Илья то и дело останавливал ее, требуя поцелуя. Они целовались и шли опять.

Голдин, впад в беспокойство, поднял ведро, но сделал всего несколько шагов и остановился в распахнутом пальто. Он увидел, как далеко-далеко, на кромке котлована, появились Жанна и Илья.

Что происходило между ними, понять было несложно – они не сразу заметили, что за ними наблюдают.

Увидев первой стоявших внизу и смотревших на них людей, Жанна резко отстранилась.





– Уйди куда-нибудь, – попросила она и отошла от Ильи.

Илья посмотрел вниз. Скрыться от посторонних глаз уже вряд ли было возможно. Продуваемое ледяным ветром пространство было совершенно открыто.

– Господи! Да уйди же ты! – сказала Жанна не оборачиваясь.

– Куда уйти? – он, наоборот, подошел к ней.

Жанна помахала вниз рукой.

Самогон сделал свое дело – смеясь и крича, артисты толпились вокруг огня. Василий Шафоростов с помощью тракториста распалил костер до огромной высоты. Золов разливал прямо из ведра в граненые стаканы. Тракторист был центром всеобщего внимания. Он все время собирался выпить, но к нему тянулись чокаться. Нина Реут держала его под правую руку, что тоже ему мешало, а с левой пить тракторист не умел.

– У приемщика на доске вместо шашек стопки, – объяснял тракторист. – Раньше что ему туда налить – большого ума не надо было... Раньше нальешь ему водки и какой-нибудь красноты – он был доволен. А теперь нет! Капитализм, говорит... В белые, гад, только джин требует... Я белыми играл... В них, значит, джин был. А в черные ему тимохинские привезли ром кофейный, значит колумбийский... Я сгоряча-то прошел в дамки, хватанул сразу три черных стопаря. Вот я думаю теперь, если колумбийцы такое пьют, сколько их всего на земле осталось?

– Я поняла, кого вы мне напоминаете! – пыталась Нина тракториста.

– Да это я дома не ночевал, – гнул свое тракторист.

Илья подошел к Золу.

– Тебя не стошнит, Ромео? – громко спросил его Голдин.

Золов засмеялся.

– Ромео никогда не тошнило, – так же громко ответил Илья. – Он пил благородные вина!

– Его постоянно тошнило, – возразил Голдин, – а эта дурочка Джульетта писала с балкона на своих кавалеров.

Золов захохотал. Он протянул Илье стакан.

– Ужас! – воскликнул Шафоростов. – Ефим, я вас умоляю!

Голдин подошел, взял стакан из рук Ильи и выплеснул самогон на землю.

– Потерпите до совершеннолетия! – громко посоветовал Голдин.

Он перевел многозначительный взгляд на Жанну.

Жанна услышала и поняла подтекст последней фразы, но продолжала безучастно смотреть на огонь, чувствуя, что все глядят на нее.

Оскорбленный Илья молча стоял, опустив голову.

Таня Болтова делала бутерброды и поглядывала на администратора.

Мусатова осторожно переливала содержимое своего стакана в солдатскую флягу, с которой никогда не расставалась, и тоже косила в его сторону.

Голдин тяжело посмотрел на Илью.

Иван лежал под автобусом, прилаживая трос.

Актеры согрелись. Перспектива ночевать в котловане им больше не угрожала. Ефим Голдин похлопал по плечу тракториста. Тот покачивался и, скалясь, весело поглядывал на огонь.

– Там, – сообщил администратор, – мне показалось, живут не самые... изящные люди. Мужчины там не ходят в кашемире и не играют по утрам на арфе...

Василий Шафоростов слегка поднял бровь.

– А по вечерам? – спросила Болтова тракториста.

– Я не знаю – на "объект" деревенских не пускают, – ответил тракторист.

– Ни по утрам, ни по вечерам, – продолжал Голдин, – ни на арфах, ни на скрипках они, я думаю, не играют.

Все молча посмотрели на Илью.

Голдин выдержал паузу и сказал:

– И вообще, фамилия человека, который согласился нам помочь, оказалась Хребет... Я еле добрался до КПП, а мне дежурный говорит: "Иди к Хребту"... Я думаю, – боже мой, куда? К какому еще хребту – кругом равнина...

– Может ли человек с такой фамилией вообще на чем-нибудь играть? – спросил Илья.

Актрисы засмеялись.

– Запомни одно правило, юноша, – ска-



зал Голдин. – В нашем театре, когда я говорю – музы молчат...

Илья замолчал. Голдин опять посмотрел на Жанну.

– Ты молодой – не знаешь, – сказала громко Мусатова, – в цирке был артист с фамилией Хрюкин. Он дрессировал поросенка – царство ему небесное, Хрюкину. И он ему свою фамилию дал... поросенку – Хрюкин... Он так и говорил ему на каждом представлении: "Хрюкайте, Хрюкин!" Номер назывался "Хрюкин нахрюкался"... Хрюкин старенький уже был – вдруг умер... А другой-то Хрюкин к тому времени уже вырос... встал вопрос, что с этим артистом делать... Животное, можно сказать, превращено в алкоголика... пострадало на почве искусства... Жизнь теперь нелегкая, а как своего брата артиста съешь? Товарищ ведь... Ветеран сцены. Говорят, последние полгода им денег никаких не платили... Может, уже разделили на всех Хрюкина...

Наступила пауза. Вдруг захохотал тракторист, отчего Нина Реут испуганно вздрогнула. Никем не поддержанный тракторист смолк.

– При чем здесь кашемир? – спросил Шафоростов и тронул тонкой рукой шарф. – Кашне – старинная одежда мужчины...

Голдин поправил поля шляпы и объявил:

– После спектакля нас угостят ужином... Он опять сделал паузу.

– Они хотят получить искусство. За это мы получим ремонт, ночлег... и кто знает, может быть, нам заплатят...

Вслед за трактором на длинном тресе рывками двигался театральный автобус.

Он медленно ехал по голой, мертвой земле.

Боже, кто обитает здесь под этим холодным небом? Плышет и плывет мимо вырытая земля, и не видно ни одной живой души.

– Мы едем по чистому железу! – сказал Голдин, обернувшись. – Это место называется "Северная Аномалия"...

– Спасибо – обрадовал! – пробормотала Мусатова.

– Аномалия? – спросила Нина Реут.

– Аномалия! – повторил Голдин. – Столица – город Железный...

– Это же надо, так назвать город! – пожегился Шафоростов.

...Страшные, облепленные ледяными комьями глины, грузовики спали, сбившись в стадо. Бетонные плиты. Дым котельной, столбом уходящий в темнеющее небо.

За длинной вереницей терриконов с мерцающими лампочками на вершинах опять открылась голая, мерзлая земля, и только по самому краю ее стелился дым далеких заводских труб.

Спал администратор Голдин в странной позе, замерев в полуобороте. Взгляд его, видимо, был устремлен на Ивана, прежде чем закатились его глаза и голова откинута назад. Шляпа Голдина упала на пол, плешь была обнажена. Засыпал иногда и Иван и просыпался только от рывков трактора... Илья, сидевший позади всех, тихонько подкрался к Жанне, сел рядом и покосился по сторонам.

Жанна проснулась, почувствовала его руку у себя на колене.

– Руки прочь от Вьетнама, – не открывая глаз, прошептала она, но руки его не сняла, а наоборот, положила на нее свою, удерживая от непредсказуемых действий.

Она покосилась на Илью. Он сидел с закрытыми глазами и как бы спал.

Жанна улыбнулась и тоже закрыла глаза...

...Артисты въехали на объект как бы под наркозом...

Автобус на тресе двигался медленно, мимо стоявших бесконечными рядами прожаривших брошенных танков. Артиллерийские орудия, сваленные в горы, возвышались над ними. Темные, облитые мазутом цистерны, снятые с колес, лежали, как выбросившиеся на берег киты. Ветер гудел, будто в какой-то заботе мечась над одиноким солдатом, вышедшим из будки посмотреть на автобус.

Гул одобрения встретил появившихся артисток. Солдаты норовили подвинуться поближе, выглядывая из-за спины впереди стоящих.

Хребет, пробивавший приехавшим дорогу, кричал:

– Не дави! Не дави!

Полковник Коровин, специально приехавший из гарнизона, шел в самой группе актрис. Он остановился и гаркнул:

– Вы что, людей не видели?

Нина Реут, державшая Коровина под руку, что-то прокричала ему на ухо.

– Что? – тот ее не услышал.

Глаза Шафоростова лихорадочно блеснули. Он смеялся и махал руками, совсем как настоящая "звезда".

– Назад, мужики! Назад! – просил Хребет.

Такой прием мог растопить любой лед. Актрисы приветствовали зрителей.

– Таких, как мы, они не видели! – прокричала Нина Реут в самое ухо Коровина.

Администратор Голдин преобразился – он вышел из-за ширмы во фраке и посмотрел вверх. Высоко над ним было сплетение ржавых конструкций и разорванных труб, страшных, как будто вышедших из ада. Громадное, казавшееся бесконечным, бетонное помещение, похожее на ангар, наполнялось зрителями – солдаты все подходили.

В первом ряду, состоявшем только из одного стула, сидел полковник Коровин с белым, словно не до конца проявленным лицом. За его спиной находился громадный Хребет. Руки Хребта были скрещены на груди. Странно, безжизненно и безучастно, следили за происходящим его темные глаза. По обе стороны от Хребта стояли чины и люди поменьше. А за теми уже тянулись ряды солдат.

Голдин, артистически вскинув руки, потребовал тишины.

– Рады неожиданной встрече! – заговорил он с серьезным выражением на лице, будто зачитывая телеграмму. – Искренне взволнованы приемом. Это аванс... Нам сказали, что среди вас есть зрители, которые маршировали сюда несколько километров и, ожидая нас, простояли в этом замечательном зале уже несколько часов. Я уверен, что это произошло после того, как они узнали, что к вам, – здесь Голдин стал резко набирать голос, – приехала старейшая кукольница России, неповторимая Валентина Му-са-то-ва!

За ширмой зазвенела тарелка, ударили во что-то гулкое.

Валентина Ивановна выскочила из-за ширмы и сделала некий кульбит.

– Звезда русской декламации, – голос вдруг погрузневшего Голдина стал мягок, – прима-чтица, случайно посетив-

шая этот лучший из миров, хрупкая Нина Реут! Давайте приветствовать!

Нина медленно вышла в сильно декольтированном, длинном платье, с прижатыми к груди руками, глубоко поклонилась.

Мусатова, которая стояла как в забытьи и осматривала ангар, как поле предстоящего сражения, сказала:

– Нин, глянь, куда нас этот ирод привез!

Голдин не делал пауз. Он опять оживился.

– Великолепный мастер-кукловод и большой души человек, вы это сейчас сами увидите, большой души человек – Танюша Болтова!

Вышла громадная Болтова. Она была встречена веселым гулом одобрения.

Таня широко улыбалась и обратилась прямо к зрителям:

– Во рту такая сушь, джентльмены, после вашего самогона.

Хребет, не изменив выражения лица, повернулся к стоявшим за его спиной подчиненным. Один из них, Евгений Селиверстов, ему что-то сообщил.

– Крюшон подойдет? – спросил Хребет Голдина.

Голдин, продолжая сохранять повадки конферансье, крикнул:

– И наконец...

Но из-за ширмы опять вышла смелая Нина Реут и обратилась в зал:

– А вы бы не могли принести нам, пожалуйста, "Тархун"?

Голдин косо полоснул в ее сторону взглядом.

– Я крюшон не пью, – поведала Нина. – И Васенька Шафоростов предпочитает "Тархун"...

Нина вернулась за ширму, провожаемая взглядом Голдина.

Он сделал несколько шагов к зрителям, как бы давая этим самым понять, что искусство для них важнее и актрисы готовы играть, преодолевая жажду.

Он долго стоял, опустив голову, затягивая паузу, и, наконец, тихо, как бы из глубины извлекая каждое слово, объявил:

– Жанна Калмыкова!

Обтянутая тугим платьем, вышла Жанна.

И зал затих.

– Ведущая прима нашего театра, – с

волнением продолжил Голдин, – исполнительница главных лирических ролей нашего репертуара – Жанна Калмыкова...

Сотни солдатских глаз смотрели на Жанну.

– Пить всем действительно хочется, – сказала Жанна Голдину.

Хребет вновь повернулся к помощнику. Выслушав его, обратился к Голдину:

– "Тархуна" может не быть.

– Пошли кого-нибудь, – негромко сказал Коровин, – пусть найдут.

Хребет поманил своего помощника Селиверстова, достал деньги.

– Давай... ящичек "Тархуна" сюда привези...

Молодой Селиверстов заколебался:

– А это что такое? С алкоголем это или нет?

– Ну чего я буду тебе сейчас лекцию про "Тархун" читать? Запомни название и все.

– Я сомневаюсь насчет "Тархуна", – не сдавался помощник.

Коровин повернулся к ним.

– Заедь к ребятам в гарнизон, – посоветовал он.

Илья, работавший монтировщиком, закрепил декорацию. Иван ударил в гонг и ожидающе посмотрел на Илью.

А тот смотрел на Жанну. Голдин заскочил за ширму.

– Давайте занавес! Где баян? – зашипел Голдин. – Где баян, Ромео вшивый?

– Какой он ужасный! – прошептала Нина Реут.

Илья подошел к Голдину с баяном.

– Ромео не мог быть вшивым! Он был из аристократической семьи.

Он подал Голдину инструмент.

– Он был вшивым, – сказал Голдин, закидывая ремни, – а его Джульетта ходила под себя!

– Опять пошлость, – грустно прошептала Нина Реут.

– Хватит! – вдруг громко обратилась Жанна к Голдину. – Хватит!

Голдин поднял бровь. Иван ударил в гонг.

Голдин заиграл увертюру на баяне, во время которой Илья открыл занавес.

Перед затихшими зрителями предстал таинственный лес, бесхитростно исполненный неведомым театральным художником.

Невесело бляя, Василий Шафоростов сидел на стуле и прилаживал на правую руку куклу. Шафоростов исполнял роль Иванушки, который не послушался сестрицу Аленушку и стал козленком.

– Аленушка! – позвал Шафоростов как бы издалека. – Аленушка!

Он поднял куклу над ширмой, и козленок оказался в страшном лесу.

Низкий, страшный голос Золова определил его амплуа – зверь.

Золов согнулся у самой ширмы и вдруг страшно, утробно завыл по-волчьи.

– Але-о-о-нушка! – звал козленок.

– Иванушка! – прозвенел голос Жанны. – Где ты, Иванушка?

Она вывела красивую куклу Аленушки.

– Я здесь! – сказал Шафоростов.

– Где?

Козленок потерял о ноги Аленушки.

– Это я, твой братец Иванушка! Козленочком стал...

Козленок заплакал. Аленушка тоже.

– Не плачь, Иванушка, – сказала, наконец, Жанна и посмотрела на Золова.

Золов завыл.

– Кто это воет так, сестрица Аленушка? Не волки ли близко?

Нина Реут, каркая и изгибаясь между стояками с декорациями, провела куклу вороны.

– Кар! – злобно сообщила Нина. – Кар! Волки... Кар!

– Страшно! – заплакал козленок. – Страшно мне, сестрица Аленушка.

Ворона, усевшись на ветке, продолжала каркать.

Золов подвывал все ближе.

– Не бойся, Иванушка! – сказала смелая Аленушка.

Мусатова поднялась и залиристо залаяла. Таня Болтова подхватила ее лай. С куклами собак они заняли место в кулисе.

Нина Реут сорвалась с места и заметалась с вороной между стояками.

– Кар! – не унималась Нина. – Кар-р-р!

Мусатова закашлялась, видимо, перекурила. Болтова, отрывисто лая, косилась на нее.

– Наш выход, – наконец, прошипела она. Мусатова показала на горло – мол, задыхаюсь.

– Ну куклу можно же вывести! – мстила Болтова.





Вместо ответа Мусатова гневно пролаяла Тане в лицо, что в переводе на человеческий язык означало – я сама знаю, когда надо выходить.

Илья смотрел на Жанну.

Голдин, изогнувшись, прошел к нему с инструментом из другой кулисы.

– Не туда смотришь! – прошептал он, отдавая Илье баян.

Голдин, натягивая на руку куклу охотника, вдруг громко захохотал, засвистел и загудел чужим голосом:

– На медведя хаживали – не боялись, с волками в чистом поле схватывались – не боялись.

Иван, согнувшись, прокрался к нему, стал мять плечи – делал массаж. Голдин, покряхтывая, мученически закатил глаза.

– Чего испугались-то, собаки? – застояв, воскликнул Голдин и оттолкнул Ивана.

Он вывел свою куклу.

Вилля хвостами и скуля от страха, собаки выскочили и запрыгали над ширмой. Артисты смотрели вверх, поднимая головы, как бы за улетающими от них куклами.

Возвышавшийся Хребет следил за происходящим над ширмой. К нему повернулся разочарованный Коровин и тихо сказал:

– Ты не спросил у них, про что спектакль?

Хребет растерянно пожал плечами.

– Про козла?

– Про козленка, – поправил Хребет.

– Вырастет – козлом станет, – проговорил Коровин. – Да ты что, мужик, я ж там весь гарнизон взбаламутил – артисток им обещал...

Хребет опять пожал плечами.

– На что тут смотреть? – все больше разочаровывался Коровин. – На кукол? Нас с тобой не поймут...

Он посмотрел на солдат. Они живо смотрели спектакль.

У ангара, весь в дыму, ревел тягач.

Помощник Хребта Евгений Селиверстов страшно орал в полевой телефон:

– Хребет просил! Хребет! Пошли нарочного – пусть спросит соседей: "Тархун" есть у них? "Тархун"! Что я буду тебе лекцию читать про "Тархун"? Лететь мне к ним? Узнайте! Я сейчас на аэродроме! Ска-

жешь – Коровин приказал! Пусть они мне дадут направление, куда лететь...

В ночи гудел вертолет. Сгибаясь под воздушным потоком, Селиверстов направлялся к боевой машине.

Артисты опять тряслись и мерзли в холодном автобусе.

– Когда им сказали играть спектакли на выезде, – ворчала Мусатова, косясь на задние сиденья, – то была одна здоровая печень на весь коллектив. А когда пить самогон из ведра – у нас актрисы про печень не вспоминают.

– Что она про мою печень начала? – удивилась Болтова, принимая от Золова стакан.

Шафоростов наслаждался мягкостью кашемирового шарфа, касаясь его щекой.

– Ефим, – улыбнулся Шафоростов, – у меня кашемировый шарф, но я по утрам не играю на арфе. Я этого инструмента в руках не держал.

Голова Голдина в шляпе не повернулась – Шафоростов был слишком незначительной персоной для Голдина.

Нина Реут тихо шептала стихи, закрыв глаза.

– Почему-то на память приходит Бодлер, – произнесла она.

Золов зачерпнул со дна в стакан и протянул ей.

– От твоих стихов меня тянет маршировать! – сказал он.

– Ты – убогое животное, – ответила Нина, принимая стакан.

Жанна выпила и затянулась сигаретой. Илья с заднего сиденья смотрел на нее.

– Ну, а вы, Ефим Львович, не выпьете нашего? – спросил Золов Голдина.

– Когда вас будет рвать, господин Золов, – посоветовал Голдин, – следите за направлением ветра, иначе вам все вернется на грудь.

– А другого вы нам не привезли... Ни нам, ни дамам...

Голдин отвернулся к окну.

– Для вас напиток не кошерный? – усмехнувшись спросил Золов. – А мы-то его пьем...

– Валера, – тихо попросил Шафоростов, покосившись на Илью, – прекрати...

Золов обернулся и протянул Илье стакан:

– Сын за отца не отвечает... Давай, Врубель...

Илья взял стакан.

– Илюшенька! – сказала Нина Реут. – Зачем тебе это?

Голдин опять повернулся.

– Не смей пить эту гадость! – крикнул он.

Илья выпил залпом.

– Закусить ему что-нибудь дайте! – зашептала Болтова.

– Спасибо, не надо! – отказался Илья задыхаясь.

– Да что вы делаете, ироды? – вмешалась Мусатова. – Оставьте вы парня-то в покое...

Нина Реут, повернувшись, с удивлением смотрела на Илью. А Жанна даже на него не взглянула – Голдин в это время неотрывно смотрел на нее.

На длинном тротуаре, вслед за трактором, автобус двигался по пустой улице военного городка. Стекла в салоне заледенели, но в одном окне дыханием Ильи была обрызгана проталина.

На автобус никто не обращал внимания, а точнее, смотреть на него было редкому – улицы "объекта" были мертвы. Редкие одинокие мужчины в военной форме попадались на пути. И казалось, что заброшенность этого померкшего городка была и в этих мужчинах. И все было в этой картине вроде бы привычным, но чего-то не хватало. Чего-то недоставало очень существенного...

Дом офицеров был не достроен и представлял из себя голое бетонное строение, продуваемое ветрами. У широких и монументальных бетонных ступеней, задуманных с римским размахом, была припаркована разнообразная военная техника. водители, молодые солдаты, стояли между машинами, свободно наблюдая за происходящим внутри здания – на окнах штор не было, а в некоторых не было и стекол.

На пустую площадь, как будто из красного сна, медленно въехал серебристый "роллс-ройс". Из машины вышел Медведев, высокого роста мужчина в дорогом, длинном пальто. Он не спешил. Поглядев по сторонам, неторопливо расстегнул пальто и стал мочиться на переднее колесо.

Семен, помощник Медведева, и с ним еще три таких же высоких и коротко стриженных молодых человека вышли из дружной машины и первыми направились к парадному подъезду.

На ступенях их встретил Хребет.

– А это кто? – Семен указал на автобус.

– Театр... заблудился...

– Артистки как, ничего? – спросил Хребта Семен.

Хребет пожал плечами:

– Куклы...

– Посмотрим, – повернулся тот к остальным, – посмотрим...

По одобрительной реакции парней Хребет почувствовал, что тот его не понял.

– Куклы у них играют, – пояснил Хребет, – спектакль про козла...

Голдин стремительно вышел на холодный воздух в своем концертном фраке и подошел к Хребту.

– Артист? – спросил улыбаясь Семен.

– Артист! – ответил Голдин.

– А чего же я тебя не знаю?

– Я вас тоже не знаю...

Возникла пауза. Все поглядывали на Медведева. Он не спешил, обстоятельно завершил свою надобность и медленно поднялся по ступеням.

На Хребта он не взглянул. Тот тоже в его сторону не смотрел.

Семен же, наоборот, напряженно поглядывал то на одного, то на другого.

– Концерт тут у них будет! – сказал Семен Медведеву. – Посмотрим?

– Из Москвы? – улыбувшись, спросил Медведев Голдина.

– Из бескрайнего русского Нечерноземья...

– Понятно... Куда путь держите?

– Едем в северную глубинку...

– А артистки-то еще живы? – спросил Голдина Семен и засмеялся.

– Вы меня извините, я спешу... менять карданный вал!

Голдин спустился на несколько ступенек. Хребет пошел за ним.

– Хребет! – позвал Семен.

Тот оглянулся.

– А мы к тебе... приехали, – многозначительно сказал Семен.

– Я понял, – отозвался Хребет.

Медведев как-то косо улыбнулся и направился к двери. Трое молодых людей



последовали за ним. Миновав охрану, они беспрепятственно прошли внутрь. Семен поспешил за ними.

– Кто это приехал? – спросил Голдин. – Что за жлобы?

– Кормилец приехал, – усмехнулся Хребет.

Из грузовика, крытого брезентом, с надписью "Люди" на борту, спрыгивали на землю солдаты – музыканты гарнизонного духового оркестра. Они перебежали площадь, подхватив инструменты. Голдин в развевающемся фраке шел им навстречу. Наряд Голдина вызвал удивление у солдат, окруживших автобус. Хребет возвышался над всеми.

Счастливый Иван стоял у автобуса и, как ребенка, держал в руках новый карданный вал. У автобуса уже что-то варили сварщики.

– А почему... в этом вашем поселении, – спросил Голдин Хребта, – совершенно не видно женщин? Это, согласитесь... какая-то аномалия...

– Были здесь женщины в гарнизоне... Но объект-то закрывают. Офицеры семьи отправили... вот и остались... одни мужики. А мужики – они своего требуют. Едут погулять в Железный... Да разве на офицерские деньги сейчас погуляешь?

Руководство объекта, а также те, кто получил приглашения – всего человек семьдесят крепких мужиков – сидели за накрытыми столами, расставленными по-походному, прямо на голом, цементном полу. Коровин был оттеснен, а Хребту места за столами вообще не нашлось. Он стоял вблизи дверей, следил, как мимо него подавальщики носили на столы водку. В зале было довольно холодно. Мужчины одеты были в гражданские костюмы, хотя по их осанкам можно было угадать лиц военных. Пирамида власти была прочерчена предельно просто: в центре – стол генерала Лосева, рядом с ним сидел Медведев, а от них к краям шли чины помельче. Присутствующие были возбуждены вестью о неожиданном появлении в городке актеров, а вернее, актрис – ждали их выхода.

Но вместо них перед публикой предстал Ефим Голдин. С мудрой и грустной улыбкой он оглядел фойе, вернее, его голые бетонные стены.

– Позвольте, друзья, от имени деятелей культуры нашей области, от всех тех, кто дарит людям улыбку и радость, поблагодарить за помощь и поддержку и воинов, и тех, кто своим мирным и самоотверженным трудом умножает могущество нашей Родины. Я знаю, что в этом зале есть люди, от которых в Швейцарии или на Уолл-стрите финансовые воротилы уже просыпаются в холодном поту...

Голдин обратился к Медведеву:

– Мы посылаем и вам, дорогой Петр Николаевич, благодарное тепло наших сердец. Мы долго думали, что бы предложить вам в ответ из нашего детского репертуара, и как-то сама собой сложилась программа сегодняшнего концерта. Страна в поиске, в эксперименте. Почувствовали воздух свободы и кукольные артисты. И вот они выходят из-за ширмы. Тем более, что нашему театру есть что показать.

Голдин отошел в сторону. Возник задумчивый и нежный голос французского шансонье.

Шафоростов появился в белом облегающем трико с огромной куклой ягненка.

– Лауреат областного конкурса Василий Шафоростов, – негромко объявил Голдин.

Шафоростов не вызвал у зрителей интереса, на который рассчитывал. Танцевал он прекрасно, несмотря на возраст.

– Кукольно-эротическая, извините, хореографическая миниатюра, – тихо продолжал Голдин. – Все мы помним известную басню о том, как ягненок пришел в жаркий день напиться к ручью. А вот и наш ручей...

Нина Реут и Таня Болтова появились в легких голубых одеждах, символизирующих воду.

По рядам зрителей прошло волнение.

Шафоростов начал танец жажды в левом углу фойе, но всеобщее внимание зрителей уже приковал ручей, текущий вправо.

Ручей тек и тек, подчеркивая свое женское происхождение, увлекая за собой и головы зрителей.

Шафоростов последовал к ручью, перебежал от одной волны к другой.

Каждая из волн была соблазнительна. Ручей волновался. Ягненок захотел волну по имени Нина Реут. Нина обладала гибкостью – ускользнула.

Волна по имени Таня Болтова напоминала шторм. Ягненок потянулся к ней. Дальше произошло неожиданное: женщины окружили ягненка. Они его заманили. Ягненок тонул, погибал на глазах.

Стоящий у двери Хребет, видя страдания измученного жадной ягненка, поманил подавальщика и тихо спросил:

– Привезли "Тархун"?

Подавальщик отрицательно покачал головой.

Дело шло к трагической развязке, но в это время, обтянутый темной тканью и с куклой волка, появился Золов. Пробор на его голове сиял лезвием. Так мог появиться только герой, готовый спасти безвинную жертву. Золов завыл так страшно и так долго, что даже бывалые охотники из сидевших за столом, вздрогнули и переглянулись.

– Похоже! – громко одобрил генерал.

Зрители заулыбались – зрелище было необычное. Волны не хотели выпускать свою добычу.

Золов победно выл, становясь в мужественные позы. Ягненок вырвался из рук плотоядных и коварных женщин. Волк поднял его – наступил апофеоз.

– В темный лес ягненка поволок, – закончил Голдин историю.

В фойе зааплодировали.

Хребет и Коровин переглянулись. Они оценили произведенный эффект и поняли, что победили.

Шафоростов вернулся и поклонился, но никто на него уже не обратил внимания.

Илья лежал в комнате, напоминающей тюремную камеру своими голыми бетонными стенами, среди кукол и вороха костюмов и платьев, разложенных для номеров.

Голдин встряхнул его.

– Просыпайся! – приказал он. – Музыкант должен играть!

Илья был тих.

– Да не трогайте вы его! – сказала Мусатова. – Вон как нахрюкался, артист!

– Если ты такой пьяный, – кричал Голдин Илье, – иди спать в автобус!

– Я не пьяный, – проговорил Илья.

– Юноша не виноват! – сказала Нина Реут. – Виноваты мы с вами! Он первый раз выпил самогон. Слава Богу, что он жив остался!

– Первый раз? – кричал Голдин. – Что еще ему с вами предстоит попробовать?

Голдин в бешенстве взглянул на Жанну.

– Вопрос ко мне? – спросила она.

– Вы идите на сцену! – крикнул Голдин Жанне. – Я вас уже объявил!

– Почему вы нас посадили в одну гримерную вместе с мужчинами? – требовательно спросила Жанна.

– Кто это тут мужчины? – заорал Голдин и поднял Илью. – Этот глист – мужчина?

Шафоростову было не до слов Голдина. Он был оскорблен холодным приемом публики. Золов восстанавливал нарушенный танцем пробор.

Жанна вышла, хлопнув дверью.

Голдин вел Илью по пустому холодному бетонному переходу. Плохо соображая, тот, как бы сквозь туман, поглядывал на Голдина.

В самом конце перехода неожиданно, как призрак, возникло живое существо. Приблизившись, Голдин сумел различить женские черты. Это была уже совершенно пьяная женщина, возраст которой невозможно было определить, тратившая последние силы на то, чтобы добраться до фойе. Она погрозила Голдину пальцем и прошептала:

– Я – Люся...

Голдин, проходя мимо, покосился на нее.

Вдруг женщина услышала донесшийся до нее чистый и красивый Жаннин голос. И борьба, и мука на изможденном, худом ее лице уступили место покою. Со счастливой улыбкой она замерла, как бы застигнутая врасплох, в полусогнутой дикой позе. Она попыталась восстановить равновесие, но сон, как ангел, уже уводил от нее ее душу.

Люся, улыбаясь, сползла по стене на пол и тихо заснула.

Жанна пела песню, и песня пронзила холодные души мужчин.

Некоторые потянулись за рюмками.

Медведев смотрел на Жанну не мигая. Как и он сам, соседи его отложили вилки, не пили и слушали певицу, повернувшись к ней.

В туалете Голдин сунул голову Ильи в раковину, открыл кран. Вода не потекла.

Илья все еще не мог сохранять равновесие, но взгляд его прояснился. Он был гораздо выше Голдина. Илья стал сопротивляться, отвернул голову.

– Не надо, – пробормотал он.

– Ладно, – заворчал Голдин. – Кто за тобой сопли утирал?

Он подвел его к подоконнику, помог сесть.

– Живой? – спросил Голдин.

Илья слабо кивнул.

– Здоровый стал, – сказал Голдин. – В кого ты такой?

Голдин прислонил Илью к стенке. Беззащитность парня смягчила его гнев.

– Я не живу с твоей мамой... пятнадцать лет, – стал говорить Голдин не без труда. – Но это не означает, что я дал обет безбрачия... У меня было много женщин... В последнее время я остановил свой выбор на известной тебе артистке... Понимаешь, я живу с ней... Ты понимаешь меня?

– Понимаю...

– Я допускаю, что ты этого не знал... Понимаешь, она – моя женщина...

– Я не понимаю, какая... женщина...

– Ты ставишь меня в идиотское положение, парень... Понимаешь?

– Я никого не ставлю! – пьяно упрямылся Илья.

Голдин понял, что говорить с ним бесполезно.

– Ямщик, не гони лошадей, – пела Жанна, – мне некуда больше спешить... Мне некого больше любить...

Нет, не готовы были зрители к такому испытанию. У многих офицеров по скулам ходили желваки. Жизнь их вряд ли была легка, и у каждого набралось в душе боли, которая напомнила о себе.

К Мусатовой подошел Семен, человек из свиты Медведева, и тихо сказал:

– Если этой девушке нужен спонсор, скажите: есть человек, готовый помочь... Взять шефство...

– И девушке шефы нужны, – сказала Мусатова, – и бабушке... Ты пойдешь спроси у товарищей: они бабушке готовы помочь?

– Про бабушку разговора не было...

– А как, милый, спонсора-то зовут?

– Петр Николаевич... Медведев... Скажите, что очень широкий покровитель искусства... известный в этих краях человек...

– Так...

– Недавно пожертвовал на церковь... Содержит коллектив монахов...

– Так-так... Значит, монахам посытнее стало сейчас жить?

– Все это передайте... пожалуйста, певице.

– А за что монахам-то жертвовать?.. Они поститься должны... Я всю жизнь народ веселила! Я на фронте с куклой Гитлера в руке воевала. Такой был Гитлер у меня, гадкий – облизывался нашей кровушкой. Были случаи, когда бойцы за ружья хватались! У меня награда за отвагу от самого маршала Рокоссовского получена! Вот у меня, милый, левая рука какая! А вот правая – как у молотобойца! Вот она – рука кукловода!

Семен хотел удалиться, но Мусатова взяла его под руку.

– Вы передайте, пожалуйста, девушке... – повторил Семен.

– Все передам. Ну, а ты послание от бабушки не забудь...

Семен отошел.

Лица Нины Реут и Тани Болтовой в гриме отражались в зеркалах. Из фойе доносились аплодисменты.

– Они все какие-то странные, – сказала Нина, – один мне вот это на палец надел.

Она показала перстень.

– Камень настоящий? – спросила Болтова.

– Не знаю, – Нина пожала плечами. – Как ты думаешь, я ему что-то теперь должна?

Вошла Жанна, а за ней свитой, без стука, вошли генерал Лосев, Медведев, за ними – Семен, Коровин, Хребет и Ефим Голдин.

Актрисы от зеркал не повернулись. Лица их были в гриме и вазелине. Коровин, ожидая, поглядывал на генерала. Тот смущенно улыбался и молчал. Пауза затягивалась. Генерал, наконец, произнес:

– Я на правах местного аборигена привел в вашу святая святых искусства хозяина этих мест...

– Медведев, – представился тот.

– Петр Николаевич, – негромко доба-





вил генерал, – в наших краях редкий гость... Предложил помочь нам организовать вам встречу на должном уровне... Вы извините... за такие условия. Старый сгорел, этот Дом офицеров начали строить лет пять назад... потом объект стали закрывать – стройку заморозили...

– Я – Таня, – сказала Болтова.

– Нина, – подала голос Нина Реут и протянула руку.

Медведев не сразу понял, что рука протянута для поцелуя.

– Василий! – Шафоростов поднялся. – Простите, что не могу протянуть вам руку... все пальцы в креме.

Золов, который к снятию грима еще не приступил, готов уже был подать руку, но Медведев обратился к Жанне:

– А вас, простите, как зовут?

– Жанна, – произнесла Калмыкова.

– У вас поразительный голос...

– Спасибо...

– Мне сказали, вы попали в аварию...

– Карданный вал, – подал голос от двери Голдин.

Медведев кивнул в сторону Семена:

– Потом все расскажете моему референту.

– Какие еще проблемы? – повернулся к Голдину Семен.

– Прежде всего хотелось бы поблагодарить... – начал Голдин.

– Милости мы не просим, – опередила Жанна ответ Голдина.

– Значит, остальное все необходимое у вас есть? – продолжал Семен.

– Спасибо, мы всем довольны, – сказала Жанна.

– Мы военных товарищей попросили принести дамам напиток "Тархун", – сказала Таня Болтова, – все ждем... изнывая от жажды.

– "Тархун"? – переспросил Семен и повернулся к Коровину.

– Отправлена на поиски эскадрилья, – сказал тот.

– Да что вы, ребята, "Тархуна" уже не можете сами добыть? – удивился Семен. – Хребет!

– Добудь, – предложил Хребет.

– Я хотела бы посмотреть ваш "объект", – сказала Нина Реут. – Не знаю, как остальным, а мне было бы интересно... пострелять...

– Думаю, кое-что мы вам теперь можем показать, – пообещал Коровин.

Медведев смотрел на Жанну.

– Прошу всех девушек... разделить с нами наш солдатский ужин, – сказал генерал. – Нас там много, и каждый хочет увидеть женщину за своим столом... Мы посоветовались с вашим конферансье и решили, что он сам вам скажет, кто с кем сядет...

– Вы только девушек приглашаете? – спросил Шафоростов. – Может быть, и нас с Валерой позовете? Валера, ты не против участвовать?

Вместо ответа Золов напряженно рассмеялся. Василий повернулся к зеркалу и отер лоб салфеткой.

– Это шутка, конечно, – сказал Шафоростов своему отражению.

Медведев опять обратился к Жанне:

– Так... А после этого... если вы не против... отсюда километров сорок пять... не больше... мое охотничье хозяйство... Там и переночуете...

– Мы не против, – поторопился согласиться Голдин.

Жанна усмехнулась.

Медведев улыбнулся и направился к двери.

Генерал пошел за ним и, выходя, пояснил:

– В прошлом году откупил под Железным реабилитационный санаторий... превратил в отель экстра-класса... Едут со всего света к нему иностранцы моих однофамильцев стрелять... – лосей... Моя фамилия – Лосев...

Когда дверь за Медведевым и генералом закрылась, Семен повторил:

– Значит, после того как вы закусите... артисты едут в санаторий... С остальным персоналом будем разбираться. Расселим всех... Команда сверху поступила.

– Нам прямо так ехать, – спросила Жанна, – или дадите нам возможность себя в порядок привести?

– Чтoб мы вашему столу соответствовали, – смягчая Жанну, улыбнулась Болтова.

Мужчины некоторое время шли по коридору молча. Семен поглядывал на Хребта. Ефим Голдин, во фраке, шел в центре группы гигантов.

– С артистами кто рассчитается, Хребет? – спросил Семен.

– А ты уже зажил? – усмехнулся Хребет.

– А едите вы тут на чьи? – спросил Семен. – Вон сколько бойцов набежало...

Коровин усмехнулся и посмотрел на Хребта. Голдин дипломатично молчал.

– Ладно, – сказал Семен Голдину, – мы вас не обидим...

– Мы довольны приемом, – сказал Голдин и продолжал: – Искусству сейчас нужна поддержка. Вы не поверите, а кое-где кукловода и похоронить по-людски не могут. В Ельце одного бывшего кукольника положили в ящике из-под кукол...

Семен, усмехнувшись, перебил Голдина:

– Как эту... зовут?

Голдин нашелся сразу:

– Василий!

Мужчины засмеялись.

– Она здесь с мужем, – предупредил Голдин.

– С каким мужем? – остановился Коровин.

– С Волком...

Мужчины захохотали.

– Смотри, Коровин, не лезь, – предупредил Семен, – загрызет!

Мужчины хохотали так долго, что даже на лице Хребта показалось подобие улыбки.

– А эта Жанна? – спросил Семен Голдина. – Она с кем?

И здесь Голдин промедлил – нашелся не сразу.

– К Медведеву за стол посади ее, – поспешил Семен, похлопав Голдина по плечу. – Лады?

Голдин ничего не ответил.

Илья отразился в зеркале.

В примерной уже никого не было. Куклы, разбросанные по комнате, смотрели на него, отчего могло показаться, что в комнате он находится не один. Илья поднялся, отыскал свой футляр, увидел приготовленный для него концертный фрак. Легкий шарф Жанны лежал у зеркала.

И вдруг он услышал звуки духового оркестра...

Духовой оркестр начал, как и положено, с вальса "Амурские волны".

Выход актрис получился торжественным.

Мужчины поднялись и встретили их аплодисментами.

Улыбающийся Голдин и актрисы, нарядно одетые, по обе его руки, остановились в центре зала.

Голдин взял под руку Таню Болтову и повел ее к столу генерала. Лосев встал, пожал Тане руку.

Нина Реут досталась Коровину. Мусатова – генеральскому заместителю.

Жанну Голдин повел к столу Медведева. Тот поднялся, подал стул. Жанна села и удивленно повернулась к Голдину. Он остался стоять.

– Я покину вас ненадолго, – сказал Голдин. – Проверю, что происходит с нашим автобусом...

Медведев даже не повернул головы в его сторону. Голдин мягко улыбнулся Жанне и отошел от стола.

Выход Золова не мог пройти незамеченным: он вышел в черной рубашке, перепоясанный ремнями. Волосы его сияли, прибор был непоколебим.

Последним, когда все уже расселись, появился в фойе Василий Шафоростов, произведя своим видом смятение в зале. Он был в длинном бархатном камзоле и в рубашке с жабо. Несколько крупных перстней украшали пальцы, глаза были подведены.

Медведев и Жанна сидели за столом вдвоем. Шафоростов направился к их столу. Заметив это, к нему быстро подошел Семен.

– Извините! – обиделся Шафоростов.

Семен взял свободный стул, унес его.

Жанна, напряженно улыбаясь, посмотрела по сторонам, но Голдина не обнаружила. К столу подошел Семен.

– Что мы будем пить? – спросил Семен Жанну.

– Я водку пью, – нервно ответила Жанна. – Водку!

Генерал Лосев поднялся. Оркестр смолк.

– Позвольте от имени офицеров высказать восхищение произведенным концертом. Как вы понимаете, нечасто в отдаленных гарнизонах... встречаешься с представителями искусства... Особенно таких... нечасто встречаешь!



Генерал посмотрел на Таню Болтову. Присутствующие были согласны с такой оценкой.

– Давайте за эту красивую встречу! – закончил генерал.

Оркестр продолжил.

Женщины, конечно, были в центре шумного внимания мужчин. Каждый норовил налить дамам, привлечь их внимание. Шум голосов мешался со звуками оркестра – ужин начинался хорошо.

В самом углу импровизированной кухни, за столом, уставленным скромной закуской, сидели Ефим Голдин и Хребет. Голдин сидел как-то косо, поглядывая в сторону фойе – туда, где была Жанна.

– Сколько лет говорил себе: пора отсюда уезжать! – делился с Голдиным Хребет. – Каждый день начинал с того, что говорил себе: уезжай. Тем более возможность была уехать – денег здесь заработал... Год прошел, второй, третий...

Хребет взял бутылку и потянулся к рюмке Голдина.

– Благодарю! – остановил Голдин. – Я не пью.

Хребет налил себе.

– У тебя семья есть? – спросил Хребет.

– Есть сын... Скрипач... Говорят, что гений... А семья? Какая у артиста может быть семья!

– Ты извини, что я твое внимание отвлекаю... С кем тут поговоришь?

– Мне очень интересно, – сосредоточенно отозвался Голдин.

Но внимание администратора было далеко. Взгляд его стремился мимо собеседника.

Голдин видел стол Медведева и пытался понять, что там происходило. Жанна пила из бокала и смотрела куда-то в сторону. К Медведеву все время кто-то подходил, пожимал ему руку.

Хребет все больше проникался к Голдину доверием.

– Из гражданских здесь уже никого не осталось: нормального человека не встретишь... У служивых впереди неизвестность – от этого апатия...

Голдин понимающе кивнул.

– Их один вопрос гложет: кому они теперь нужны?

– Ну почему? Вот вы, например, какие вы здесь, в конце концов, сделали деньги? – Голдин стал клонить разговор к интересующей его теме. – За какой металл вы тут губили себя?

Хребет усмехнулся, приблизил лицо к Голдину:

– Фима, русский ученый Менделеев всю жизнь искал некоторые элементы – и не нашел... А мы их здесь добывали, и желающих это купить до сих пор очень много. Медведев качает отсюда доллары чемоданами... Обратил внимание, как все вокруг него крутятся? Не понял почему?

Голдин затих. Стал отчетливо слышен оркестр в фойе.

– Был он на рудниках прикрепленным в отделе по режиму. Землицу по разнарядке возил... Подчинялся напрямую Москве... Года три назад опять здесь объявился... Уволился из органов... стал весь на виду... Чего он лепится к военным – здесь и техника, и народ. Солдатики... что они понимают! Спросишь меня, кому он теперь землю-то шлет, да?

Но Голдин ничего не спрашивал.

– А кто ему заплатит – тому и везет. Она дорогая, эта земля-то. А вот сейчас я поведаю тебе его главную тайну... Медведев – он никогда не пил... А здесь без этого мужикам нельзя... врачи заставляли, понимаешь. А он только спортом занимался... Стала жена его, Люся, от него потихоньку гулять. А потом пошла из рук в руки... Ко мне приклеилась... переехала из Железного в гарнизон... Я с ней долго тут возился... Жалко было, терпел ее, а потом – совсем невозможно... Хуже дворовой собаки стала... А хорошая была девка... Спилась вчистую, сгорела... Так что ты артистке своей передай: она с таким кавалером только время зря потеряет...

Голдин протянул руку к бутылке, повернул, прочел этикетку.

– Налейте и мне, пожалуйста, – сказал Голдин. – Дело в том, что я совершенно не переношу водку... Но вы так убедительно... обрисовали... необходимость алкоголя... А из двух зол, как говорится... Я слушаю вас! Вы начали излагать про чемодан... Это для меня не совсем понятно...

– А мне его чемоданов не надо, – про-



должал Хребет. – Я сам свой заработал... Он ко мне сегодня подослал Семена с чемоданом-то... Я чемоданчик приму – и вроде как с ним повязан... Я много знаю через бабу-то его... Она ведь пила, да душой не была... Жена разведчика-то... Она его за вялые яички-то крепко держала... Кое-какие бумажки-то мне передала... Думаешь, он на твой концерт приехал? Он меня убивать приехал... Но я тоже не дурак: с ребятами договорился – обещали танк подогнать...

Голдин молчал.

– В каком смысле чемодан? – спросил Голдин. – Вы постоянно пользуетесь этим предметом... в качестве... символа?

– Я деньги в кошельках не ношу... Если надо поехать в Железный – берешь портфель, а в Крым или на Черное море – покидаешь деньги в чемодан...

Хребет вдруг потемнел, сжал скулы.

– Прошлый год поехал я с чемоданом... в Мурманск. Списался до этого с женой... Она раньше здесь со мной жила... побывала-то всего ничего, а родила пацана... без пальцев... После этого пошло у нас нараскосяк... Она с ним уехала к матери в Мурманск – а я здесь остался... Ну вот... прошлый год написал письмо, получил ответ – заочное прощение... В общем, приехал... Пацан – веселый, живой... Я смотреть на него не мог... Выпил подряд две бутылки водки...

Хребет опять замолчал, потом продолжил:

– Раскрыл я спяну перед ними этот чемодан... Там вперемешку и наши, и зеленые... Вам, говорю, привез! Ну... пацан культами-то потянулся – а взять не может...

Коровин танцевал с Ниной Реут. Таню Болтову крепко держал за талию генерал Лосев. Мусатову вел его заместитель.

Василий Шафоростов остался за столом и возбужденно поглядывал на сидевших рядом мужчин. Золов тоже был возбужден.

Мужчины, оставшиеся за столами, смотрели на танцующих женщин.

Жанна сидела с бокалом в руке. Взгляд ее был пуст. Рядом с ней напряженно сидел Медведев.

– А может, все-таки станцуем? – повторил он.

– Нет... спасибо, – ответила Жанна, – пригласите кого-нибудь, если вы такой танцор...

– Я не привык к тому, что мне отказывают...

– Привыкайте.

Медведев с улыбкой смотрел на Жанну.

– Ну хорошо, тогда я у вас покупаю танец...

– Я очень устала, – сухо отозвалась Жанна, допив шампанское. – Дайте девушке отдохнуть...

Медведев тихо сказал:

– За один танец я заплачу вам... пять тысяч долларов...

Жанна, усмехнувшись, налила в бокал шампанского. Медведев прямо смотрел на нее.

Оркестр играл танго.

Встревоженный Голдин появился в фойе.

Жанна улыбалась и смотрела в сторону эстрады. Голдин повернулся и увидел, что там, щурясь от света и морщась от звуков оркестра, во фраке и со скрипкой, на которой был повязан шарф Жанны, слегка покачиваясь, стоит Илья.

Он увидел Жанну. Она ему улыбнулась.

Илья спустился с эстрады, подошел к столу Медведева и произнес:

– Разрешите мне пригласить... даму.

Илья был еще пьян, но, как мог, боролся с этим. Было что-то нелепо мальчишеское в его независимо-нагловатой улыбке. Жанна улыбнулась. В глазах ее появились блеск и жизнь.

– Я не думаю, – сказал Илья, – что за один танец вас закуют в кандалы и отправят в рудники... Тем более, вы уже в рудниках...

Нет, никогда ни одна женщина на свете еще не смотрела так на Илью!

Жанна поднялась. Они прошли в центр зала. Жанна обняла рукой его шею.

– Ты не упадешь?

– В ваших глазах? – улыбнулся Илья. – Никогда!

Голдин смотрел на них не двигаясь с места.

Они танцевали всего несколько секунд, и тут оркестр смолк. Все танцующие направились к своим столам.

А они остались ждать следующего танца. Жанна держала Илью под руку и не двигалась с места. Они стояли одни в центре зала. Жанна потянулась к уху Ильи:

– У тебя когда-нибудь была женщина?

– Нет...

Она прошептала:

– Тогда... с премьерой тебя.

И она потянулась к нему.

Голдин не мог поверить тому, что происходило на его глазах.

Оркестр заиграл вновь.

Они не танцевали. Они стояли на месте. Поцелую их, казалось, не будет конца.

Медведев позвал Семена и что-то ему сказал.

Поведение Жанны было так неожиданно и так откровенно, что потрясенный Голдин некоторое время не мог двинуться с места. К нему подошел Семен, взял под руку и кивнул в сторону танцующих:

– Девушке велено передать – цена поднялась. Десять тысяч долларов.

Голдин посмотрел на него, как из забвения.

– Ты скажи артистке – семь, а три штуки мы с тобой разделим... Ты понял?

– Я ничего не слышу... что вы шепчете? Громче говорите...

– Тихо-тихо, – попросил Семен.

Голдин вырвал свою руку и пошел к танцующим. Он взял Жанну за локоть. Тут только Жанна посмотрела на Голдина и резко освободилась. Всё это произошло так быстро и могло бы быть не замечено, но Жанна не собиралась ничего скрывать.

– В чем дело? – громко сказала она.

Голдин посмотрел по сторонам – ему показалось, что все следят за ними. Таня Болтова уже оказалась рядом с Жанной. Нина Реут, оставив Коровина, тоже поспешила на помощь.

– Иди-ка, Илюшенька, сыграй нам! – властно сказала Илье подоспевшая Мусатова. – Ты же играть собирался!

Мусатова повела его к эстраде. Тот не сопротивлялся.

– Ты что делаешь, Жанка? – тихо спросила Таня.

– А все равно! Завтра – конец света!

– Прекрати! Как подруга тебя прошу...

– Господа офицеры! – крикнула Нина довольно громко. – Нам кто-то обещал раскрыть секреты и дать пострелять!

– Да! – подхватила Таня, закрыв своим могучим телом Жанну и взяв ее под руку. – Покажите, как вы нас храните!

– Ты что, капуста? – засмеялась Жанна. – Ты хотела сказать: охраняете?

– Господа! – вскричала Нина. – Я прошу вас только об одном: не отдавайте нас врагу без боя!

Коровин подошел к генералу. Тот кивнул.

Оркестр за это время смолк.

Жанна услышала одиноко и неожиданно зазвучавшую скрипку и повернулась к эстраде. К Голдину подошел Хребет:

– Сын?

Голдин не ответил – он смотрел на Жанну.

Хребет слушал скрипку, глядя на Илью. Илья играл, стоя у самого края эстрады. Таня крепко держала Жанну под руку.

Над площадью опускался вертолет. Винт боевой машины сотворил бурю, отчего клонились и бились редкие деревья и кусты.

Голдин и Илья вышли на бетонные ступени. Ветер рвал фалды голдинского фрака, растрепал его волосы. Вой и свист вертолета смешались с криком Голдина:

– Сколько ты можешь быть пьяным от ста граммов самогона, Ромео вонючий?

– От Ромео не пахло! – возразил Илья. – Ты плохо знаешь Шекспира...

– Я знаю жизнь! – кричал Голдин.

Илья смотрел на Голдина.

– Пахло! – свирепел Голдин. – А иногда и воняло!

– Нет...

– Да, сынок, поверь мне на слово, – он отер пот с лица, – твой отец прожил на свете пятьдесят лет!

– Ты мне не отец! – закричал Илья.

Снизу на них смотрели подошедшие солдаты – люди во фраках нечасто появлялись на этих ступенях.

– Это ты разбирайся со своей матерью! – закричал Голдин. – Кто у тебя отец! У нее есть другие кандидатуры? Пожалуй-ста, я не буду возражать!

Повернувшись, он быстро пошел назад.

Илья остался один.

Вертолет низко висел над землей.

Открылись двери, выглянул Селиверстов и закричал подбежавшим солдатам:

– Хребта найдите! Хребта найдите! Быстрее!

Любопытные подбирались поближе.

– Скажи Хребту: нигде нет "Тархуна"... "Тархуна" нигде нет... Обещали в Вароге... Они просят за "Тархун" цистерну мазута, но не знают пока, есть или нет у них "Тархун"! Но все равно до Вароги не хватит горючего... Спроси, где мне заправиться? На базе топлива нет...

Двое парней из свиты Медведева вели Илью под руки. Семен шел рядом. Подведя Илью к автобусу, один из парней ударил его. Илья упал. Захотел подняться, но руки скользили по мерзлой грязи. Подошел Семен, ударил его еще несколько раз. Илья лежал на земле. Парни заторопились, потянули Семена за руку. Они пошли прочь.

Навстречу им шел Хребет. За его спиной медленно двигался танк.

– Скажи этому засранцу, – обратился к Хребту Семен, – пусть он в автобусе сидит и не выходит!

Илья попробовал подняться.

– Стойте! – сказал Илья. – Подождите! Семен удивленно оглянулся, понял: тот обращался к нему.

Илья поднялся:

– Я хотел сказать вам, что я не засранец...

Семен повернулся к парням. Они подошли, подняли Илью, подвели к Семenu.

Семен вынул пистолет.

– Сядь в автобус, сволочь! – повторил Семен. – И не выходи оттуда, гнида позорная!

– Спрячь оружие! – тихо приказал Хребет. – Иначе я вас, козлов, расстреляю из танка...

Семен некоторое время молчал, обдумывая обещание Хребта, потом кивнул парням. Те бросили Илью.

– Насчет танка мне хозяину передать? – спросил Семен.

– Передай... и насчет козла передай...

– Прямо так и передать: козел?

– Козел...

Семен обещающе кивнул и пошел прочь.

Хребет поднял Илью.

Из автобуса вышел, с некоторым опозданием, Иван.

Голдин и Жанна двигались рядом по длинному полуосвещенному тоннелю. Нина Реут и Коровин шли впереди. За ними следовали в небольшой группе военных Мусатова, Таня Болтова и Шафоростов с сильно возбужденным Золовым.

– Что тебе нужно от него? – спросил Голдин Жанну, стараясь быть спокойным.

– Ты все равно этого не поймешь...

– Это что, такое большое чувство... или вдруг стало невтерпеж?

– Ты этого не поймешь! Ты вообще не знаешь, что такое любовь!

– Ах, так это даже любовь?

Голдин схватил ее за плечи, прижал к стене и закричал:

– Ты не забыла, что я – его отец?

Он не выдержал и прошептал:

– Сучка! Я убью тебя здесь и замурую в граните!

– Я тебя ненавижу! – внятно сказала Жанна.

Изредка идущим по тоннелю артистам попадались навстречу какие-то люди. Вооруженные солдаты, стоявшие у стен, смотрели женщинам вслед. От широкого тоннеля уходила рукава, и казалось, что им не будет конца. На всем лежала печать разрухи и запустения. Шафоростов, громко смеясь, обратился к остальным:

– Валера – замечательный имитатор-анималист... Вы попросите его что-нибудь изобразить. Подождите! Валера... публика просит!

Все остановились и повернулись к Золу. Тот подошел, поднял голову, завыл, и дальнее тоскливое эхо полетело по гулким пустым тоннелям...

Эхо золовского воя донеслось и до Голдина с Жанной.

Они услышали мерный звук шагов и увидели приближавшихся солдат. Голдин улыбнулся, помахал приветственно рукой. Солдаты, озираясь на них, прошли и свернули вправо. Голдин огляделся: они опять шли одни в пустом гулком тоннеле.

– В моем театре одной шлюхой стало меньше! Я тебе совету: иди потанцуй пару

раз с этим идиотом. Тебе теперь нужны будут деньги!

Он остановился. Жанна нет.

– Своей жене ты этого не предложил бы!

– Мою жену не надо было долго уговаривать! – крикнул Голдин. – Знаешь, почему я жил с тобой? Потому что тебя, настоящую актрису, не выпустили на сцену! Вспомни, кого ты у них сыграла за двадцать лет? Бабу-Ягу? А у меня ты играла принцесс... я сделал из тебя актрису!

– Актриса? Кому я теперь нужна? Актриса!

– Не будь душой, побудь... с этим идиотом и получи десять тысяч долларов.

– Побывать? Слово-то подобрал какое!

– Ты не понимаешь! – закричал ей Голдин, и слезы сдавили ему дыхание. – Завтра мы умрем с голоду! Завтра нам вообще некуда будет ехать!

Жанна быстро шла по тоннелю.

Тяжело дыша и бормоча проклятья, Голдин какое-то время еще следовал за ней.

– Подожди! – попросил он. – Подожди меня!

Жанна пошла быстрее, свернула в переход.

Он миновал какой-то шатающийся лестничный пролет и понял, что потерял ее из виду.

Жанна шла одна по пустым, гулким переходам объекта. Освещенные тоннели сменялись темными. Вдруг, приближаясь, стал слышен звук сотен шагов по бетону. Жанна остановилась. Звук шагов приближался. Навстречу ей шла колонна солдат. Появление на пути солдат женщины, стоявшей у стены в подземном тоннеле, было столь неожиданным, что впереди идущие остановились. Колонна сбилась с шага.

– Женщина, вы, кажется, артистка? – спросил командир.

К Жанне обратился молодой парень:

– Не меня ищите?

– Нет...

– Может, меня?

– Нет...

Толпа все собиралась, задние напирали, хотели посмотреть на "артистку".

– В строй! – кричал командир солдатам. – В строй!

Подобно призраку, Жанна стояла в окружавшей ее толпе. Она увидела Голдина: он пробился сквозь толпу.

– Друзья! – крикнул Голдин. – Какие у вас к нам вопросы? Вопросов нет? Маршируйте! Маршируйте!

Шаги людей по бетону уносило подземное эхо.

Опьяненный и счастливый от такого могучего соседства Шафоростов все завоевывал внимание шедших по обе его руки высоких мужчин.

– Если бы мне удалось, как другим балетным, сбежать на Запад, моя судьба сложилась бы по-другому... Но я никогда о себе не думал – я любил, я жил чувствами и просто совершенно упустил из виду, что я жил среди дикарей! За что меня осудили? Я ни одному мужчине на свете не сделал ничего плохого... Я делал только хорошее... Другие уже танцевали в Нью-Йорке, а я только вышел из лагеря... Куда я мог пойти? За ширму! Для меня это было хуже, чем в тюрьме! Теперь, когда дикари не считают меня государственным преступником, я стою за ширмой, как за тюремной стеной... Знаете, что такое для артиста быть постоянно за ширмой? Артист хочет только одного – чтобы на него смотрели! Смотрите на меня... и все! Смотрите... Смотрите на Валеру! Он никогда не учился на актера...

Военные покосились на Золова.

– Смотрите на Валеру! Дикари осудили его как политического хулигана! За что? Работал юноша в зоомагазине и просто увлекся... увлекся интересной мыслью... На празднике Октября, когда демонстранты шли по площади и смотрели вправо на каких-то стариков в шапках, он сбросил одежду и заставил всех посмотреть влево... на себя... молодого, полного сил... Можете мне поверить... у Валеры есть что показать... У него имидж зверя... На самом деле, он просто хрупкий, нестандартный человек...

Золов отрицательно покачал головой.

– Зверь! – сказал он. – Я всегда хотел быть зверем! Зверь гораздо честнее человека! В стаях звери здоровые, красивые... Больных выбраковывают, едят друг друга открыто... А больше всего мне нравится, что звери сношаются и оправляются совершенно открыто...

– Валера очень политизированный человек... Он все последнее время на митингах...

Шафоростов пристально посмотрел на шедшего рядом сильно хмельного мужчине:

– Хороший визажист необходим не только женщине, но и мужчине... Я готов каждому из вас предложить имидж! Консультация стоит гроши.

Нина Реут, пошатываясь, вошла в полуразобранный бункер. Пропустив остальных, Коровин закрыл массивную ржавую металлическую дверь. Коровин был уже в глубоком и медленном алкогольном забытии. Он подошел к пульта, из вырванных гнезд которого торчали провода, и отчеканил:

– Мы находимся на бывшем пульте главного резервного стратегического пункта особого назначения... По одному мановению вашей руки весь белый свет может быть вот с такого пульта уничтожен...

Все некоторое время молчали.

Коровин подошел к Нине Реут и с нежностью в голосе спросил:

– Вы готовы отдать такой приказ?

– Кому я должна приказать? – прошептала Нина.

– Мне!

– Вы не шутите со мной таким образом? Я ничего хорошего уже не жду от жизни... Кругом только подлость и обман...

Нина Реут замолчала, потом заплакав покачала головой:

– Все равно... я не могу отдать такой приказ...

Коровин подошел к Болтовой:

– Вы... сударыня?

Военные молча улыбались, предпочитая в этой игре быть зрителями.

– Я не люблю, – сказала Таня, – когда женщина вмешивается в политику...

Коровин вернулся к пульта.

– Внимание! Вот она – кнопка...

– А Париж? – вскрикнула Нина Реут. – Париж! А как же Париж?

– Я бы тоже оставил Париж, – играя взмолился Шафоростов.

– Пожалуйста, оставьте Париж! – попросила Нина.

– Это сложно, – сказал один из военных, – проще накрыть все сразу... с французками вместе...

– Нет, – твердила Нина, – Париж – нельзя! Я там никогда не была...

– Что-то я устала, джентльмены, – сказала Таня Болтова. – Тут никакой мебели нет больше, кроме пульта?

– Была, – сказал Коровин. – Все кресла растащили... разворовали, другим словом...

Коровин с болью оглядел помещение.

– Все продано... разворовано... Тридцать лет строили... Сколько угрохали здесь людей! Тут же целый город мертвых под землей! В каждом сантиметре кровь...

– Полковник, – подал голос генерал.

– Да какой я теперь полковник! Я – сто-рож на кладбище...

– Полковник! – властно повторил генерал. – Давай продолжим экскурсию, и без надрывов...

– Слушаюсь! – пробормотал Коровин.

– Пора прилечь, – разрядила паузу Таня Болтова. – Как-то мне не приходилось до этого... отдыхать на пульте...

Она первой пошла из бункера, за ней – остальные.

Золов остался один. Он медленно подошел, положил руки на пульт. Долго стоял неподвижно, как бы оцепенев от собственного могущества.

– Валера, ты заигрался, – в дверь заглянул Шафоростов. – Тебя все ждут...

– Иди, – отозвался тот, – я сейчас...

– Валера, – пробормотал Шафоростов, – я не знал, что ты еще такой ребенок...

– Запомни, – сказал Золов, – я – зверь!

– Прекрати, – попробовал пошутить Шафоростов.

– Иди сюда!

– Валера! Я в такие игры не играю!

– Иди сюда, я сказал!

Шафоростов подошел. Золов поднял рубильник, другой – на табло вдруг замигал огонек.

– Смотри, как я убью их всех...

Он протянул руку к заветной кнопке и вдруг тихо и победно зарычал.

– Валера! Даже в шутку не надо...

– Убиваю! – сказал Золов, указав на кнопку. – Убиваю всех!

Шафоростов схватил руку Золова. Тот вырвался, потянулся к кнопке. Шафоростов преградил дорогу. Золов оттолкнул его. Шафоростов, потеряв равновесие, упал. Золов накрыл кнопку и вдруг весь засере-



брислся, попав под короткое замыкание. Крик его, жалкий, человеческий, потонул в реве возникшей сирены. Шафоростов за метался по помещению, нашел дверь, крича о помощи, выскочил наружу.

В бетонных коридорах толпились солдаты. Вой сирены был неожиданным, и о чем свидетельствовал, никто не мог понять. Была ли это тревога?

По гулким металлическим пролетам офицеры бежали назад. Ревела сирена. Мелькали какие-то огни. Коровин ворвался первым, выключил рубильник.

Золов, суча рукой и воя, повалился на пол.

Жанна молча смотрела на Голдина из темноты.

Они были вдвоем в полутемном разрушенном бетонном строении. Гулкая, страшная тишина окружала их. Кое-где слепо мигали оставленные светильники, лишь подчеркивая заброшенность и умирание некогда могучей цитадели.

– Мне сорок пять, – прошептала она.

– Жанна-детка, – сказал он, – может быть, ты слишком часто последнее время бываешь под хмельком? Слишком часто...

– Мне хорошо под хмельком...

– Что тебя так мучает? Что с тобой? Жизнь ведь продолжается...

– Что у меня было? Что у меня есть? Ни детей, ни любви...

– Разве я тебя не люблю?

По лицу Голдина потекли слезы.

– Что мне ждать от жизни? – прошептала Жанна. – Понимаешь, нечего ждать... Попробуй меня понять...

– Я понимаю, – сказал Голдин. – Знаешь, что мне здесь сдуру пришло в голову? Я представил "Ромео и Джульетту" в куклах... Но без ширмы. Пусть нас увидят! Куклы молодого Ромео и юной Джульетты в руках уже немолодых актеров... Я в данном случае говорю о себе... Ты могла бы еще сыграть Джульетту и на драматической сцене. Сорок лет – это не возраст для актрисы...

Голдин прижал ее голову, поцеловал волосы. Она отвела его руку.

– И что я должна сделать? Переспать с этим Медведевым? О чем ты говоришь?

– Даже у тебя этого не получится. Он

не может... Опала желтая листва... дубраву к земле ветер клонит...

Голдин многозначительно помолчал.

– Я подозреваю, что все эти дубы... немножечко... завяли... Ты заметила, что тут нет ни одной женщины? Ни одной... Такой странный городок...

– Зачем ему все эти деньги теперь?

– Я тоже считаю – совсем ни к чему... Расскажи ему о нашем театре... Сгустки краски... Не бойся...

Голдин смотрел на Жанну. Она заметила его взгляд.

– Что? – спросила она.

Голдин весь засветился. Обнял ее.

– Ты что, выпил? – спросила она сопротивляясь.

Голдин тянулся к ней.

– Пусти! – продолжала сопротивляться Жанна.

– Я так хотел все это время остаться с тобой вдвоем... если ты меня хоть немного еще любишь!

– Пусти... не сейчас... Пусти меня!

Голдин не сдавался.

– Прошу... тебя... Ну я прошу!

Сопrotивление Жанны все ослабевало. Торжествующий Голдин повалил ее на бетон.

Илья с разбитым в кровь лицом, с двумя синяками под глазами сидел в салоне автобуса. Он был уже трезв.

Хребет, наоборот, пьянел. Иван раскладывал на газете закуску. Хребет протянул Илье стакан с водкой.

– Я тебе обещаю, от этого, Илюха, у тебя все как рукой снимет... Все внутри тебя организуется.

– Не могу...

– Пить надо через не могу, – посоветовал Хребет. – Тут надо было все время, постоянно пить... врачи нас заставляли... Рудники рядом были опасные... Так чтобы было все хорошо, ты должен был быть постоянно пьяным...

Илья покачал головой. Иван выпил свой стакан. Хребет тяжело вздохнул:

– Ты кто?

– Человек, – сказал Илья.

– А ты? – повернулся Хребет к Ивану.

– А я – шофер...

– Вот! Ты – шофер. А был ли ты когда-нибудь человеком? Я – не был. У меня

имени никогда не было... только звание. Город здесь под землей... Я этот город строил... У города нет имени... нет имени – только номер. Номер сто семнадцать! И все... Сто семнадцать...

Хребет смотрел на Илью.

– А пацан – человек...

– Голдин – человек, – не согласился Иван, – он меня от тюрьмы спас. Я старушку в темноте не заметил... Он старика ее устроил сторожем в театр. Хотя многие от такого сторожа стонали. Дед такой бойкий был – все, что попадалось под руку, продавал... Он однажды кукол продал... Приехали на гастроли, кажется, в Херсонскую область... Дети собрались в городском Дворце просвещения... Мы открыли ящик, а там вместо кукол два полена лежат...

Иван захохотал. Хребет уже не слушал Ивана. Он спал, свесив голову на грудь.

Оркестр грянул всей медью и после вступления мягко лег на басы. Улыбающийся Голдин держал Жанну под руку. Она была причесана, накрашена и тоже улыбалась. По обе стороны от них стояли хмельные и веселые актрисы.

Дирижер оборвал оркестр.

Голдин обратился к публике:

– Итак, что же такое Аномалия? Вы скажете, Аномалия – это наша жизнь. Нет! Это наша мечта... которая никогда не могла сбыться. Мы, артисты, очень похожи с вами, военными людьми. Мы тоже служим. Служим чему-то большому, что не всегда умещается в голове. Мы служим мечте. Но нам повезло – нам случайно удалось найти своего благодарного зрителя. И мне почему-то кажется, что нам пора поблагодарить вас за гостеприимство и тепло. Не скоро забудется ваша теплая встреча, дорогие друзья. Поэтому наши актрисы – а если быть до конца откровенными – наши женщины испытывают непреодолимое желание пригласить вас – наших замечательных кавалеров!

Голдин повернулся к дирижеру:

– Коллега, не поспушите и подберите, пожалуйста, нам красивую музыку для прощального танца... Пусть он будет дамским...

Дирижер, погруженный до этого в монолог Голдина, как бы очнувшись, взмах-

нул руками, и оркестр возник сначала на басах, а потом зазвенели трубы.

Но в этот самый, довольно торжественный момент в фойе, странно пританцовывая и вскидывая руки, появилась улыбающаяся Люся. Она остановилась перед эстрадой, одобрительно прихлопывая в такт оркестру. Потом обернулась и посмотрела на сидевших в ожидании приглашения мужчин. Казалось, что и она тоже собирается воспользоваться своим правом женщины и пригласить кого-то, но это только казалось. Женщина не понимала особенности момента, и намерения ее становились явно враждебными. Люся искала Медведева и, увидев, подошла и начала ему что-то говорить, но речь ее нельзя было разобрать. В зале произошло движение. Засуетился Семен. Бессвязное бормотание Люси было пресечено двумя телохранителями Медведева: они взяли ее под руки и быстро повели в фойе. Медведев встал из-за стола, подошел к генералу. Они обнялись. Охрана Медведева направилась к двери. Внимание присутствующих было полностью сосредоточено на проходах Медведева. Актрисы одиноко стояли на эстраде. Голдин обратился к Медведеву:

– Мне кажется, что вы, Петр Николаевич, напрасно заторопились... Мы просим у вас... всего пять минут...

Медведев уже выходил в фойе. Он помахал на прощанье рукой. Генерал и несколько офицеров пошли его провожать. Коровин остался. Нина Реут улыбнулась ему.

Голдин быстро подошел к Семену:

– Не могли бы вы задержать вашего шефа?

– Припозднилась девушка! – отозвался Семен. – Ладно, пойду спрошу!

– Я вам буду, конечно, очень признателен...

– Получишь семь, – сказал Семен.

– Почему семь? Обещано десять!

– А мне за хлопоты?! Не шуми, иначе и эти отберем...

– Делим шкуру неубитого Медведева... Семен захохотал.

– Неубитый Медведев – это мне понравилось... Это нормально.

И вдруг он с таинственным и многообещающим видом поправил:

– Не убитого пока... Медведева...

Илья сидел у окна в автобусе и смотрел на площадь. Она была освещена фарами. Было заметно движение машин – некоторые участники ужина разъезжались. И вдруг Илья увидел Жанну. Она шла по бетонным ступеням, сопровождаемая медведевской охраной. Рядом с ней шел Семен.

Илья подошел к закрытым дверям автобуса. Попробовал их открыть.

– Иван, открой дверь...

– Сядь, – Иван не без труда вернул его на место, – сядь...

Илья поднялся – Иван опять его усадил.

– Иван, я прошу тебя, выпусти меня...

– Да чего ты бесишься? Не лезь против отца!

– Пусти! – закричал Илья. – Открой двери...

Хребет открыл глаза.

– Помогите, – попросил Илья Хребта. – Прошу вас, выпустите меня!

Илья рвал резиновую обшивку окна, пытаясь открыть его.

Хребт без труда отодвинул Ивана и ударом ноги распахнул дверь.

– Свободен! – сказал Хребт.

Илья вырвался на свободу.

– Починю, – успокоил Хребт Ивана.

Хребт смотрел вслед убегающему Илье и улыбался.

На площади Жанны уже не было. Илья пошел по одной из улиц, потом побежал. Вдруг впереди вспыхнул и ослепил его прожектор. Илья шел в световом пятне – кто-то невидимый следил за ним. Полоснув небо мощным лучом, прожектор куда-то пропал. Илья увидел метрах в пятидесяти шлагбаум. Несколько солдат с автоматами стояли по ту сторону его. Один, увидев Илью, подошел к шлагбауму.

– Дальше нельзя. Посторонним в режимную зону нельзя.

Илья стоял один у шлагбаума. Солдаты у будки поглядывали на него. Зашипев, вспыхнул над его головой прожектор, и, повернувшись по его лучу, Илья увидел далеко внизу, на дне огромной чаши котлована, Жанну. Она танцевала с Медведевым. Чуть поодаль стояла его охрана. А за

ними серебристый "роллс-ройс", из раскрытых передних дверей которого слышалась включенная на полную громкость музыка.

Илья смотрел, как они танцевали в луче света, и это было похоже на огромный театр.

Жанна увидела Илью. Илья стоял некоторое время неподвижно, потом повернулся и пошел прочь. Вскоре луч прожектора переместился на него. Жанна механически продолжала танцевать, но смотрела в его сторону.

– Видите того мальчика? – сказала она Медведеву. – Он – настоящий артист! Дайте денег ему на учебу – сделайте доброе дело...

Илья шел по кромке котлована, потом он исчез из виду.

Жанна танцевала с Медведевым. Лицо ее, оживившееся было, вновь приобрело прежнее отрешенное выражение.

Нина Реут и Коровин стояли на бетонных ступенях.

– Я не могу принять такой дорогой подарок, – сказала Нина, глядя на перстень, – мы едва знакомы.

– Для меня это не сумма. Примите в благодарность, что скрасили пустоту и одиночество...

– Вы одиноки?

– Семнадцать лет провел... практически... под землей, – Коровин склонился к уху Нины, – в постоянной боевой готовности. Вы появились здесь, как будто... ангел с неба... Бывают женщины, с которыми хочется начать новую жизнь...

– Вы так говорите, как будто я – именно та женщина...

– Скажу вам честно, всегда мечтал держать в руках... тонкую, хрупкую вазу...

– Вы – поэт, – сказала Нина.

– Стихи пишу... не скрою...

– Мне пора... Мы уезжаем... Вот мой адрес, – сказала Нина, – напишите мне письмо...

– Спасибо...

– А вы дайте мне свой...

– А я не знаю, где окажусь... Пошлют куда – не знаю...

Они стояли молча.

– Жалко вас отпускать, – сказал Коровин.

– А вы с нами не поедете? К этому Медведеву?

- Меня туда не приглашают...
- Ну давайте... я за вас попрошу...
- Не надо. Все-таки я офицер...

Венера шла уже вторую половину своего ночного пути. Под светом этой звезды Илья шел один по дну огромного котлована. Излучение Северной Аномалии, шедшее из недр, пронзало его.

Несколько машин остановились, сияя огнями. Из машин одна за другой вышли веселые Таня Болтова и Нина Реут.

– Что ты там делаешь? – крикнула Таня. – Почему ты не с нами?

– Поедем с нами, Илюшенька! – позвала смеясь Нина Реут.

– Куда?

– Мы едем продолжать ужин в узком кругу, – сказала Таня Болтова, – к богатым коммерсантам.

– Нет, спасибо...

– Ты будешь пить "Тархун"! – радостно закричала Нина Реут. – Нам эти коммерсанты обещали "Тархун"!

Илья увидел, как Голдин приоткрыл дверь машины. Он вышел с футляром, и слегка пошатываясь, приблизился к нему. Илья молчал. Голдин смотрел на него без зла. Во взгляде его было даже что-то отеческое.

– Тебя приглашают дамы выпить "Тархун"! Ромео на твоём месте дал бы себя уговорить... Ты оказался большой любитель по части выпить. Странно, потому что я не пью... В остальном ты оказался на меня похож...

Подруги, дрожа от холода, держали Голдина под руки.

– И самый последний совет, юноша: береги инструмент...

– Ефим, милый, хватит пошлостей на сегодня! – взмолилась Нина.

– Я говорю о скрипке – он ее везде оставляет.

Он протянул Илье футляр:

– Давай, поднимайся в машину. Жанна рассказала о тебе человеку по фамилии Медведев. Он готов послать тебя учиться в Московскую консерваторию...

– Тебе надо поехать с нами, – сказала Таня.

– Я не поеду...

Нина подошла к Илье:

– Тебе надо познакомиться с этими людьми... Не упрямясь, мальчишечка...

Она хотела по-матерински погладить его, но он отклонил голову и отошел.

Илья не смотрел на отца.

– Не волнуйся за него, – сказал Голдин, – он уедет в консерваторию, будет знаменитым на весь мир. Когда станет богатым и важным, заберет меня отсюда!

Постояв еще немного, женщины почувствовали себя лишними и молча пошли обратно к машинам.

Прожектор осветил сначала Голдина, потом свет перешел на Илью. С высоты птичьего полета две человеческие фигурки на дне котлована напоминали античный театр.

Голдин смотрел куда-то в сторону:

– Что касается Шекспира, юноша, – я все это проходил давно. Я готовил эту роль для областного театра драмы... Я знал эту роль наизусть... Помню до сих пор несколько монологов. Предпочли другого артиста... Мне играть не разрешили, потому что у меня не аристократическое лицо. Твоя мама должна была играть Джульетту. Я ждал, что она... откажется... Но она сыграла с другим. Я был рад за нее, но жить с ней уже не мог... Не аристократическое лицо. Ты понимаешь, что они имели в виду? Твоя мама попросила меня дать тебе заработать... Я взял тебя в эту поездку...

Илья посмотрел на отца. Голдин повернулся к сыну:

– Продолжаю думать над ролью Ромео... Представь, сынок, если бы он не умер вовремя, каким бы стал... Если бы Ромео прожил столько, как я... Теоретически у тебя была сегодня возможность умереть в положенный герою срок, но тебе не повезло – я слишком слаб и благороден, чтобы лишать тебя жизни...

Илья молча смотрел на отца.

– Почему ты со мной так говоришь? – спросил он. – Ты же не шути!

– Я – шути...

Голдин медленно пошел к поджидавшим его машинам. Илья посмотрел ему вслед.

Оркестр играл уже по инерции. Может быть, дирижер решил воспользоваться случаем и лишний раз прорепетировать, а может быть, солдаты играли, потому что зри-





тели не расходились. За столами сидели оставшиеся мужчины – было еще много спиртного и закуски достаточно.

Появившаяся Люся уже не привлекала к себе внимания. Танцевать с ней никто не собирался, поэтому Люся танцевала одна, скользя по бетонному полу.

Хребет, покачиваясь, стоял под опускавшимся вертолетом в самом сердце площади, окруженный небольшой пьяной толпой, и, задрвав голову, смотрел на своего заместителя Селиверстова. Тот что-то орал, держась руками за проем двери.

– Что-о? – с безумным выражением на лице кричал Хребет. – Лети, куда хочешь!

– Куда лететь? – стонал Селиверстов. – Куда? Керосина до Вароги не хватит! Горючее на исходе!

– У него горючего уже нет! – смеясь кричали Хребту. – Горючего нет!

– Без "Тархуна" он у меня вообще не приземлится!

– Отойди! – уговаривали Хребта сослуживцы. – Пусть он сядет!

Вдруг Хребет, как бы не давая сесте машине, упрямо, по-бычьему пошел прямо под фузеляж.

Селиверстов с безумным выражением на лице что-то закричал пилоту. Вертолет стал набирать высоту.

Темный силуэт человека мелькнул в редких кустах. Быстро сняв оптический прицел, он положил винтовку в сумку и растворился в темноте.

Хребет, прерывисто и тяжело дыша, дико озираясь, смотрел по сторонам. Он зашатался, пошел куда-то в сторону, прижав руку к груди и клонясь к земле. И только добравшись до ступеней опустевшего, темного Дома офицеров, повалился на мертвый бетон.

У основания лестницы скапливалась небольшая, но веселая толпа. Илья поднялся к косо лежащему на ступенях Хребту. Из приоткрытого рта Хребта стекала тоненькая струйка крови. Глаза его еще хранили уходящую жизнь. Он шевельнул губами и показал на окровавленную руку.

– Что? – спросил Илья.

Из темного здания Дома офицеров вышла Люся в ободранном грязном плаще.

Рваные полуспущенные чулки едва прикрывали распухшие ноги. Обратив испитое лицо вниз, она некоторое время смотрела на лежащего Хребта. Потом поглядела на толпу внизу – и до ее полуживого сознания дошла мысль о беде. Она спустилась вниз и села рядом с Хребтом, тупо глядя на людей.

К Илье подошел Иван, потянул за руку:

– Поехали-поехали!

– Куда?

– Пора... отсюда – чертово место...

Он потащил Илью к автобусу, к окнам которого прильнули Шафоростов и Золов.

Спустившись, Илья посмотрел наверх.

Люся все так же неподвижно сидела рядом с Хребтом.

Солдаты шли строем. Их лица на фоне утреннего неба были серы и будничны: и этот день ничего не обещал, кроме работы.

Сквозь лобовое стекло, минуя затылок Ивана и шляпу спящего Голдина, Илья видел идущих навстречу солдат.

Солдаты под окрики командиров сдвигались вправо. Иван сбавил скорость, и автобус медленно проехал мимо.

Следы бессонной ночи видны были на лицах спящих артистов. Голова Шафоростова лежала на плече Золова. Нина Реут прижалась к Тане Болтовой. Мусатова дремала с флягой в руке.

Илья увидел лицо Жанны, с открытым ртом и задранным подбородком, отчего резко обозначились ее морщины, и вдруг он понял, что оно было совсем не таким красивым, как ему казалось еще вчера.

Илья повернулся к заднему стеклу и увидел спины солдат, замыкавших строй.

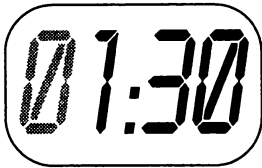
Они поворачивали головы вслед уезжавшим артистам. Молодые солдаты сбивались с шага, улыбкой провожая автобус.

Илья посмотрел вперед: бесконечная дорога бежала навстречу. Впереди у него была целая жизнь, но ему вдруг показалось, что он ее уже прожил.

Автобус опять остался один на один с обледеневшей колеей.

Рисунки Виктории Тимофеевой.

## АЛЕКСАНДР МИТТА:



## В ГОСТЯХ У ГОРЕНШТЕЙНА

*В редакции журнала "Киносценарии" мне сказали: – Вы там, в Гамбурге, недалеко от Горенштейна. Не съездите ли к нему в Берлин поговорить?*

– Интервью что ли взять? – спросил я.

– Ну что вы. Просто поговорите как два мастера, два художника.

*Я собирался в Берлин на выставку "Москва–Берлин", там была ретроспектива знаменитого абстракциониста Сая Твомбли. Художника, который стал одним из самых элитарных и коммерческих живописцев одновременно. Такой Эстет Эстетович. А рисует он на огромных холстах что-то очень похожее на стенки станционных туалетов. Но тридцать лет неуклонного следования своему призванию превратили его в миллионера. Интересно поглядеть.*

*Сидя в поезде, я представлял себе, как мы с Горенштейном сядем в глубокие кресла и я спрошу:*

– А что вы думаете о диффузии поставангардного шизоанализа в деконструкции новой лексики?..

А он спросит:

– А что вы думаете о конвергенции надструктурных интеграций в кинопроцессе переосмысления волн?..

Такие вот будем умные!

*В Берлине прямо с вокзала я позвонил:*

– Фридрих, я на ЦОО, иду к вам.

– Прекрасно, Саша. Но одно осложнение – в семь вечера я приглашен на прием. И так как он устроен по поводу выставки русской литературы и называется "От Пушкина до Горенштейна", мне было бы неудобно опаздывать. И я не могу вас взять с собой, так как меня сопровождает очаровательная израильская журналистка.

*Не каждый день, согласитесь, предстоит беседа с писателем, который объявлен в центре Европы прямым наследником главного литературного сокровища России. И в моей голове вопросы застучали как молоточки – один умнее другого. А сам я, как студент, пытался вспомнить, чем отличается семантика от семиотики и обе вместе от семиологии.*

*Еще бы всунуть куда-нибудь "гносеологию" и "катаконический поставангардизм" – и все в порядке.*

*Квартирка писателя располагалась в самом центре, около Ку-дамм. Для прибывшего в Германию она выглядела бы как кусочек рая. Но я уже поднато-*

рел в немецких жилищах и сразу просек, что это дом под контролем социальной защиты. Проще говоря – для бедных. И все как-то сразу пошло враскосяк.

Писатель встретил меня в майке, не выглядевшей как только что надетая. Израильской красавицы в доме не было.

– Мы поедим? – спросил писатель. – То, что я сготовил. Жены нет – расстался. Она завела китайца. И все к нему унесла. Но тарелки есть. Водочку пьете?

Квартирка не походила ни на один известный мне писательский дом. В Москве они все как поросята от одной свиноматки. У стен шкафы со стеклянными створками, за створками издания, если есть зарубежные, то они стоят, выпятив груды суперов. У Горенштейна только в Германии и Франции вышло больше двух десятков книг. Но ни одной не было выставлено.

Дом больше походил на мастерскую художника. Маленький рабочий стол. Немного чистой бумаги. И все. Остальное – минимум для жизни: обеденный стол, два кресла, телевизор, кровать. Еда была здоровая и простая – макароны. Водка русская.

Надо было быть идиотом, чтобы произносить под это дело какие-то слова из придуманной жизни. Да и нужды не было. Я открыл фотоаппарат. И писатель забеспокоился.

– Я надену рубашку. Галстука не надо?

Я вынул диктофон и быстро поставил его на стол.

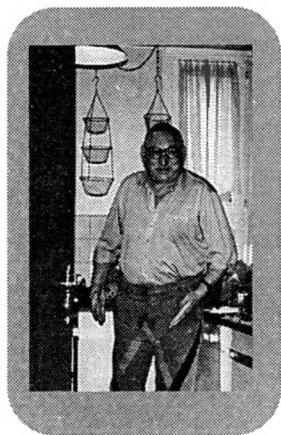
– Пусть он пишет, а мы сами по себе поговорим.

И потекли сказочные полтора часа. Естественно, я слушал и не вторгался в монолог. Не каждый день говоришь с человеком, который объявлен последней остановкой на маршруте "Пушкин, далее – вечность"...

Я, как говорят в народе, оттянулся.

На следующий день пришла расплата. При прослушивании что-то хрюкало: "хр-бр... прхх-вхиз..." Оказалось, что почти вся пленка из микрокассеты замялась при записи.

Мне придется восстановить то, что застряло в моей расслабленной памяти, и использовать клочки незамятой пленки. Может, оно и к лучшему. Фридрих Горенштейн – огромный писатель, один из немногих оригинальных умов. Одновременно философ, художник и критик общества. При этом он прост, естественен и неукротим.



"...У меня высокий престиж, множество статей в лучших изданиях, но, к сожалению, этот престиж не переходит в реальные деньги. Я не могу писать бестселлеры. Это покупают те, кто едет на вокзал. Разве "Фауст" Гете был бестселлером? Тем не менее я живу на свои деньги, оплачиваю эту квартиру и все остальное – но все на пределе. Хотя беспрерывно выходят мои книги.

Я не могу ничего делать для денег. Вот этот сценарий "Ариэль", который мы писали с Тарковским. Он был вначале задуман, чтобы заработать денег. Но это как-то быстро ушло. Андрей понимал, что снимать Евангелие ему не дадут, и он решил сочинить что-то похожее на евангельскую тему.

Я работал со многими режиссерами: с Михалковым, с Аликом Хамраевым, с Резо Эсадзе. К сожалению, мне не всегда везло. Например, я вложил большой

труд в сценарий "Комедии ошибок" Шекспира покойного режиссера Гаузнера, которому долго не давали работать. Но это еще не признак таланта. А с Тарковским я делал "Солярис". Планов работы у нас было много: "Дом с башенкой", сценарий "Ариэль", который журнал публикует. И уже когда Андрей был здесь, на Западе, мы собрались делать "Гамлета". У меня были с ним сложные отношения, что скрывать. Он был человек непростой. Да и я тоже. И не всегда мы были друзьями. К сожалению, его окружали тут не слишком приличные люди. Это, конечно, печально.

Последний раз, когда мы с ним расстались в кафе "Крайслер", он мне сказал: "Я пойду сделаю маленькую картинку, и мы сядем работать..." Пошел, так и не вернулся.

...Я люблю работать для конкретного режиссера. Для меня, как для портного, удовольствие шить костюм по фигуре. Но надо, чтобы режиссер заявил, что он хочет. Вот с Никитой (Михалковым – А. М.) я бы охотно еще поработал. Я делал с ним "Рабу любви". Он знает, что ему надо. А с Андроном (Кончаловским – А. М.) я больше работать не стану. Он не говорит, что ему надо. Тарковский тоже не говорил. Я должен был сам понять. Ему было трудно сказать словами то, что он хочет. И наши отношения были совсем не просты. Но я ощущал что-то конкретное. А у Андрона я этого не ощущаю. И Саша Зельдович тоже не дает ощущения конкретности. Он мне очень напоминает молодого Юлика Карасика. Как он, кстати?

*(Я ничего не мог сказать.)*

А вот режиссер Вальтер фон Триер заказал мне сценарий. Я написал втрое больше, чем надо, буду печатать как кинороман. Но он прислал мне письмо с точными указаниями – что, где и насколько сократить или развить. И все опирается на ясный режиссерский замысел. С таким режиссером приятно работать.

Я думаю, главная беда кино и театра состоит в оригинальности идей. Тяжелей всего проникнуть в идею автора. А легче всего придумывать свои оригинальные идеи, чтобы не утруждать себя в проникновении в глубины идей автора.

Странно, что в России нет сегодня кино. Я не верю, что это надолго. Эта демократия и возможность делать все что угодно – они нанесли большой урон консервативному представлению об искусстве. Без этого искусство невозможно, как музыка без мелодии. Теперь одни интерпретации без мелодии. Это невозможно.

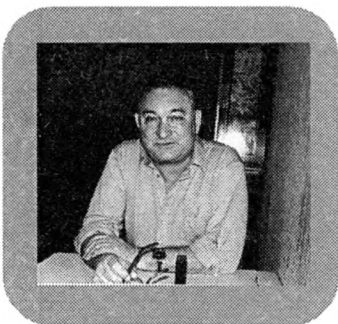


...Я написал статью о сути событий в Чечне. Она называется "Бомбы на Россию". Это бомбы, которыми ООН забрасывает Боснию, они летят на Россию.

*– Но ведь всем известно, что сербы жестоко и бесчеловечно убивают, мучают и насилуют мусульман. Они режут изнасилованных женщин, устраивают бойни и кровавые бани. Они не щадят детей, особенно детей...*

*– Это подтасовки западной пропаганды.*

*– Но это знает каждый: лица убийц и мучителей засвечены в западной прессе.*



– Германия виновата в этом больше всего. Она вмешалась в союз народов, связанных деликатно кровеносными сосудами. Но немецкий напор взорвал это равновесие. Они разбомбили и русскую демократию. И наши надежды. Но скоро они увидят горькие плоды своего авантюризма. Они увидят антизападную Россию. Вот в чем суть трагических событий. Это НАТО. Я им удивляюсь. Они подыгрывают преступному исламу. Они признали Боснию, которая не является национальным государством. Она – религиозное государство. По какому праву она государство? Нет в Европе католических или протестантских государств! Это сделали американские дураки из ЦРУ. Они ничем не лучше нашего прежнего КГБ. Они – не антипод КГБ, а такие же. Я не могу опубликовать статью на эту тему на Западе, хотя у меня тут высокий престиж.

...Меня интересует тема расстрела царской семьи. Там очень много лжи. Вот, например, опубликованы списки 11 палачей царской фамилии. Там русские, немцы, латыши и только один еврей – авантюрист Юрковский. Но это замалчивается, чтобы придать расстрелу антисемитский характер. И сам Юрковский – лживая фигура. Он был другой, даже фамилия у этого человека другая.



Я лично отношусь к фигуре Николая II с неприязнью. Но это не значит, что его надо было убивать. Тем более, что это возвеличило его. Если они хотели уничтожить Николая II, они должны были его выпустить за границу. Он там был никому не нужен. Он нужен был белому движению мертвым.

...Я не связан ни с какими литературными процессами. Я живу как индивидуалист. Все сам из себя беру – и хорошее, и плохое. А что такое этот "новый" французский роман? Я не знаю, что это такое. Я думаю, вы у них это не узнаете. Будут говорить общие слова. У меня во Франции 8 книг вышло. Но я не знаю никаких "процессов".

...О Московском международном кинофестивале, где я был членом жюри? Беда в том, что жюри, кроме меня и Лиды Шукшиной, не поддержало лучший, на мой взгляд, фильм фестиваля "Человек, который поднялся на гору". Это английский фильм. Они почему-то стали говорить: "Это колхозный фильм". И выбросили его из голосования. И китайский выбросили, превосходный фильм. И сразу некому стало давать призы.

А японский и австралийский фильмы – это были примитивные цитаты, инициации чеховщины. Мне это не нравится. Я не против того, чтобы использовать чеховские сюжеты. В "Земляничной поляне" использован чеховский сюжет. Но там выражены свободные чувства. А тут были только надерганные цитаты.

...Почему проваливаются пьесы Шекспира? Потому что он не очень хороший драматург. Он великий поэт и великий философ, а как драматург он очень средний. А "они" делают его драматургию, опускают его философию, его поэзию. Потому и получается часто, как у Козинцева.

Драме нужны великие актеры. Вот Катя Васильева могла бы в моем "Бердичеве", который я так люблю, сыграть великолепно. А она уходит в монастырь. Вы слышали? Это возмутительно. И так людей нет, а она уходит. Что она там

будет делать? Пусть прочитает "Отца Сергия", вы ей скажите. В миру надо ей общаться с Богом. Жалко, что ее тут нет. Я бы ее сагитировал.

А вы "Бердичев" не читали? Жаль. Табаков хочет его поставить. Только он сам должен Рахиль сыграть. Больше никому – Раневской нет. Кроме него никто не сыграет.



...Участие в "Метрополе" это была моя ошибка. Что это мне дало? Они там, Аксенов и другие, это был истеблишмент, к которому я не принадлежу. Мне не надо было туда давать "Вступление". И, знаете, в "Метрополе" оно не прозвучало. А когда было издано в моей книжке, была сделана инсценировка.

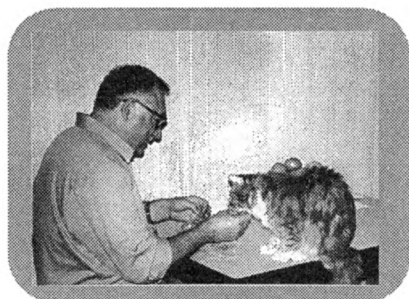
Я теперь стараюсь не участвовать в сборниках. Хотя иногда приходится.

...Я уже много лет мучаюсь и в этом году закончу роман об Иване Грозном. Это роман в диалогах, пьеса в размер романа.

У меня о Петре есть пьеса, которая идет в Малом театре. А в романе о Грозном главная трудность в том, что разговор идет на языке XVI века. И это ведь поэтический язык. В нем музыка. "Кто на Русь въезжал, из Руси ай да не выезжал!" Эта пьеса называется "На крестах". И в прямом и в переносном смысле.

– Вот вы так хорошо знаете русскую историю, – спрашиваю я, – скажите, с каким историческим периодом можно провести аналогию сегодня?

– Иван Грозный! XVI век! Петровское время – это уже время национал-империалистического движения. Оно, может, и наступит. Я надеюсь, что наступит Петровское время.



Наш век – телекоммуникации – создает поразительные феномены. Ничтожные люди с двумя-тремя стереотипами дешевого обаяния торчат в каждом доме, они роднее самых близких – это телесимволы. А глубочайшие умы и уникальные таланты неведомы никому. Первые – миллионеры. Они торговцы на рынке рекламы и саморекламы. Вторые – если не в нищете, то благодаря счастливой случайности. Горенштейн сказал как-то: "Ну, в России я бы просто помер с голоду". Между тем его талант отдан России полностью и бескорыстно. Он живет не в реальности 90-х годов. Он плавает в веках, свободно ассоциируя пять-шесть веков российской истории, связывая их в единую, неразрывную цепь, болеет и мечтает о счастливом Будущем. Этот же феномен "жизни в столетиях" я встречал у Шнитке. Он отличает глубокие таланты. Фридрих Горенштейн в реальной жизни, где процветают ловкие администраторы, беспомощен как ребенок. Его мощный ум погружен в иную реальность, где как живые действуют Петр I, Иван Грозный, персонажи фантастических миров и библейских сказаний. Его время не подчиняется стереотипам массовой культуры. Кшиштоф Занусси как-то сказал о Тарковском: "Есть фильмы, которые надо смотреть на коленях". Довольно трудно отделить подобный мир в подлинном выражении от ловких рыночных подделок. Миры Горенштейна – подлинные свидетельства уникального российского таланта. Но ни сценарий, ни обрывки беседы – не те двери, которые в них ведут.



Фридрих Горенштейн  
 Андрей Тарковский

# Светлый ветер

ПО МОТИВАМ ПОВЕСТИ  
 Александра Беляева "Ариэль"

## Часть первая

**В** небольшой келье спал монах. Была светлая лунная ночь, четкие тени тянулись по полу и стенам.

И вдруг раздался стук, но не в дверь, а в потолок кельи. Монах открыл глаза и услышал шум, словно ураган бушевал за окном и выло множество ветров, дующих в разных направлениях. В страхе монах закрыл лицо руками, но кто-то крепко взял его за запястье. Весь дрожа, он открыл глаза. Иисус стоял перед ним и держал его за руку. Монах прошептал что-то, но губы его шевелились без слов и голоса не было. В то же мгновение ярко вспыхнула бесшумная молния и осветила келью. Монах упал навзничь...

**З**а окном была тихая лунная ночь. Он поднялся и сел на кровати, опустив босые ноги. Долго не мог успокоиться. Потом встал, подошел к двери, налил из кувшина воды и выпил, не отрываясь, целую кружку.

**С**разу за стеной монастыря была проросшая жесткой травой поляна, над которой высились седые оливы. Здесь было прохладно от протекающего неподалеку ручья, но дальше, к горизонту, тянулась высушенная, залитая солнцем равнина, окаймленная красноватыми горами.

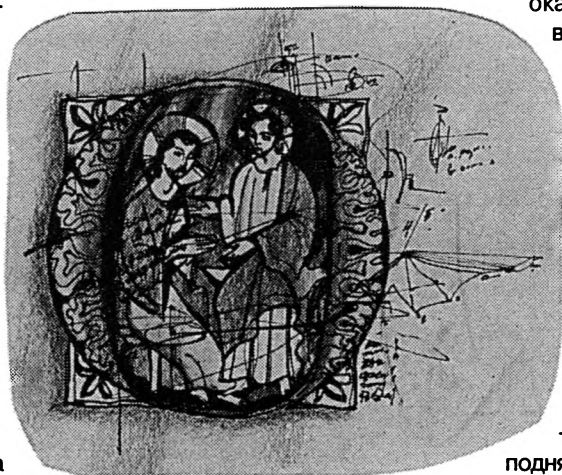
Два человека лежали в траве. Один был худой, с жесткими чертами лица, второй, наоборот, упитан, и мягкость линий делала его почти добродушным. Худого звали Деккером, упитанного — Клафом.

— Вы что, спите?  
 — окликнул худой, поднявшись на локте.

— Нет, — отозвался Клаф, не открывая глаз. — Так легче думать. Правда, если вопрос слишком труден, случается и задремать.

— Разве проблема судьбы человечества — трудный вопрос? — спросил Деккер, покусывая травинку. — Он достаточно проанализирован в Апокалипсисе.

— Мне кажется, вы чрезмерно увлеклись



философией, – сказал Клаф. – Занятия ею неизбежно рождают пессимизм.

– Как раз наоборот. Пессимизм рождает философию. Какое сегодня число?.. До конца XIX века осталось 7 месяцев. Разве это не достаточный повод для пессимизма?..

– Fine de siecle! Здесь целая система! – улыбнулся Клаф. – Конец века!

– На днях я листал старые журналы, – сказал Деккер. – Всюду безумные надежды, необузданный оптимизм, бессмысленная вера в человека, в Бога, в общество, в науку... Наконец, и в науку... Вы не улыбаетесь... То, что я переменял пять университетов и вынужден был укрыться здесь, говорит лишь о том, что наука стала прочным и прибыльным делом, а ученый – уважаемым членом общества... Вот почему в науку повалила посредственность.

– Такой лаборатории, как здесь, вы не получите ни в одном университете, – сказал Клаф.

– Давайте-ка лучше займемся статистикой, это успокаивает нервы. Вы когда-нибудь думали о том, что дали науке все предшествующие века по сравнению с нашим? Начнем с нуля, с дикости... Употребление огня – раз, компас – два, паровая машина – три... Телескоп, барометр и термометр, книгопечатание, арабские цифры, основы электричества, порох, алфавит... Да – забыл – колесо...

– Законы тяготения, – подсказал Деккер.

– Законы Кеплера, – сказал Клаф.

– Дифференциальное исчисление, осмысление принципов кровообращения, доказательство конечности скорости света, развитие геометрии, – закончил Деккер.

– И все, – сказал Клаф. – Вот великие открытия всех времен. А вот что дал один лишь XIX век – железные дороги, паровые суда, электрический телеграф, телефон, спички, газовое освещение, электрическое освещение, фотография, фонограф...

– Рентгеновские лучи, спектральный анализ, анестезирующие средства... – перебил Деккер.

– Закон сохранения энергии, прямое определение скорости света, опытное доказательство вращения Земли, открытие метеоритов и метеорическая теория, – продолжал Клаф.

– Открытие существования ледникового периода, установление эволюции организмов, теория клетки и эмбриология, действие лейкоцитов, – сказал Деккер.

– Соотношение 3:2, – сказал Клаф, – подтверждение исторического оптимизма статистикой.

– Да-да, – ухмыльнулся Деккер. – "Человечество, развиваясь, совершенствуется".

– Вы не согласны? – спросил Клаф.

– Мне ближе эмпирическое, а не умозрительное восприятие, поэтому я не верю проповедникам вообще... "Они потихоньку пьют вино, а вслух проповедуют воду..." Это Гейне.

– Среди них есть и искренние люди...

– Они-то и опаснее всех, – сказал Деккер. – Что может быть страшнее искренних заблуждений?

– Последнее время, – сказал Клаф, – у вас по ночам свет в окнах... Или вы спите при свечах?

– Ад, грех, откровение в духе св. Иоанна, все это было изобретено ночью, в бессонницу... Но стоит лечь на землю, вытянуться, посмотреть в небо – и самое ужасное становится смешным, жизнь наша – вечной, а мир прочным... – Деккер лег навзничь, положив руки за голову, глянул в чистое синее небо и, вздохнув, улыбнулся...

**И** Григориус исповедовал послушника. Исповедь эта была лишена ритуала и напоминала обыкновенную беседу старого человека с молодым, который во всем доверяет старшему. На чисто выбеленных стенах висело две гравюры Рафаэля, между ними – распятие. На маленьком столике лежала Библия в старом кожаном переплете. На подоконнике стояли горшки с цветами.

– Во время вечерней молитвы, – подавленно говорил послушник, – я чувствовал радость, какой давно уже не испытывал. А когда вышел во двор, мне опять стало страшно. Я знал, что не засну, и стал читать. Но я не находил утешения в Писании. Временами оно вызывало во мне даже раздражение. Тогда я почувствовал себя таким усталым, что отложил книгу и лег. Но уснуть не смог. Через некоторое время я услышал над головой стук, потом начался



шум, и я почувствовал, что дрожу. Кругом был такой шум, словно столкнулось много ветров, и тут кто-то взял мое левое запястье и так держал меня. Я посмотрел и узнал его. Это был Он. Иисус. Он говорил со мной, но о чем – не помню, и что дальше было, тоже не помню. Очнулся я сидящим на кровати. Меня трясло, я даже подумал, что заболел... И вспомнить ничего из этого, о чем Он говорил со мной, я так и не смог. Это было хуже всего.

– Филипп, – помолчав некоторое время, сказал о. Григориус, – ты мне веришь?

– Я люблю вас, отец, – ответил Филипп.  
– Тогда слушай.

Старик подошел к полке, взял книгу, раскрыл ее и прочел описание одного из видений человека, о котором в ней рассказывалось.

– Это жизнеописание Беме. Ты брал у меня эту книгу? – спросил о. Григориус.

– Да.

– Все, что ты мне сейчас рассказал, ты вычитал отсюда.

– Нет, – сказал Филипп.

– То, что ты мне рассказал – неправда, – твердо и резко сказал о. Григориус.

– Как неправда? – удивленно, но прямо Филипп посмотрел в глаза своему наставнику.

– Для обмана нет запретного. Господь создал жажду для алчных... Иди, я сделаю все, чтобы помочь тебе, – он перекрестил Филиппа, а тот, наклонившись, поцеловал его руку.

**О.** Григориус и настоятель монастыря о. Мартин – широкоплечий, со скуластым крестьянским лицом – шли по тропе среди выгоревшей сухой травы. Был белый знойный полдень.

– Вы не огорчитесь, если этот разговор я начну здесь? – спросил настоятель. – Для этого я вас и позвал с собой, собственно.

– Я слушаю вас, – сказал о. Григориус.

– На ваш трактат и приложенное к нему послание получен ответ, – сказал настоятель. – Вас не одобряют, и вами недовольны.

– Моя судьба не беспокоит меня, – сказал о. Григориус. – Под угрозой святости христианства. Крест в глазах многих не без оснований превращается в символ стяжательства. Надо спасать веру, а вы спасаете свою власть... Церковь разлюбила человека... Надо полюбить его снова... Церковь не может существовать, потакая тем, кого Иисус изгнал из храма, превращенного торговцами в базар. Пусть в момент душевного разброда многие ищут успокоения в рационализме и науке... Мы же должны ждать, пока, устав и разочаровавшись, люди снова нас позовут. А они позовут. Я верю, ибо человек беззащитен.

– Значит, катакомбы? – с усмешкой спросил настоятель.

– Да, если потребуется, опять катакомбы, – с жаром воскликнул о. Григориус.

– Страх ваш понятен. Вы слишком долго жили затворником. Но как совместить с вашей честностью донос на меня о том, что я приютил в монастыре чуть ли не алхимиков и чернокнижников...

– Я растоптал бы ногами их лабораторию, – с неожиданной злобой сказал о. Григориус.

– Господи, как у вас злобой глаза сейчас сверкнули, – сказал настоятель. – Сейчас не XVI век... "Катакомбы"... Мы должны жить в том мире, какой существует.

– Сейчас мало кто верит тихо и кротко, – продолжал о. Григориус. – Даже собственные видения сейчас заимствуют из книг, и означают они не веру, а нервное состояние умов, материализм и гордыню... То же и в нашем монастыре... Унижение, солдатская муштра и дурная пища могут родить среди монахов мечты только гордые и злобные...

– Наш метод воспитания, – уже сухо и чуть ли не враждебно сказал настоятель, – включает воспитание воли, умение ограничить, обуздать себя, подавить мысль... Ибо вера – это чувство...

– Тот, кто боится Бога, может его возненавидеть. Костры инквизиции готовили нынешнее нашествие науки и рационализма.

– Подобные речи можно назвать и отступничеством, – сказал настоятель уже с угрозой. – А некоторых особо строптивых отступников предадут отлучению... Я не уверен, правильно ли вы влияете на молодые умы. Ваш воспитанник Филипп...

– Это натура ищущая, но нервная и слишком впечатлительная, – перебил о. Григориус. – "Мог светить как безгрешный, но не светил". Это словно о нем сказано. В таких натурах, как он, может вспыхнуть материальное желание. Пожалейте их, отец, – сказал он с неожиданной мольбой в голосе. – Жалейте их, пока они наши.

– Я подумаю о нем, – сказал настоятель смягчаясь.

– Не дай Господь, – сказал о. Григориус, – если такой усомнится!

Они подходили к колодцу, у которого толпились крестьяне. Земля вокруг потрепалась от зноя. Темнокожий юноша поил буйвола из деревянной колоды.

– Вот оно – начало начал, – сказал о. Мартин. – Вот они – истоки веры.

– Здесь небо ближе, – вздохнул о. Григориус.

Они взяли из рук юноши кожаное ведро и омыли мутной водой воспаленные лица.

**В** трапезной ужинали. За длинными столами сидели монахи, послушники и ели в полной тишине, молча и скучно, словно совершали надоевший обряд. Перед каждым на деревянной тарелке лежали лепешки и горстка земляных орехов. На столах стояли глиняные кувшины с водой.

О. Мартин и о. Григориус сидели во главе стола и молча пили воду из глиняных кружек.

Филипп, не прикасаясь к еде, старался взглядом встретиться с глазами о. Григориуса. Трапеза кончалась. Прочли молитву, и, встав друг за другом, все двинулись к деревянному корыту, где, ополоснув свои миски, сложили их ровной горкой. Филипп вышел со всеми, так и не прикоснувшись к еде.

**Д**еккер сидел на земле среди высоких олив. Рядом с ним стояла большая клетка, полная лягушек, ползающих и прыгающих друг по другу. В сухой траве посвистывал ветер. Склоны далеких гор были покрыты облаками.

– Профессор, куда вы девались? – слышался голос Клафа. – Дверь заперта изнутри. Я стучал полчаса, думал, с вами что-нибудь случилось.

– Я вылез в окно... – сказал Деккер. – Хотел хоть ненадолго избавиться от вас и побыть один. Вы человек полезный. В работе. Но иногда вы становитесь невыносимы.

– Бессонница? – сказал Клаф. – Апокалиптическое восприятие? Но ведь вы нашли способ – лечь на землю и смотреть в небо.

– Перестаньте фиглярствовать! – вдруг злобно крикнул Деккер.

– Я не фиглярствую, – тихо ответил Клаф. – Я сам часто прибегаю к вашему методу.

– Поймите, – сказал Деккер после паузы. – Мы в тупике... – он ткнул ногой в клетку с лягушками. – От решения пробле-

мы мы сейчас так же далеки, как и пятнадцать лет назад.

– Мы не готовы!.. Просто не готовы!.. Мы переоценили свои силы! Может быть, вам пойти отдохнуть? – сказал Клаф. – А этим займусь я?

Лягушки в клетке проявляли беспокойство, образовав некий странный, словно парящий внутри клетки, рой.

– Занимайтесь, – безразлично сказал Деккер и встал. – Занимайтесь, а мне надоело быть таким непризнанным гением.

Он усмехнулся, махнул рукой и, тяжело волоча ноги, поплелся в сторону монастыря. Остановился.

– Пока я был молод, горяч и гоним, – крикнул он издали, – я думал, что эта проблема разрешима на пересечении физики, биологии и физиологии... Но теперь, после пятнадцати лет тяжелого труда и размышлений, я понял – нет, милые мои... Здесь нужен гораздо более широкий синтез... Синтез нравственности и знания, науки и морали, разума и инстинкта... Не знаю, может, кто-нибудь, когда-нибудь и достигнет этого, но я не могу и не хочу! – воскликнул он неожиданно громко. – Ибо веры во мне более нет, и в Боге я начал сомневаться... Начал сомневаться даже в Ньютоне, создателе той Вселенной, в которую наука верит уже два столетия... Я весь в сомнениях, господа, я мертв... Отрекаюсь! – крикнул он визгливым голосом. – Прощайте! – Он церемонно поклонился и пошел по полю к монастырским стенам.

– Простите, профессор! – тревожно позвал Клаф и, нагнав Деккера, взял его за руку. – Мне кажется, вы сегодня совсем уж дурно выглядите... Я как-то сразу не понял...

– Оставьте! – крикнул Деккер и, с силой вырвав руку, чуть не побежал по дорожке.

**О**кна были завешены циновками. Кроме профессора в келье был служка, низенький монашек, который занимался уборкой.

– Что-то душно, – сказал Деккер, расстегивая рубаху.

– Дождь будет, – сказал монашек.

– Тебе тоже душно? – спросил Деккер.

– На солнце работать? Злобствовать.

– Да, ропот – это прихоть, – сказал Деккер. – Помнишь, монах? “Пришельцы между нами стали обнаруживать прихоти, а следом за пришельцами и подлин-

ные сыны сидели и плакали и говорили – кто накормит нас мясом?..”

Деккер порывисто подошел к столу, где лежало множество книг с закладками, взял одну.

– “... Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших...”

– Это Числа, – сказал монах. – Капитул одиннадцатый. Далее сказано: “Манна же была подобна кориандровому семени. Народ ходил и собирал ее и молот в жерновах...”

– А ты любишь Бога?

– Страшно вы очень спрашиваете, – сказал служка.

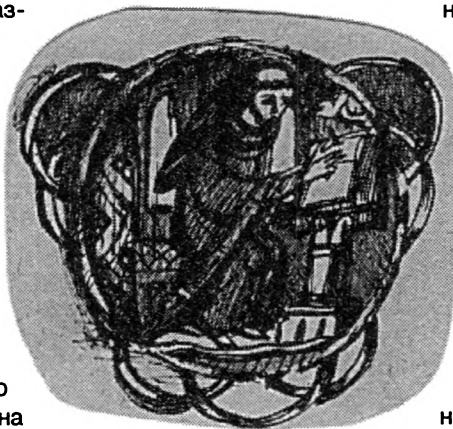
– Почему страшно? – спросил Деккер.

– Больны вы душой. Жалко мне вас...

– Спасибо тебе, – тихо ответил Деккер.

– Не любят вас в монастыре, о. Григориус – человек добрый, хороший, а о вас говорит дурно.

– Жалко, – сказал Деккер. – Я пришелец, а о пришельцах зачем плохо говорить... Они приходят и уходят... Но вам, постоянным жителям этого мира, разве хоть иногда не хочется задуматься?.. Вот слушай, – он открыл другую книгу: – “...Взгляни, друг мой, на подлинные деяния этого христианского мира. Они воистину взывают к Иисусу, единственному сыну в момент нужды, но они забывают Его учение и Его жизнь, как упрямые дети, пренебрегающие предупреждением. Они погрязли во всех видах невоздержанности, гордости и порока. Где вы видели ми-



лосердие в этом немилосердном мире?”

– Нечистые книжки вы читаете, – сказал служака. – О таких книжках и говорит о. Григориус... Вы Бога не любите, – испугался вдруг он, пораженный страшной догадкой.

– Тебя как зовут? – спросил Деккер.

– Иаков, – сказал монах.

– Хм... А ты с ангелом никогда не дрался? А, Иаков? Пошел вон, – неожиданно тихо и холодно сказал Деккер, – передай настоятелю, чтобы мне прислали другого.

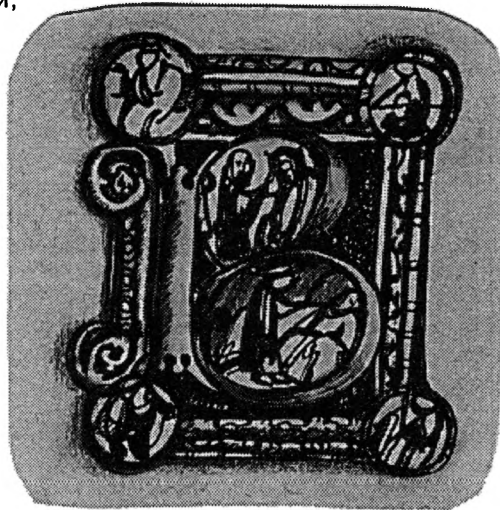
Когда Иаков скрылся за дверью, Деккер с силой, подняв пыль, сорвал с окна циновку. Жаркое солнце потоком хлынуло в келью. Профессор стоял, запрокинув голову. Впервые за весь день лицо его было спокойно, но странно, как лицо человека, горящего с самим собой.

“Мыслю, следовательно существую, сказал пришелец Декарт. Человеку, который мыслит, не нужно иметь доказательств бытия... Ну, а исходная идея – вот где Декарт запутался... Кто создает исходную идею?.. Где исходная идея нашего мира?.. Кем она рождена?.. Вот где тупик, мешающий человеку жить и созидать... Декарт умер от воспаления легких... Пришел и ушел, не завершив труда... Тот, кто сможет завершить свой труд, поймет исходную идею... Только не я... Это будет кто-то другой. Жаль... Как жаль... Ах, как жаль...”

И он горько заплакал.

**Ф**илипп шел по горной тропинке в сторону нищей деревни, дома которой лепились к скалам. Кое-где на склонах сухо желтели тощие виноградники. Темнолицые люди окучивали лозы мотыгами. У высохшей горной речушки несколько костлявых буйволов лизали мокрый песок.

В центре деревни, на небольшой площади был сооружен дощатый сарай с крестом.



– У вас тут умирает кто-то. В каком доме? – спросил Филипп.

Умиравшему было лет тридцать. Он в беспамятстве лежал на циновке, укрытый кошмой. Вся семья его: отец, мать, жена, братья и сестры – толпилась в тесном помещении, что еще более усиливало духоту. Филипп сидел на полу, ожидая, когда к умирающему вернется сознание. Тот уже несколько раз приходил в себя, но ненадолго, смотрел бессмысленно и вскоре вновь впадал в оцепенение. Вдруг он открыл глаза.

– Что? – тихо спросил он.

– Я пришел тебя исповедать, – сказал Филипп.

На лице умирающего появилось что-то похожее на усмешку.

– Опоздал ты.

– Почему? – спросил Филипп.

– Я уже был там, – сказал умирающий.

– Где?

– Там... Я ненадолго...

Филипп беспомощно оглянулся по сторонам.

– Смешно, – еле слышно сказал умирающий.

– Почему смешно? – спросил Филипп.

– Так, – сказал умирающий. – Ничего там нет нового.

– Там все, как здесь? – взволнованно спросил Филипп.

– Нет. Там другое все... Но к этому так быстро привыкаешь, что все кажется не новым, а как будто ты был там всегда.

– И что ты там делал?

– Я... шел... Я шел там... Мягко там... Нога вязнет...

– Как в болоте? – спросил Филипп, с жадностью ловя каждое слово.

– Нет, – сказал умирающий. – Чисто. Нога вязнет, а следов не остается. Я нарочно оглядывался. Прошел человек и точно не ходил.

Умиравший слабел.

– А ты чувствовал себя? – спросил, при-



близившись вплотную к его лицу, Филипп. – Ты был один?

Умиравший молчал. Местный знахарь приблизился к нему, держа тарелку с вином, в которой он намочил губку.

Филипп схватил губку и прижал ее к губам умирающего. Тот снова открыл глаза.

– Говори, – потребовал Филипп.

– Что? – тихо спросил умирающий. – Кто ты?

– Ты рассказывал мне... – нетерпеливо говорил Филипп. – Ты говорил, как был там...

– Уйди...

– А Бог? Ты видел Его?

– Нет, – сказал умирающий. – Ничего там нет. Ничего нового... Идешь – отдыхаешь, опять идешь – отдыхаешь в тени...

– В тени? – вздрогнул Филипп. – В какой тени?

– В тени. От дерева, – сказал умирающий.

– Какого дерева?

– Шелковица... Ветви ее касались каменной стены.

Филипп смотрел на него в растерянности.

– Да ты дурачишь меня, – злобно прошипел он. – Ты обманывал меня... Скажи, ты обманул меня?

Филипп вырвал губку из рук знахаря и снова прижал ее к губам умирающего:

– Прошу тебя... Это очень важно... Ты обманул меня? Да?

Умиравший молчал.

– Он умирает, – сказал знахарь.

И приблизившись к умирающему, принялся вливать ему в рот какую-то темную жидкость.

**Д**ухота была нестерпимая. И низкие тучи, и застывшие в неподвижности деревья – все настолько напряглось, что, казалось, достигло предела. Филипп вышел на дорогу. Некоторое время он шел, задумавшись и глядя в землю. Потом вдруг повернулся и бросился назад. Почти бегом он достиг двора, пересек его и снова вошел в дом. Родственники столпились у циновок.

– Мне спросить надо, – просил Филипп, словно в лихорадке, протискиваясь к цинковке, – я забыл... самое главное... забыл узнать.

– Нельзя к нему, – сказал знахарь. – Видишь!

Сын кузнеца лежал без дыхания, со спокойным лицом и закрытыми глазами.

Филипп снова вышел во двор. Тут уже все переменялось. Деревья гнулись от ветра, стало прохладнее, и наконец, точно прорвало и миновало что-то, хлынул ливень. И вдруг в потоках дождя какой-то предмет пролетел в воздухе и шлепнулся у ног Филиппа. Это была лягушка. Следом шмякнулась вторая, затем третья. Весь мокрый стоял Филипп под дождем и смотрел на падающих с неба лягушек.

**Ф**илипп шел по монастырскому коридору, неся на подносе укрытый чистой салфеткой обед. Его нагнал Иаков.

– Тебя к доктору Деккеру в услужение направили?

– Да.

– Он тебя хорошо принял?

– Хорошо, – сказал Филипп.

– Большой он... – сказал Иаков. – Покой ему нужен. Я при нем был. Только недолго. Выгнал он меня. Ты с ним не спорь.

– Меня не выгонит, – сказал Филипп.

– Ты вот что, – говорил Иаков. – Ты по утрам его не отвлекай. Вошел бочком, жареных орехов с молоком поставил и вышел... Он жареные орехи с молоком любит... Но сам не скажет, это ты догадаться должен, что и когда ему подавать.

Филипп не ответил.

**С**трашно исхудавший профессор сидел в кресле и глядел в одну точку. Филипп повязал ему на грудь клеенчатый передник и принялся кормить с ложечки. Вошел Клаф, поклонился и сел неподалеку от двери.

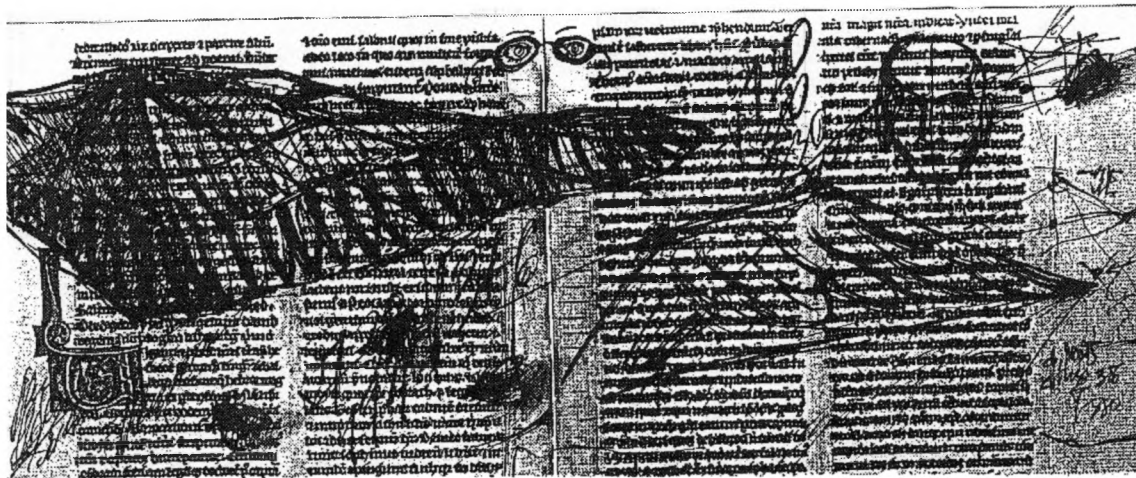
– Как вы себя чувствуете, профессор? – спросил Клаф.

Деккер промолчал.

– Напрасно вы сердитесь. Я ни в чем не виноват, – сказал Клаф. – Более того, мне пришлось затратить немало усилий, чтобы замаять этот ваш скандал. Покуситесь на самоубийство в монастыре ордена Босых Кармелитов!

Деккер по-прежнему молчал, глядя в стену. Филипп собирал на поднос грязную посуду.

– Ну хорошо, – сказал Клаф. – Вы не



хотите разговаривать со мной, вашим ассистентом, с человеком, отдавшим десять лет своей жизни вашей идее. Тогда я поговорю с вами так, как говорил бы с вами ваш противник. Человек, который берет под сомнение не только вашу идею, но и ваш образ мышления, ваше мировоззрение... Статью о вас я мог бы озаглавить так: "Идеи Ньютона и мистика ума профессора Деккера"...

– Какая чушь, – словно очнулся Деккер. – Вы явно не справились бы с ролью моего оппонента. Всем известно, что я давно не имею никакого отношения к мистике.

– Пока это известно только клерикалам, которые называют вас юродствующим материалистом... Итак, дамы и господа, – Клаф встал и прошелся по комнате, – дамы и господа, двести лет назад, примерно между 1710 и 1715-м годами теория Ньютона приобретает известность, но лишь теперь она становится в обществе модной и популярной. Однако стать модным еще не значит быть понятым. Чаще бывает как раз наоборот. Ведь для понимания чего-либо серьезного необходим достаточно высокий уровень культуры и образованности, а на этом уровне современное общество, увы, еще не находится. Вот тут-то и появляются на общественных подмостках всякого рода проповедники и популяризаторы. Некий профессор Деккер, ныне исчезнувший с общественного горизонта, лет десять назад слыл своего рода апостолом ньютонизма. Читая лекции, он высказывал мысли, почерпнутые у Ньютона, но они звучали у него как откровение и не столько про-

буждали мысли слушателей, сколько поражали их воображение, подобно ритуальным завываниям шаманов и колдунов.

Деккер сделал беспоконный жест. Мисочка с недоеденным супом опрокинулась. Филипп торопливо вытер лужицу и промокнул салфеткой лицо профессора.

– Я ведь говорю не от себя, – сказал Клаф. – Я выступаю от имени некоего третьего, нашего с вами, профессор, общего противника... Итак, дамы и господа, как известно, лекции профессора Деккера всегда сопровождалась опытами, а эта сторона у него была поставлена блестяще. Он казался магом, демонстрирующим детям волшебный фонарь.

Однако, дамы и господа, от непонимания идеи до ее вульгаризации всего один шаг, что подтверждает печальный опыт прошлого. Как мы знаем, профессор Оксфорда Жан Дезаглие пытался даже перенести механические представления Ньютона на общественную жизнь. Так, в своей работе "Ньютоновская система мира – лучший прообраз государственной власти" он утверждает, что, согласно доктрине Ньютона, только то правительство законно, которое отвечает законам природы и ее системе равновесия.

– При чем здесь я, черт вас возьми совсем? – крикнул Деккер. – Я неоднократно и публично опровергал теорию Дезаглие.

– Конечно, – ответил Клаф, входя в роль. – Конечно, нам известно, что вы открещивались от взглядов Дезаглие, профессор. И все-таки мы смеем утверждать, что между вами существует глубокое фа-

мильное родство. Экспериментальная философия Деаглие, где Бог якобы великий архитектор мира...

– Опять путаница! – крикнул Деккер. – Как раз это сильная сторона Деаглие. Бог познается не как откровение, а предстает внешнему созерцанию. Его можно будет отыскать расчетным путем. Он явится человеку как экспериментальный факт. Все наши знания о природе покоятся на фактах, ибо без наблюдения и факта наша натурфилософия – искусство слова, непонятный жаргон... Мне неприятно в Деаглие другое – попытка приспособить науку к политике... Разве не понятно, что клерикалы, приспособившие религию к целям политики, погубили веру? Религия исчерпала себя, с ней кончено... Ее не оживить... На смену религии пришла наука. И не умоглядная наука, а эксперимент есть высшее и самоочевидное доказательство бытия Божия...

– За подобные мысли клерикалы и называли вас юродствующим материалистом... Я все-таки хочу закончить разговор от третьего лица... Итак, дамы и господа, мы не берем под сомнение ни порядочность профессора Деккера, ни его талант экспериментатора. Но фетишизируя эксперимент, Деккер в теории, по сути, сошел с научной почвы. Он как бы изгоняет процесс мышления, интуицию и логику из акта познания. Внешнему опыту он приписывает такие же мистические свойства, какими наделяли внутренний опыт другие мистические и религиозные системы. Так рождается мистика ума, из которого сам ум изгнан, для которого он только вывеска.

– Хватит! – крикнул Деккер. Он был в сильном волнении. Пошатываясь он вышел на середину комнаты. – Чушь какая-то! Какая-то дикая нелепость!

– Прошу помнить, – сказал Клаф, – что я говорил от третьего лица.

– Если вы способны сочинить такое... – сказал Деккер.

– Я ничего не сочинил, – сказал Клаф и вынул из кармана газету. – Я просто изложил своими словами то, что здесь написано. Обратите внимание на заголовок – "Теория Ньютона и мистика ума профессора Деккера".

– Что это за газета? – спросил Деккер. – Кто написал?

– Неважно, – сказал Клаф. – Автор – какой-то сторонник социальных реформ... Не знаю... Я ничего не понимаю в их классификации. Важно другое... Им ненавистны ваши идеи, они стремятся к хаосу, и с каждым годом их становится все больше.

– Эксперимент лежал в основе всех великих достижений человечества, начиная с использования огня, – не слушая собеседника, заметил Деккер. – Огонь не был понят умоглядительно.

– Вы ведь знаете, – сказал Клаф. – Мы можем выбрать для опыта любого в этом монастыре.

– Да-да, конечно, вы правы, – сказал Деккер. – Я усомнился... Меня начали мучить соблазны понять общую картину происходящего... Куда все-таки идут события? И какова драма идей... Все-таки не даю я им покоя...

Он вдруг зашатался, и Филипп едва успел подхватить его.

**Ф**илипп сидел в келье о. Григориуса.

– Ты стал замкнут, – говорил старик. – Мне даже показалось, что ты избегаешь меня. Вчера, увидев меня в саду, ты свернул на соседнюю аллею.

– Я не заметил вас, – сказал Филипп. – Я теперь прислушиваю доктору Деккеру. И все время занят.

– Я поговорю с о. Мартином, чтоб он освободил тебя от этого. Он на тебя плохо влияет.

– Почему? – спросил Филипп. – Мне с ним интересно.

– О каком интересе ты говоришь?

– О том, с которым рождается каждый человек.

– Объясни мне, я не понимаю.

– Да что ж объяснять... Вот я верил вам, но вы не ответили мне ни на один вопрос, который приходил мне в голову, стоит лишь задуматься... Зачем я родился?.. Что случится со мной, когда я умру?.. И почему я должен умереть? Скажите мне, почему я должен умереть, и я не испугаюсь смерти.

– Кто тебе сказал, что ты умрешь?

– До этого я додумался сам!

– И ты можешь сказать мне, куда денется твоя душа?

– Умрет вместе со мной.

– Профессор объяснил тебе все это?

– Я с ним не говорил об этом еще ни

разу, но часто слушал его со стороны и многое понял. По крайней мере, у него все просто. Я родился по случайному стечению обстоятельств и живу, чтобы проявить себя, и умру, чтоб уступить место другим... Объясните мне, что это не так, и я пойду за вами, куда вы потребуете, и сделаю все, что прикажете.

– Объяснить это невозможно!!! – заорал о. Григориус. – Для того чтобы понять, что это не так, надо верить! Верить!

– Во что?!

– В Творца!

– Профессор тоже верит в творца, но его творец мне понятней и полезней.

– Полезней?! Ты гибнешь, Филипп, – демонстративно успокоившись, почти шепотом сказал о. Григориус. – То, во что ты хочешь верить, даже атеисты называют вульгарным материализмом брюха. Я читал недавно любопытную книгу одного атеиста. Конечно, основа в ней ложна, но в ней интересен призыв верить в идеал... Сам идеал их нелеп, но идея верна. Я хочу, чтобы ты эту книгу прочитал. Только не показывай ее о. Мартину.

– Почему? – спросил Филипп.

– Она запрещена церковью, – ответил о. Григориус.

– Филипп вдруг захохотал.

– Вот вы, отец, истинно в Бога не верите.

– Бог в сердце, а не в церкви! – воскликнул о. Григориус. – Церковь сложена руками человека.

– В Бога верят люди, а не ангелы, – сказал Филипп. – Я человек, и я верю в человеческого бога. А тот Бог, в которого верите вы, людям не нужен. Он им не приносит пользы...

– Нет, именно он-то и нужен! Тот, который не приносит материальной пользы, но которым движется душа!.. Филипп! Тщеславие не столько удовлетворяет, сколько распаляет!.. Ты никогда не будешь счастлив!

– Вы хотите создать какое-то несбыточное счастье для всех, – сказал Филипп, – но ведь каждый рожден для своего счастья... Конечно, не всякий способен его найти. Но я чувствую в себе силы. Я верю в себя. Я не хочу больше мучить себя! – чуть не крикнул он.

– Я буду бороться за твою душу, – сказал о. Григориус.

– Я попрошу настоятеля назначить мне другого духовника, – сухо сказал Филипп и вышел из кельи.

**Б**ыло прохладно, и пряно пахло вечерними цветами. Деккер и Филипп сидели на скамейке. Над садом мерцали звезды.

– Каждый наш шаг, каждая былинка, каждое дуновение ветра – это Бог, – говорил Филипп, – этим я жил много лет.

– Верно, – говорил Деккер. – От мира к Богу и от Бога к миру... Это верно... Мысль наша движется по кругу...

– Что? – переспросил Филипп, морща лоб.

– Ты сказал: “Все, что вокруг нас – Бог”. Скажи мне, что дает эта правда именно тебе?

– Ничего, – сказал Филипп.

– Ошибаешься, – сказал Деккер. – Она не дает тебе ничего, кроме разочарований... Священники говорят: “Бог всюду, он существует во всем”. И в то же время, если оглянуться вокруг, то нечестивцы благоденствуют, благочестивые бедствуют, вера в само милосердие во Вселенной утверждается огнем и мечом, кровь безвинных льется рекой, мороз побивает еще не успевшие распуститься цветы, зной испепеляет урожай и обрекает на голод честных людей... Здесь был тупик, пока властвовала религия... Но ныне она уже теряет власть над нами... Религия придумала Бога, наука его познает... Их Бог давно уже создан, наш лишь рождается.

– Значит, его еще нет? – сказал Филипп.

– Его пока нет для нас, также как не было для нас далеких планет и созвездий, пока не изобрели телескопы... Они верят, мы находим... Не в книгах ищи Бога, а в природе... В камнях, в тварях, даже в стихии... в себе. Один бывший мой друг, увлекшийся впоследствии материализмом, как-то, когда я впервые изложил ему эту мысль (это было давно)... Так вот, когда я впервые сказал ему о поисках Бога расчетным математическим путем, ответил мне: “Люди, подобные тебе, ищут пути в небе по той простой причине, что сбились с дороги на земле...” Нет, милый мой, человек не сбился с дороги, он просто широко распространился по земле и воде... Ему тесно. Но небо еще свободно.

– Сделайте из меня летающего человека, – вдруг просительно сказал Филипп. – Вам ведь все равно, кто это будет?

Некоторое время Деккер пристально разглядывал Филиппа, точно видел его впервые.

– Нет, не все равно, – сказал, помолчав, Деккер. – В тебе много неудовлетворенности. Но неудовлетворенности смутной, чисто эмоциональной, без понимания сути.

– Но я хочу понять, научите меня, – сказал Филипп и, опустившись на колени, припал к руке профессора Деккера, точно так же, как ранее припадал к руке о. Григориуса.

**В** соборе было пусто, служба давно кончилась. Служители гасили свечи, мыли пол. О. Мартин и о. Григориус разговаривали шепотом, как и полагается в храме, хотя разговор этот был, скорее, похож на ссору.

– Он соблазнил его, – шепотом говорил о. Григориус, – этот фальшивомонетчик...

– Вы ведь неглупый человек, – отвечал настоятель, досадливо морщась. – А сейчас, извините меня, говорите пошлости. Доктор Деккер ученый. Наука не может быть врагом религии, она официально признана церковью.

– Это ошибка! – невольно повысил голос о. Григориус.

– Тише! – сказал настоятель.

– Это ошибка, – шепотом повторил о. Григориус. – Только через Бога человек может познать природу. Познание через науку ведет к страданию и ненависти.

– Наука, так же как земледелие, скотоводство или промышленность, есть практическая форма деятельности человека, которая ниспослана свыше. Вам не кажется, что вы, возвеличивая, выделяя науку, тем самым сами делаете ее духовным врагом религии?.. Религия выше познания.

– Вы слепы! – вскричал о. Григориус. – Вы слепы. – тихо повторил он, поймав строгий взгляд о. Мартина, – вы слепы, ибо думаете, что борьба между наукой и религией разворачивается на поприще познания... Пример с Филиппом, с этим многообещающим юношей, лишний раз доказывает, что поприще, где разворачивается

борьба между наукой и религией, есть не познание, а нравственность... Если религия отдаст науке свободу познания, то она тем самым позволит науке алчно жить одним лишь познанием, не соизмеряя его с христианской моралью.

– Что же вы предлагаете? – спросил о. Мартин. – Повернуть время вспять?.. Вернуться к средневековью?.. Кострам? Возродить инквизицию, передать доктора Деккера этой инквизиции?.. Сжечь его?

– Нет, конечно, – грустно вздохнув, сказал о. Григориус. – Нельзя безнравственными средствами защищать христианскую мораль.

– А другого пути нет... Надо либо жечь, либо сотрудничать. Или вы знаете третий путь?

– Знаю. Церковь ожирела, – сказал о. Григориус. – Церковь должна отказаться от власти, церковь развращена ею... Пусть уж лучше властвует наука... Мы должны уйти!..

– Тише, – сказал настоятель, оглядываясь на служителей, занятых уборкой.

– Церковь должна стать не властелином, а нищим! – крикнул, уже не владея собой, о. Григориус. – С посохом в руках!

Настоятель торопливо вышел во двор. О. Григориус последовал за ним.

– У вас есть авторитет, – лихорадочно продолжал о. Григориус. – Вас уважают и духовные, и светские власти. Я написал новый трактат. Подпишите его вместе со мной! Мы должны разойтись по земле. Раствориться! Жить среди простого народа, вместе с ним страдать и голодать, как страдал и голодал нищий Иисус. Только так мы сможем противостоять алчному натиску науки и материализма.

– Вы сумасшедший, – резко сказал о. Мартин. – У вас навязчивая идея. И опасна она не столько для Бога, сколько для людей... Хотя и для веры она также достаточно опасна... Хотите вы этого или не хотите, ваша идея прокладывает дорогу атеизму...

– Вы меня никогда не поймете, – сказал о. Григориус. – Да я, собственно, совсем о другом начал... Я говорил о Филиппе. Он зачерствеет, будет страдать и нести страдания другим... Если уж нельзя запретить эту безумную идею раз и навсегда, то пусть хотя бы это будет не Филипп...

Я вложил в него слишком много души.

– Вы скорбите о своей душе?

– Не о своей, а Филиппа.

– Раз я обещал им Филиппа, – резко и враждебно сказал о. Мартин, – значит будет Филипп. Чем он лучше других?!

**Б**ледный, осунувшийся, с забинтованной головой, Филипп вышел из комнаты Деккера. Голова его была наголо обрита, лицо в желтых пятнах какого-то лекарства.

– Ну вот, – говорил Клаф. – Как ты себя чувствуешь?

– Голова кружится.

– Старайся не делать резких движений, – сказал Клаф.

– Иаков! – позвал Деккер.

Торопливо вошел Иаков, преданно глядя на профессора.

– Проводишь Филиппа в его келью, – сказал Деккер.

– На обратном пути ужин принесу, – сказал Иаков

– Только чай, – сказал Деккер

– Рыба сегодня хорошая, – сказал Иаков. – Я узнавал.

– Только чай, – раздраженно повторил Деккер.

– Мне принеси рыбу, – улыбнувшись сказал Клаф.

– Не хотите рыбу, доктор, я пирожков достану к чаю, хорошие пирожки, с мясом.

Из окна было видно, как Иаков осторожно ведет Филиппа по каменным плитам двора.

**Д**ень был солнечный, но внутри башни было сумрачно. Филипп шел впереди между Деккером и Клафом. Чуть позади шли настоятель и о. Григориус. Замыкал шестые Иаков. Винтовая лестница становилась все круче. Потянулись металлические решетки, стало прохладнее, и, наконец, все увидели впереди яркий свет. Ветер, совершенно отсутствующий внизу, здесь, на площадке, венчающей башню, дул сильно и был холоден. Было тихо. Только посвистывал ветер в трещинах стен.

– Пойдем, – сказал Клаф.

Он взял Филиппа за руку и подвел к краю башни. Ветер усилился. Он рвал полы ряссы, трепал волосы.

– Прыгай, – безмятежно сказал Клаф.

У Филиппа вдруг ослабли колени.

– Прыгай! – снова повторил Клаф. – вспомни, чего ты можешь достигнуть, поднявшись в небо.

– Филипп! – крикнул вдруг о. Григориус. – Ответь ему! Вспомни – не искушай Господа Бога своего!

– Уберите, наконец, этого талмудиста! – крикнул Клаф.

Подошел настоятель, взял за руку о. Григориуса и увел его в противоположный конец площадки.

– Вы тоже уйдите, – сказал Деккер Клафу. – Отойдите в сторону...

– Мне страшно, – сказал Филипп. – Я не гожусь для этого.

– Ты усомнился, – сказал Деккер. – Преодолей себя.

– Я постараюсь, – сказал Филипп, – постараюсь... Я слишком долго ждал... Только пусть никто не смотрит. И вы тоже.

Филипп говорил как в лихорадке.

– Хорошо, – сказал Деккер – Только ты верь. Верь – и полетишь.

Он поцеловал Филиппа в лоб и отошел.

Посвистывал ветер. О. Григориус, опустившись на колени, молился.

Филипп остался один. Он заставил себя подойти к самому краю башни и посмотрел вниз.

Прекрасная земля расстилалась перед ним. Сухие краски выжженных солнцем песков сменялись буйным серебром оливковых рощ и синевои цветущих долин. Горизонт был закрыт красноватыми горами, но справа, где горная гряда шла на убыль, светился голубизной. Там было море. Болезненное сладкое чувство, пугающее и манящее, овладело Филиппом, голова его пошла кругом, ноги ослабели, он пошатнулся и, потеряв равновесие, упал вниз. И разом все исчезло. Остался лишь безликий животный ужас падения... Это было так страшно, что Филипп не выдержал и закричал. Крик его услышали наверху, и все, толкая друг друга, бросились к краю башни.

Филипп с искаженным от страха лицом камнем падал вниз, он падал, как ему казалось, очень долго, закрыв глаза и каждое мгновение ожидая удара о камни. Но удара все не было. Тогда, преодолевая смертельный страх, он открыл глаза и увидел чистое голубое небо. А внизу – далекую спокойную землю. Ветер дул по-преж-





нему, но это был уже иной ветер. Это был светлый ветер, от которого легко дышалось. Наверху, на башне, все также ощутили его. Только о. Григориус, закрыв глаза, по-прежнему стоял на коленях.

Филипп летел.

Он понял это, и оставшиеся на башне тоже это поняли. Он легко и плавно скользил вниз, к земле, которая мягко приближалась, будто всплывала навстречу. И незнакомая, новая радость овладела Филиппом. Слезы полились из его глаз. По-новому ощутив свое тело, он перевернулся в воздухе и увидел удаляющуюся башню и крошечные, подобные муравьям, фигурки у края ее стены.

Наконец, он коснулся земли на вершине зеленеющего холма, пролетел над ним еще немного и осторожно опустил лицо в траву.

В роще неподалеку пели птицы. Долго он лежал так, непонимающий и потрясенный.

Первым верхом прискакал Иаков, но не решился подойти, а только соскочил с лошади и остановился поодаль... Потом Филипп увидел остальных. Они бежали к нему. Среди них он узнал Деккера. Профессор был всклокочен, и рот его был открыт, словно испуганный крик застрял у него в горле. Он добежал первым и задыхаясь упал на траву рядом с Филиппом.

Филипп подполз к нему и положил голову профессору на грудь.

**О.** Григориус сидел в своей келье и крошил хлеб в чашку с молоком. Вошел Филипп.

– Вы меня звали? – спросил он.

– Да. Хочешь молока?

– Спасибо, я сыт.

О. Григориус проглотил две-три ложки и отодвинул чашку в сторону.

– Я уйду из монастыря...

Филипп молчал.

– Пойдем со мной... Я к людям иду, – сказал о. Григориус. – Живое слово им понесу, которое церковь извратила.

– Не поймут вас, – сказал Филипп. – Смеяться станут.

О. Григориус посмотрел на Филиппа.

– Ты так говорить стал, точно все уже понял... И суть жизни, и пути ее...

– Вовсе понимать жизнь не надо да и объяснять тоже, – сказал Филипп.

– Да? А что же надо?..

– Жить надо... И постараться задавать меньше вопросов.

– Как животное? – сдерживая гнев, сказал о. Григориус.

– Жизнь разумна сама по себе, – сказал Филипп, – неразумно то, что сверх нее придумывается... Вы своего бога выдумали, а я своего ишу...

– У тебя уже и бог другой?

– Да, – сказал Филипп.

– Какой же это?

– Тот, которого я вижу.

– А в себе ты его не чувствуешь?

– Если я не найду его в себе, тогда его нет вовсе, – сказал Филипп...

– А сейчас-то что есть? – сказал о. Григориус. – Абсолютная свобода?.. Абсолютное бытие?.. Слепой случай, который играет человеком, как пылинкой?..

– Нет, – сказал Филипп, – власть человека над жизнью зависит от его воли и способности проявить себя...

– Не свои слова ты говоришь, – сказал о. Григориус.

– Может быть, – сказал Филипп, – но они мне нравятся...

– Жаль мне тебя, – сказал о. Григориус, – хоть и страшен ты, как бесноватый... У тебя отняли человеческий облик, сделали уродом. Как бы о двух головах... А ты радуешься и гордишься даже...

– Вы не знаете, что это такое... Видеть землю сверху, с высоты... Вам никогда не понять этого.

– Грех всегда сладок, – сказал о. Григориус.

– А почему то, что сладко для человека, вы называете грехом?..

– Ты начал жить плотью. Вот почему ты занялся поиском Бога... Бога не надо искать. В него надо либо верить, либо не верить. Ты не веришь. Уже давно не веришь, еще с тех пор, когда начал вычитывать из книг чужие откровения и приписывать их себе. Ты прав. Твое место здесь, ибо монастырь этот из прибежища слабых стал местом духовного разврата, – сказал о. Григориус.

– Почему же? Я тоже уйду, – сказал Филипп. – Только вы пойдете по земле, я поднимусь в небо. Вы не поверили, что Иисус приходил ко мне, не поверили искренности моей исповеди и первый зародили во мне сомнение... Вы не поверили, что небо опустилось ко мне. Но вынуждены были поверить, что я поднялся в небо...

– Прощай, – сказал о. Григориус.

– Прощайте.

Филипп вышел и пошел через двор к себе в келью. Неподалеку от пристройки, где он жил, сидел на скамеечке Иаков.

– Я давно тебя жду, – сказал он. – Доктор хочет тебя видеть. Он болен.

– Попозже, – сказал Филипп поморщившись. – Я сам приду.

– Они просили, как увижу, сразу привести.

Профессор Деккер полулежал, обложенный подушками, однако, несмотря на

болезненное выражение лица, был весел и возбужден. Клаф, наоборот, выглядел мрачным.

– Вот и он, – сказал профессор, увидев Филиппа, и порывисто схватил его за руку. – Садись... Я соскучился по тебе... Десять лет нашего труда сидят перед нами в его облике, – повернулся к Клафу.

– Я хочу прочесть тебе одно письмо... – снова обратился Деккер к юноше. – Тебе будет интересно...

– Вряд ли он что-нибудь поймет в этом письме, – сказал Клаф.

– Я постараюсь, – сказал Филипп.

– Вы никак не хотите понять, что перед вами сидит совсем другая личность, – сказал Деккер.

– Вы устали, – сказал Клаф. – Вам надо отдохнуть.

– Нет-нет, читайте, – сказал Деккер. – Я чувствую себя хорошо...

– "Дорогой Герберт, – прочел Клаф. – Я чрезвычайно рад после девяти лет молчания получить от тебя письмо и узнать, наконец, куда ты исчез..."

– Мы были друзьями, – перебил Деккер. – Он тоже одно время увлекался химией, как и я. Это потом я переключился на биофизику, а он вообще – на социологию... Впрочем, читайте, Клаф...

– "Я всегда очень жалел, что ты, обладая столь очевидным талантом, увлекся тем, чего от тебя совершенно не ждали, и дал возможность всякого рода посредственностям от науки травить тебя, что в свою очередь тебя озлобило и окончательно сбilo с пути. Поэтому, получив от тебя письмо, я надеялся, что ты, наконец, понял свою ошибку..."

– Тут пропустите, – перебил Деккер. – Далее идет всякая белиберда... Я, собственно, написал ему в момент нервного ощущения удачи, когда весь мир казался мне прекрасным... А до того мы с ним сильно повздорили и вообще разошлись навсегда... Он иностранец, эмигрант. Он русский. Ему не понять наших проблем.

– Так, может, не стоит и читать дальше, – сказал Клаф.

– Нет, – сказал Деккер. – Место о богоискательстве прочтите, там, где он меня отчитывает. Мне это даже приятно послушать сейчас, когда я держу за руку свою, обретшую живую плоть, идею. Может ли

он или кто-либо иной похвастаться этим? Ты, Филипп, тоже слушай, тебе это тоже должно быть интересно.

– "Я не хотел бы строго судить тебя за твои философские выкладки, которыми ты затуманиваешь свои научные идеи, – прочел Клаф. – Люди, трудами которых создавались элементы механического мирозерцания, естествоиспытатели, бывают весьма часто совершенно беззаботны и даже безответственны в философии... Но примечательно то, что твое богоискательство, как и иные религиозные искания вообще, а нашего времени в особенности, вращаются вокруг личного бессмертия. Еще Гегель заметил, что в античном мире вопрос о загробной жизни приобрел чрезвычайное значение тогда, когда с упадком древнего города-государства разрушились все общественные связи и человек оказался нравственно изолированным. Нечто подобное мы видим и теперь. Дошедший до крайности буржуазный индивидуализм приводит к тому, что человек упирается в вопрос о своем личном бессмертии, как в главный вопрос бытия... Твое же богоискательство говорит не только о нравственном тупике в нынешних общественных отношениях, но и о глубоком внутреннем конфликте религии... конфликте, из которого нет выхода..."

– Хватит, хватит, – замахал руками Деккер. – Это уже полезла социология. Ты понимаешь, о чем тут, Филипп?

– Не совсем...

– Ну хорошо, я объясню, – улыбнулся Деккер. – Есть ли для тебя что-то более ценное, чем твоя собственная жизнь?

– Нет, – сказал Филипп. – Ничего более ценного нет.

– Ну вот видите, Клаф, он все понял.  
– Я, пожалуй, пойду, – сказал Филипп.  
– Посиди немного, – попросил профессор, не отпуская его руки.

– Я навещу вас завтра, – сказал Филипп, чуть ли не силой освободил свою руку и вышел.

– Я люблю его, как убежденный эгоист может любить только самого себя.

– Напрасно, – сказал Клаф. – Надо понимать и принимать жертвенную роль подопытного субъекта в науке...

– Боже, какой вы циник, – сказал Деккер недовольно, – а если подопытным объектом науки станет человечество?..

– Тогда наступит то, о чем мы с вами недавно говорили... Конец века... Но я все-таки оптимист и надеюсь, что для этого у науки не хватит ни ума, ни таланта...

В своей келье о. Григориус собирался в путь. Он облачился в поношенную рясу, положил в котомку пару белья, несколько лепешек, Библию, взял в руки посох и вышел... Вскоре он шел уже во тьме, осязая землю посохом, и монастырь, освещенный выкатившейся из-за тучи луной, остался позади, за спиной бывшего о. Григориуса, ныне нищенствующего монаха.

**А** Филипп летел высоко в небе. Земля напоминала о себе лишь изредка мелькавшим далеко внизу огоньком.

Филипп был весь без остатка погружен в бесконечную тишину, парящую над спящей землей. Он летел бесшумно, как ночная птица, и единственное чувство, которое владело им сейчас, было ощущение восторга и счастья, которое утвердило право владения собственной исключительностью.



## Часть вторая

Утро уже было в разгаре и солнце поднялось высоко, но еще клубился туман над полувысохшей речушкой, и земля в тени была прохладной. По небольшому дворику разгуливали индюшки, на веревках сушилось белье. За столом, накрытым под деревом для завтрака, сидели женщина лет сорока и молодая, очень красивая девушка.

– Самуэль! – крикнула женщина, поморщившись. – Долго ты? Все уже остыло.

Из дома торопливо вышел глава семьи – кругленький человек в сюртуке.

– Я просматривал газеты, – сказал он, – прости, пожалуйста... – и он наклонился с намерением поцеловать жену.

– Прошу тебя, – сказала она отодвигаясь, – не кури ты эти страшные сигары.

– Да-да – у меня самого от них першит в глотке, – сказал он, усаживаясь и придвигая к себе тарелку с овсянкой.

– Ешь, – сказала жена. – Ешь, уже все остыло.

На некоторое время за столом воцарилась тишина. Жена и дочь принялись за сладкий пирог. Хозяин задумчиво пил кофе, закусывая его бутербродом, и глядел на дорогу, тянущуюся вдоль реки. Вдали, на холме виднелся окруженный зеленью монастырь.

На дороге показалась какая-то фигура в монашеской одежде. Самуэль держал в руках недопитую чашку кофе, с интересом следил за тем, как она приближалась.

Это был Филипп.

– Это, наверное, по поводу монастырской почты, – сказала хозяйка мужу. – Вы из монастыря? – окликнула она монаха.

Филипп неопределенно покачал головой.

– Входите, пожалуйста, – предложила хозяйка. – Позавтракайте с нами.

Филипп молча подошел и с поклоном присел к столу.

– Петр, – окликнула она слугу. – Принеси прибор для гостя... Мне кажется, –



обернулась она опять к Филиппу, – что странствующие монахи иначе, чем другие, любят Бога, – хозяйка передала ему чашку кофе. – Они относятся к нему, как влюбленные, и это в наше время, когда все чувства обесценены. Сейчас не умеют по-настоящему любить даже женщину...

Пока она говорила, Филипп несколько раз встречался глазами с ее дочерью. Она была так красива, что он, поняв это, старался не глядеть на нее.

– Вы верите в Страшный Суд? – спросила хозяйка.

– Конечно, – почти машинально ответил Филипп, глядя в тарелку.

– Значит, вы верите в неизбежность греха? Ибо без греха Страшный Суд невозможен.

– Да-да, конечно, – сказал Филипп.

– Вы знаете, – продолжала хозяйка, – здесь совершенно не с кем поговорить о том, что выходит за рамки кухни и сплелен. Я не надоела вам?

– Нет-нет, – сказал Филипп.

– Простите мою наивность, – сказала она. – Если в мире неизбежен грех, а в конце мира – Страшный Суд, то что же тогда Бог?

Филипп посмотрел на хозяйку.

– Загадка, – ответил он. – Бог – это загадка...

– Верно! – вскричал вдруг глава дома, молчавший до этого и лишь слушавший с напряженным лицом.

Его супруга была шокирована ответом Филиппа и выглядела растерянной. Хозяин же ожил.

– И даже не мировая загадка, – сказал он, – не всеобщая, а та, которую каждый человек задает сам себе, когда ему становится неважно либо когда ему просто делать нечего... Я читал об этом в "Натурвисеншафт"... Интересная статья... Очень метко замечено. – Он засмеялся. – Каж-

дый решает эту загадку для себя по-своему... Повеzet – значит решит, не повеzet – не решит...

– Что с тобой? – раздраженно и удивленно спросила его жена. – Что ты такое говоришь?

– Пожалуй, я... – сказал ее супруг, вставая из-за стола. – Петр, – позвал он слугу, – пойдй скажи, что почта сегодня будет закрыта. Скажи, что я занят, у меня гость...

Филипп тоже встал из-за стола, хозяин взял его под руку, они пересекли двор и скрылись за сараем.

– Что это с отцом делается? – удивилась хозяйка. – Этот монах меня чем-то пугает.

Она отрезала еще кусок пирога.

– Ты обратила внимание, он встал из-за стола и не поблагодарил... И на тебя он смотрел нехорошо.

– Ах, оставь, ей-богу, – сказала дочь. – Он вообще не обратил на меня никакого внимания.

– Пойди посмотри, что они там делают за сараем, – резко сказала мать. – Они что, давно знакомы?

Дочь встала и пошла к сараю. За сараем отец и монах о чем-то возбужденно шептались. Хозяин даже как-то по-детски, по-петушиному подпрыгнул и потер руки. Но тут же оглянулся и заметил дочь.

– Уйди, – сказал он. – Слышишь? Я кому говорю?

Девушка пожала плечами, рассмеялась и ушла.

– Я... – начал Филипп.

– Тише! – шепотом крикнул Самуэль. – Тут все обдумать надо... Тут хитрость нужна, подготовка, тут дипломатия нужна, чтоб великое дело не погубить...

– **Я** показать вам хочу, – сказал Филипп.

– Не надо, – сказал Самуэль. – Я верю. И к тому же еще рано... Опасно преждевременно раскрывать. Лишь тогда действие осмысленно, когда оно своевременно.

– Я осторожно, – сказал Филипп и оторвался от земли.

Он медленно поднялся в воздух к крыше сарая и так же медленно и плавно опустился на землю.

– Великое свершится, – сказал Самуэль со слезами на глазах. – Свершится, но здесь требуется точный расчет. Свершится впервые в мире...

**О**. Григориус, щаркая ногами по пыли, брел по раскаленной дороге. Ряса его была обтрепана, он выглядел больным и усталым.

На солнцепеке, среди сухих колосьев пшеницы работали темные лица крестьяне. О. Григориус подошел к ним и поздоровался.

– Послушайте, что я скажу вам... – сказал он. – В тяжелом труде своем вы сами часто не понимаете, кто вы, зачем живете и какво значение вашей жизни... Не в буре, привлекающей к себе внимание, а в

скромном, тихом дуновении

ветерка святой Ильи увидел Бога... Вы, как тот ветерок... Ведь ученики Иисуса были такие же, как и вы, – не богатые, не ученые, не известные никому до поры люди.

– Нашел время, – сказал старик, вытирая пот.

– Чем языком работать, – отозвался молодой парень, с неприязнью глядя на о. Григориуса, – помог бы нам лучше... А то ходишь себе, где попьешь, где перекусишь...

– Мы целый день неба не видим, – отозвался третий весело. – Все земле кланяемся... а в церковь ходим, – добавил он добродушно.

– Вот в церкви-то и обман! – сказал о. Григориус. – Там Бога нет...

– Шел бы ты своей дорогой, – сказал старик.

– Нет, зачем же, – отозвался молодой парень. – Пусть с нами поклоняется... Может, здесь найдет.

Вокруг устало засмеялись. О. Григориус снял с себя котомку, положил посох, стянул рясу и остался в одной рубахе.



Крестьяне смотрели на него с недоверием.

– Давай-давай, – сказал молодой парень и сунул ему в руки серп. О. Григориус наклонился и пошел вместе со всеми, подсекая колосья.

Пот заливал ему глаза, стекал по бороде, за шею. Рубаха его потемнела, он хрипло, тяжело дышал.

Солнце перевалило через зенит, когда крестьяне прекратили работу, чтоб перекусить. В тени на траве они расстелили кошму.

– Садись, поешь с нами, – сказал старик.

О. Григориус как в тумане вытер краем рубахи лицо и шатаясь подошел к старику. Крестьяне ели хлеб, оливки и лук. О. Григориус взял кусок хлеба и сказал:

– Вот где начало истинного братства... В хлебе совместном... Ни церкви, ни университеты, ни книги... Только трудом и любовью... Каждый должен понять свое значение...

– Ты ешь, – сказал молодой парень. – Устал, наверное...

– Единение людей, – вяло говорил о. Григориус, – не миф это, а правда... правда... – Голова его склонилась на грудь. Хлеб выпал из рук.

– Где котомка-то его? Пойди принеси, – сказал старик молодому парню.

Они положили свалившемуся в тяжелом сне о. Григориусу под голову его мешок, а сами вновь пошли в поле работать.

**П**розрачные тени лежали на траве, в ветвях деревьев пели птицы. Филипп сидел, сосредоточенно обхватив руками колени. Самуэль же, наоборот, возбужденно ходил по поляне.

– Ты должен понять наконец, – говорил он, – что, обладая таким даром, можно перевернуть весь мир... Первый человек, поднявшийся в небо... Знаешь, как только ты подошел к изгороди и посмотрел на меня, я сразу понял – это судьба...

– Прежде всего надо понять, чего мы

хотим, – сказал Филипп. – Я вот думаю, думаю...

– Ты не можешь понять собственной силы... – Самуэль засмеялся. – Собственного призвания... Ведь стоит тебе подняться в небо...

– Так, – сказал Филипп, – я поднимаюсь в небо...

– Люди... увидят тебя...

– Видят... Так... Ну, а дальше?..

– Удивительный ты человек... – горячо говорил Самуэль, – не понимать своей миссии; когда...

– Ну хорошо, давай по порядку, – перебил Филипп, – я поднимаюсь в небо... Меня видят...

Дальше?

– Дальше – восторг... Всеобщий восторг...

– Или страх... Испуг...

– Пусть! – твердо сказал Самуэль. – Пусть на первом этапе страх... Страх ведь тоже достаточно сильное чувство... Важно правильно им воспользоваться... Если использовать его в нечестных целях...  
– Нет, подожди, – сказал Филипп. – А чего мы хотим? Я ведь тоже вначале думал, что все просто... Стоит лишь подняться в небо... Но когда я подумал о цели... Еще до того, как я встретил тебя...

– Но ты же сбиваешь меня! – раздраженно сказал Самуэль. – Ты не даешь мне закончить мысль... цель ясна и понятна...

– Какая?! Объясни!..

Самуэль в запальчивости вытащил из кармана сигару, закурил. Прошелся по поляне.

– Конечно, – сказал Самуэль, – если бы мы хотели грабить банки или вообще идти подобным путем, используя твой удивительный дар, то все было бы просто... Все понятно... Но как честные люди, обладающие этим великим...

– Подожди, ты запутался, – сказал Филипп, – ты только что говорил, что цель ясна и понятна...

– Цель жизни ясна и понятна каждому порядочному образованному человеку, –



раздраженно и назидательно сказал Самуэль, – это всеобщее добро... Важны пути к этому добру...

– Ну хорошо, – сказал Филипп, – начнем сначала... Я поднимаюсь в воздух...

– Как ты узко мыслишь, – с упреком сказал Самуэль. – Мир потрясен!.. Испуган непонятным явлением!.. Впрочем, вспоминаю... Я уже видел подобное... В детстве... У нас в доме был альбом гравюр с картин Возрождения... Там была одна чудесная картина... Летящий святой... восторг народа... Меня самого охватил восторг, когда я смотрел. Потом я случайно залил ее чернилами...

Самуэль остановился возле куста и, обернувшись, коснулся платком глаз.

– Моя маменька любила меня, но моего отчима она любила еще сильнее... Он был моложе ее, красив, белокур... Он отравил мне детство... Маменька так любила его, что наказывала меня часто только затем, чтобы угодить ему... Она больно секла меня до крови и плакала при этом... Впрочем, мы отвлеклись... Значит, на чем мы...

– Я поднимаюсь в воздух, – мрачно сказал Филипп...

– Да... ты поднимаешься... Хотя постой... Не надо мыслить шаблонами. И в политике, и в дипломатии успех всегда принесят неожиданные решения... Допустим, все наоборот... Ты не поднимаешься в воздух...

– То есть как?

– А так... Просто ты ходишь по земле...

– Ну... А дальше?

– Дальше – распространяются слухи, что ты умеешь летать...

– Какие слухи? Кто их распространяет?

– Я...

– Погоди. Тебя просто побьют или будут над тобой смеяться... Но если даже не побьют... Что из этого?.. Чего мы достигнем?

– Люди станут приходить к тебе, – сказал Самуэль...

– Зачем?

– Чтоб узнать твои мысли...

– Какие мысли?..

– О всеобщем добре, о...

– Не говори глупостей, – сказал Филипп...

– Да, тут ты прав, – согласился Самуэль.

эль. – То, что ты просто ходишь по земле, неверно... Надо летать... Как же иначе?.. Обладать такой сверхъестественной возможностью...

– Но ведь мы думали...

– Подожди, не перебивай меня, – огрызнулся Самуэль.

Оба замолчали. Стемнело. Филипп лег у костра, спасаясь от moskitov. Самуэль же курил сигару, ходил и думал. Филипп не спал, но лежал неподвижно, притворяясь спящим. Самуэль же осторожно приблизился к нему, наклонился. Потом так же бесшумно отошел и скрылся в кустах.

**З**везды поблекли, позеленел воздух.

Где-то далеко прокричали петухи. Самуэль, нагруженный какими-то узлами, вошел в рощу, когда уже проснулись птицы. Трава была в густой росе. Филипп лежал у потухшего костра, забывшись в крепком предутреннем сне. Самуэль положил узлы на землю и тронул Филиппа за плечо.

– Я придумал, – радостным шепотом сообщил Самуэль, хотя вокруг никого не было и никто их не слышал.

– Что? – тоже зашептал Филипп спросонья.

– Я придумал, – повторил Самуэль, – надо явиться людям... Как изображено в литографии. Задрапироваться и явиться...

– Что это? Занавески... какие-то...

– Неважно, – сказал Самуэль, – на людей надо произвести впечатление, чтобы объединить их во имя добра... Ты явишься им... Поднимешься в воздух, я приду, рассею их страх и объясню все, что надо... Они поверят мне перед лицом чуда, которое возможно только во сне или в видениях святых... Они поверят, ты вспашешь, а я буду сеять... Так мы и пойдем по миру, творя великое...

– Где ты взял это? – спросил Филипп.

– Ты все еще сомневаешься в моем плане?..

– Нет, может быть, ты и прав... Во всяком случае, другого нет... Где ты взял эти занавески?.. Ты не...

– Как ты мог подумать?.. Я был дома... Возьми, поешь... Я тут кое-что принес...

**Г**ригориус снова шел по дороге. Это была мощенная камнем дорога, и вела она к низкому каменному забору, где перед



воротами красовалась полосатая будка и стояли двое часовых... Из ворот выехали несколько вооруженных всадников. За забором был расположен колониальный военный пост.

О. Григориус подошел к воротам и остановился.

– Тебе чего? – спросил часовой. – Проходи.

О. Григориус продолжал стоять и смотреть.

– Он голоден, – сказал другой часовой. – Пусть идет к офицерской столовой. Там его накормят.

– Влетит нам, – сказал первый часовой.

– Проходи! – отозвался второй. – Вон к тому дому иди... Только по двору не шлейся...

Неподалеку от входа, у коновязей солдаты чистили лошадей. Увидев нищего странствующего монаха, они уставились на него с веселым любопытством.

О. Григориус сильно похудел за время странствий, глаза его воспалились, и одежда, порванная во многих местах, делала его похожим на обыкновенного нищего. Он подошел к дому, откуда пахло едой, и остановился. Спина к нему, у окна сидел рыжеволосый офицер и курил сигару. Обернувшись, чтоб стряхнуть пепел, он увидел о. Григориуса и некоторое время с любопытством разглядывал его.

– Ты что, сбежал из монастыря? – спросил он.

– Нет, – сказал о. Григориус, – я сам ушел.

– А зачем же ты ушел? – спросил другой офицер, усатый и длинный. – Тебе там плохо было?

– Плохо, – сказал о. Григориус.

– Чем же плохо? – любопытствовал усатый. – Кормят там хорошо. Поят...

– Не хлебом единым жив человек, – сказал о. Григориус.

– Верно, – сказал усатый, – кроме хлеба нужны еще девки... С этим там туго...

Солдаты, собравшиеся вокруг о. Григориуса, заржали.

– Оставьте, – вдруг раздраженно сказал рыжеволосый усатому. Он пошел к столу, взял два куска хлеба, положил между ними ломоть мяса и, перегнувшись из окна, подал еду о. Григориусу. Тот поклонился.

– Чем же все-таки тебе в монастыре плохо было?... Объясни...

– Неправда там, – сказал о. Григориус, – Бога там продали... В церкви Бога давно уж нет...

– Иди, старик, – сказал рыжеволосый, – да придержи язык... а то как бы под замок не посадили...

– А я не боюсь, – сказал о. Григориус, – чего мне бояться, если правда со мной?

– Какая правда с тобой? – спросил усатый.

– А такая, что вокруг нищета да труд до изнеможения... Народ угнетен деспотизмом, насилием, суевериями... А вы с

ружьями и саблями находитесь здесь, чтобы защищать этот антихристианский порядок вещей... Да вы и сами знаете, что сюда принесли и что отсюда берете...

– Так вот ты кто! – сказал усатый. – Ты

обыкновенный бун-

товщик.

– Нет, – сказал о. Григориус, – бунт – то же насилие и кровь... Средство против насилия просто, настолько просто, что должно первым делом прийти в людские головы... Именно не участвовать в насилии, которое мы отрицаем... Если бы люди поняли, что добро, а не зло принесет им настоящую выгоду, если б угнетатели поняли, что насилие в конце концов принесет им беду, а угнетенные поняли, что злоба и ненависть принесут им так же беду... Если бы все поняли... Вот в чем трудность... Важно, чтоб поняли все...



– Понятно, – сказал усатый, – он сумасшедший... Я встречал подобных... Это из тех неопасных сумасшедших, которые проповедуют рай на земле... – он рассмеялся.

– Сумасшедший, сумасшедший, – раздраженно сказал рыжеволосый, – а хлеба пришел просить к нам, насильникам...

О. Григориус пристально посмотрел на рыжеволосого, встал на цыпочки, положил еду на подоконник и, повернувшись, пошел со двора. Солдаты расступились перед ним.

– Послушай, – крикнул рыжеволосый, – эй, монах... старик!.. Я же пошутил... Эй!.. – позвал он одного солдата, – возьми еду и догони его...

Солдат взял хлеб с мясом и догнал отца Григориуса за воротами.

– Возьми, старик, – сказал он, – чего обижаться...

– Не надо, – сказал о. Григориус...

– Куда ты без еды, – сказал солдат, – возьми...

– Ничего, – сказал о. Григориус, – мне бедные подадут... – и пошел не оборачиваясь.

Вскоре он вышел на обрывистый берег большого озера... Здесь было тихо, пустынно. Он лег ничком у берега и долго пил воду. Когда он поднимал голову, с лица его текла вода, а из глаз слезы.

**Ф**илипп и Самуэль долго шли по степи, пока вдалеке не увидели стадо и пастушеские шатры.

– Здесь начнем, – сказал Самуэль, – пастухи самый подходящий народ... Они проводят все время в степи, а ночью под звездами, поэтому в них должно быть развито поэтическое чувство... Согласно Библии, пастухов особенно часто посещают видения...

– Из-за этих кустов? – спросил Филипп.

– Нет, – сказал Самуэль, – мы обойдем пастбище, и ты поднимешься из-за холма. Во-первых, с той стороны ты будешь ярче освещен солнцем, а во-вторых, я не могу тебе объяснить, почему, но мне не хочется, чтобы ты вылетал из кустов... В этом есть что-то мелкое... Птичье... Ты должен подняться из-за холма... Плавно и величественно...

За холмом Филипп снял с себя одежду,

и Самуэль принялся драпировать его в занавеску.

– Что у тебя за настроение? – спросил Самуэль.

– Не знаю, – сказал Филипп. – Я не уверен...

– Пойми, – сказал Самуэль, – мы у истоков новой идеологии... Когда-нибудь об этом напишут во всех учебниках истории...

– Перестань! – сказал Филипп.

– Ты не понимаешь, – вскричал Самуэль, – вот в чем беда! Впрочем, не буду тебя дергать... Филипп, прошу тебя... Прошу тебя, когда ты будешь подниматься к небу, думай о чем-нибудь великом, значительном... Не о мелких человеческих поступках, а о подвигах человечества... О Прометее, о Христе, о Грегори Петри...

– А кто это... Грегори Петри? – спросил Филипп.

– Это мой двоюродный брат, – сказал Самуэль, – он убил себя голодом... из идейных соображений... Он умер, не принимая пищи... Но когда-нибудь о нем и его трудах услышат и поймут его подвиг... Так же, как поняли подвиги прошлого... Так же, как поймут и наш... Человек, Филипп, совершая подвиг, случается, выглядит со стороны смешным... И лишь потом... Лишь потом... Дай я тебя обниму, и пусть нам сопутствует удача...

Они обнялись, Самуэль пошел назад, к кустам, а Филипп пополз к вершине холма.

**Н**а пастбище между тем пастухи, лежа в тени, смеялись, переговаривались друг с другом, в то время как овцы и козы бродили, пощипывая траву. На фоне этого почти ветхозаветного пейзажа и возник освещенный солнцем Филипп. Он поднялся еще не очень высоко, когда его заметил какой-то юноша-пастух. Некоторое время он в оцепенении смотрел на парящую в воздухе фигуру, а потом дико закричал, указывая пальцем на Филиппа, который в эту минуту пролетал над вершинами деревьев.

Пастухи вскочили в страхе и бросились к шатрам. Все, кто встречался им по пути, сначала пугались криков и только потом, заметив летящую в воздухе фигуру, или присоединялись к бегущим, или прятались в кусты и за камни... Филипп и сам был

потрясен происходящим и все это видел как бы со стороны. Он летел в страшном смятении, полный противоречивых чувств.

Самуэль выбежал из-за кустов и принялся останавливать бегущих.

– Стойте! – кричал он. – Люди, опомнитесь!.. Чего вам бояться?! Не бойтесь того, что вы видите, а гордитесь и радуйтесь!.. Может быть, вы когда-нибудь поймете, что это был самый счастливый день в вашей жизни!..

Вокруг него начала образовываться небольшая толпа.

– Люди! – вдохновенно взывал Самуэль, – идите и говорите: "Он пришел!.." Он научит вас, он объединит вас...

Толпа становилась все гуще. Самуэля слушали, возбужденно переговаривались, становились на цыпочки, чтобы видеть проповедника.

Филипп к тому времени миновал селение и летел над горной деревушкой. Там тоже началась паника. В местной церкви ударили в колокол. Лишь на пороге дома кузнеца сидел человек, не обращавший никакого внимания на переполох. Это был сын кузнеца, которого исповедовал Филипп и который остался жив после причастия. Когда летящая фигура появилась над ним, он проводил ее безразличным взглядом.

**К** вечеру Филипп и Самуэль встретились в оливковой роще. Филипп устало лежал на траве, прикрывшись оконными занавесками. Самуэль бросился к нему.

– Это наши люди! – возбужденно крикнул он. – Их сердца – наши... Они слушали меня, как не слушали никогда ни одного проповедника... Они поверили мне... Наконец-то!..

Он упал на землю рядом с Филиппом.

– Ты счастлив? – спросил он Филиппа и обнял его за плечи.

– Я устал, – сказал Филипп. – Не знаю почему... Я очень волновался...



– Еще бы, – сказал Самуэль. – Но начало блестящее... Сверх ожидания... Переоденься, – он вынул из котомки одежду Филиппа. – Я сейчас приготовлю поесть...

По такому случаю... вот, – он вынул бутылку рома, – у меня было с собой немного денег... На черный день... Но теперь зачем их беречь... Лавочник так напуган, что даже не пытался меня обсчитать. Все хорошо, дорогой брат мой...

Итак – за подвиг!.. – он налил ром в металлические кружки. – За удачу в подвиге!..

**В** монастыре, в келье настоятеля сидели Деккер и Клаф.

– Я всегда относился к вам с доверием, – говорил о. Мартин. – Вы не станете отрицать. Я говорил о том, что лаборатория необходима не только именно нам, а вообще церкви... Но вы поступили безответственно. Надо было предвидеть последствия. Речь идет о богоульстве... Он выдает себя за Мессию... Среди народа бродят слухи о каком-то царстве добра, возникают какие-то ложные и нелепые надежды... Мы обязаны публично его разоблачить.

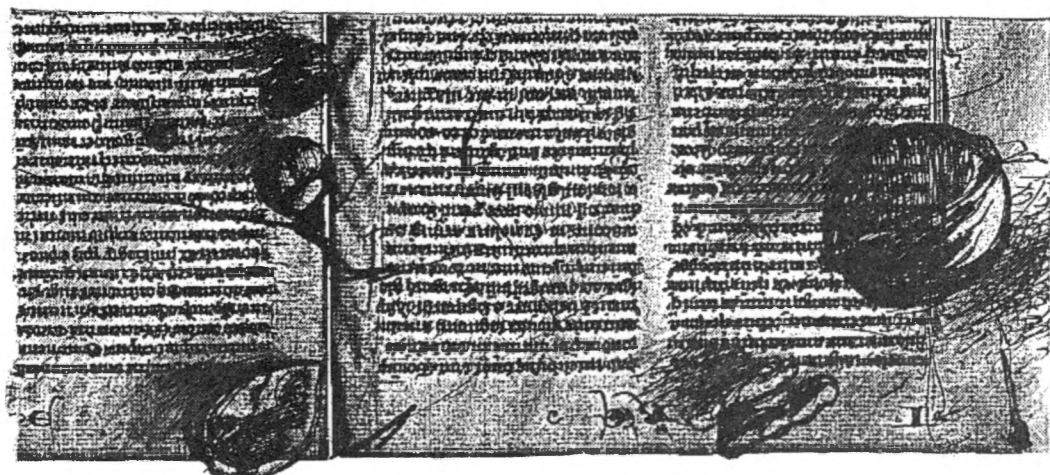
– Ни в коем случае, – сказал Клаф. – Я попрошу вас связаться с губернатором и потребовать, чтобы этих людей не смели трогать, если власти не хотят сделать из них святых и мучеников.

– Да, но они смущают умы, – сказал о. Мартин, – своими действиями они могут принести много бед, особенно простому народу, который и без этого подвержен всяческим суевериям.

– Вы богослов и должны знать, как люди верят своим идолам, – сказал Клаф, – если они хотят в них верить... Тут логика бессильна.

– Что же вы предлагаете?

– Есть только один способ, – сказал Клаф. – Надо обратиться не к религиозным чувствам, а к бытовым, обыденным



представлениям этих людей... Надо сделать этих кумиров смешными в глазах тех, кто в них верит... Надо довести эту идею летающего человека до абсурда... Что подлаешь, придумается идти на жертвы... Оскорбить, извратить свою идею ради того, чтобы не отдавать ее в руки врагов...

– Что вы там витийствуете, – морща лоб, спросил Деккер.

– Вы что, не поняли? – сказал Клаф. – Этот Филипп удрал. И использует свое новое качество в целях политических смут.

– Какая мерзость, – сказал Деккер. – Так воспользоваться достижением науки... Так извратить его смысл... А ведь я верил ему... Я любил его даже...

– Да не его вы любили, – буркнул Клаф.

– Объясните подробнее ваш план, – сказал о. Мартин.

– Меня удивляет, что вы сами не догадываетесь, – сказал Клаф. – Это ведь так просто... Надо создать еще один летающий экземпляр и показать его публике.

– Нет, – сказал о. Мартин. – Из братии я больше не дам никого...

– Настоятель прав, – сказал Деккер. – Я ведь не хотел приступать к опыту. Я колебался... Это новое качество должно было снизойти к человеку если не идеально нравственному, то, по крайней мере, подготовленному... Вы станете этим человеком, Клаф.

– Я?! С какой стати... Между прочим... Я хотел сказать об этом позднее, но раз уж так получилось... Я получил приглашение занять кафедру в Берлинском универ-

ситете... Я принял это приглашение и на днях уезжаю.

– Я всегда считал вас ничтожеством, – захохотал Деккер. – Убирайтесь к черту... Убирайтесь!.. Но сперва вы поможете мне произвести операцию на самом себе.

– Профессор, – сказал негромко Клаф, – я работал с вами десять лет, я по-прежнему уважаю вас и преклоняюсь перед вами...

– Оставьте ваши разговоры, – крикнул Деккер. – Операция назначена на завтрашнее утро... На семь часов утра... Сегодня я хочу принять снотворное и выспаться... Иаков!.. – позвал он.

Вошел Иаков, помог профессору встать, и опираясь на его плечо, Деккер вышел.

– Распятие Иисуса, – сказал Клаф, – было самой большой глупостью Его врагов... Надо было попытаться просто сделать его смешным... Впрочем, в те времена это было гораздо труднее, чем сейчас.

– Не богохульствуйте, – сказал о. Мартин.

**О**громный пустырь, поросший травой и кустарником, был полон народу. Здесь были и местные жители, и пастухи из окрестностей. В стороне можно было заметить несколько европейцев. Толпа шумела, волновалась. Полицейские наводили порядок.

Со стороны монастыря показалась открытая коляска. В ней сидели о. Мартин, Деккер и Иаков. У профессора была обрита голова, отчего он выглядел как-то дико. Коляска остановилась посреди толпы.

Поднялся о. Мартин.

– Прихожане! – сказал он. – Скорбные события последних дней заставили меня искать встречи с вами... Беглый монах, самозванец и лжепророк, используя свою способность летать, которую он получил в результате обычного научного опыта, ибо существование Бога не исключает, а, наоборот, определяет науку...

– Они пришли, чтобы обмануть вас и затоптать то прекрасное, что вы только что приобрели! – крикнул из толпы Самуэль. – Берегите от них то восхищение, которое вы испытали при виде его!! Ибо вы приобшились к великому...

– Шарлатан! – вскрикнул Деккер вскакивая. Он был еще слаб после перенесенной операции и чуть не упал из коляски. Иаков подхватил его. – Шарлатан!.. Ты хочешь использовать достижения науки для своей грязной выгоды! В человеке, который может летать, так же мало необычного, как и в человеке, идущем или плывущем по воде.

– У вас хотят отнять надежду! – крикнул Самуэль, стараясь перекричать шум толпы. – Ваше стремление вырваться из нужды, из нужды духа... Вот что важно...

– Хватит пререканий, – шепнул о. Мартин Деккеру. – Начинайте...

Деккер нервно потирал руки.

– Я не могу так сразу... Впрочем, действительно, пора... Иаков, привяжи меня...

Вздыхнув, Иаков достал из-под сиденья веревку, привязал один конец ее к ноге профессора, а второй взял в руки.

– Итак, повторение научного опыта! – высоким голосом крикнул Деккер и прямо с коляски взмыл в воздух.

Иаков соскочил с коляски и побежал следом, держа конец веревки в руках, как бегают обычно дети, запуская змея. Люди расступались перед ним. Самуэль стоял обмерший и подавленный.

– Это научный опыт! – кричал Деккер. – Обыкновенный научный опыт!

Он дергался, кувырчался в воздухе, не-

вольно, но точно воплощая замысел Клафа – скомпрометировать идею летающего человека.

– Это отвратительно! – крикнул со страданием на лице Самуэль. – Что вы делаете?.. Как это отвратительно... Так опозлить величие подвига!..

Профессор, продолжая кричать что-то уже совершенно бессмысленное, вдруг на мгновение замер в воздухе, веревка в руках растерянного Иакова натянулась. Деккер судорожно взмахнул руками, полетел по дуге и, рухнув вниз, ударился головой о дерево. Иаков бросился к профессору. Деккер, лежа на земле, тяжело дышал и дрожал, как подбитая птица.

**В** келье профессора было полутемно и тихо. Деккер сидел в глубоком кресле. Бритоголовый, в синяках и ссадинах, забинтованный, заклеенный пластырями, он производил пугающее впечатление. Верный Иаков был тут же.

Вошел Клаф и сел рядом.

– Я пришел проститься с вами, – сказал он негромко.

Профессор молчал.

– Я хотел бы, чтобы вы знали, – продолжал Клаф, – что, несмотря на печальный исход нашей деятельности, я счастлив... Я счастлив, что провел с вами эти годы...

Профессор, ерзая в кресле, стал проявлять беспокойство.

– Галилей боялся не тюрьмы и пыток, – сказал он хрипло, – он боялся собственных открытий... Вот почему он отрекся... "На наш ликующий восторг мир может ответить воплем ужаса" –

это его слова.

– Возникновение каждой проблемы должно быть соотнесено со временем, – сказал Клаф. – Ваше здоровье сильно расшатано, профессор. Вам надо лечиться.

Он посмотрел на часы.

– Мне пора... До свидания, профессор... Разрешите мне на прощание обнять вас...

– Идите... Не надо, – сказал Деккер. –



Я устал от вас, вы мне надоели... Все верно, и все подтверждается... Когда-то она мне сказала: "Ты будешь страдать, ты для этого рожден..." Комнатка у нас была маленькая, и окна выходили на улицу с длинным забором... А за забором бойня... Она взяла мою руку и сказала: "Тебя погубит истина. Ты всегда любил ее, но не понимал..."

– Он начал заговариваться, – тревожным шепотом сказал Клаф Иакову.

Иаков взял какую-то склянку, налил в ложку лекарство и дал профессору. Тот выпил.

**Ф**илипп и Самуэль сидели у костра. Был вечер. Самуэль снял с огня котелок и разлил по кружкам какое-то варево. Филипп попробовал и сморщился.

– Какая пакость, – сказал он.

– Пей, – сказал Самуэль. – Не все, что вкусно, полезно. В супе из лесных корней витаминов больше, чем в мясе и масле...

– Мясо! – сказал Филипп. – Хотя бы хлеба кусок, – и он выплеснул содержимое кружки на землю.

– Какие у тебя могут быть претензии? – вспыхнул Самуэль. – Всю провизию до сих пор добывал я... Теперь ты попробуй.

Филипп встал и направился в сторону поселка.

– Послушай! – окликнул его Самуэль уже мягче. – Не сердись... Меня уже знают, запомнили... Вчера меня чуть не догнали... Пойди к форту. Солдаты иногда подают вполне пристойные обеды.

– Нет, – сказал Филипп, – просить я не буду... Я украду лучше.

**С**еление спало, лишь кое-где мерцали огоньки. Он прошел мимо лавки. Остановился. Потом осторожно вернулся и заглянул в окно. Он увидел на прилавке и полках хлеб, сушеную рыбу, какие-то бочонки. Выдавив стекло, он проник внутрь и начал грузить в мешок еду, встав на высокий бочонок. Неожиданно бочонок выскользнул из-под его ног. Раздался грохот. Филипп не упал, а вместе с мешком на минуту повис в воздухе, потом в бессознательном испуге взмыл под потолок лавки. Он носился в темноте, натываясь на предметы и производя страшный шум.

Наконец, ему удалось сориентироваться, он опустился на пол, выпрыгнул в окно и побежал.

– Стой! – высунувшись из окна спальни, закричал раздетый лавочник и выпалил несколько раз из револьвера.

Филипп упал, но тут же вскочил и не побежал далее, а полетел.

– Что случилось? – спрашивали разбуженные люди.

– Тот летающий бездельник влез ко мне в лавку! – ответил лавочник. – Вначале он бежал от меня, как нормальный вор, но я выстрелил, и он полетел. Видно со страха. Тут я его и узнал...

**Д**остигнув рощи, Филипп опустился на землю. Рукой он прижимал левое предплечье. На поляне его ждал встревоженный Самуэль.

– Что случилось? – крикнул он. – Я слышал выстрелы! Ты ранен?

– Лавочник стрелял в меня, – сказал Филипп тяжело дыша.

– Да брось этот мешок, – смутился Самуэль. – Слава богу, царапина... Сейчас мы тебя перевяжем... Чтоб ему подохнуть... Он ведь мог попасть тебе в голову... Эх, собственники, гиены... Раньше верблюд пролезет в угольное ушко... Да дьявол с ними...

Самуэль перевязал Филиппу руку.

– Больно? – спросил он.

– Печет немного... Зато хоть поедим как следует.

Самуэль подложил в костер хворосту. Они уселись и принялись за еду. Они ели долго и жадно. Когда первый приступ голода был утолен и Самуэль закурил огрызок сигары, Филипп сказал:

– Вот и кончилась наша тайная вечеря... Завтра я вернусь назад, в монастырь... Ничего не вышло, Самуэль.

– Да, – сказал Самуэль. – И все-таки я благодарен тебе... Ты перевернул мою жизнь... Домой я больше не вернусь... Я взбунтовался... Мой дух взбунтовался... Я другой жизни хочу... Постараюсь перебраться в Европу...

– Да, друг мой, они еще горько пожалуют... – с пафосом продолжал Самуэль. – Да поздно будет... – и он погрозил куда-то в пространство пальцем. – Поздно будет, уважаемые владельцы мира сего!.. А сейчас мне пора... Надо успеть

на поезд, а до станции часов десять ходьбы.

– Я провожу тебя, – сказал Филипп.

– Спасибо, – сказал Самуэль. – Спасибо, мой друг...

– Вот еда, – сказал Филипп. – Возьми с собой... Всю возьми, мне теперь не надо...

И они принялись ногами затаптывать костер.

– У меня такое чувство, словно у меня три ноги или две головы... – устало сказал Филипп.

**Р**анним утром на платформе узкоколейки Самуэль прощался с Филиппом. Это была единственная железная дорога, недавно построенная в этих местах и связывающая их с морем.

Пыхтел маленький паровозик. Усатый начальник станции ударил в колокол. Самуэль и Филипп обнялись. Когда поезд тронулся, Филипп принялся вглядываться в окна вагонов, чтобы еще раз увидеть друга, но тот неожиданно окликнул его откуда-то снизу. Самуэль ехал, забившись в ящик для инструментов, расположенный под вагоном. Он улыбался Филиппу и махал ему рукой. Коротенький поезд простучал по рельсам и через некоторое время исчез за поворотом.

**Ф**илипп спустился косогором и пошел прочь от станции. День был жаркий. Впереди по дороге медленно шел человек, одетый в крестьянскую одежду.

– Нам, кажется, по пути? – сказал Филипп, догнав его.

Незнакомец не ответил. Некоторое время они шли молча.

– Ты не узнаешь меня? – спросил Филипп.

– Нет, – ответил крестьянин.

– Ты умирал, а я причащал тебя...

– Может быть...

– Значит, ты не умер, – сказал Филипп.

– Нет, – ответил крестьянин, – не умер.

Они некоторое время шли молча, искоса поглядывая друг на друга.

Вдруг крестьянин улыбнулся.

– Ты что? – спросил Филипп.

– Я тебя помню, – сказал крестьянин. – Хоть лицо у тебя теперь иное... Только опасаюсь я тебя...

– Милый ты мой, – с неожиданной

горячностью откликнулся Филипп, – что же меня опасаться?.. Разве такой уж я дурной человек?..

– А добрые они теперь самые страшные, – сказал крестьянин...

– Это верно, – сказал Филипп, – бесчеловечное время наступает тогда, когда добра опасаться надо... Кто тебе добро сулит – от тех и беги... Вот я сейчас проводил друга... Хотя об этом не надо... Об этом после...

– Я тебе тогда не досказал, что видел, – сказал крестьянин. – Стена там обычная, в два кирпича... А за ней, как во сне, все просто, и ничего удивительного. Это значит, все воспринимаешь спокойно... Что бы ни увидел, словно простую телегу увидел или что-либо такое...

– Ну зачем ты снова надо мной смеешься, – сказал Филипп, – глупый ты... Да и неинтересно мне теперь все это... Святость смерти меня более не волнует... Меня волнует святость рождения... Рождается ли каждый со своей мечтой или мечты живут ранее нас и после нас... И бывает ли так одинаково в чистые времена и в нечистые... Ведь и времена, друг мой, бывают чистые и нечистые... Как наше... Нечистое оно... Молитва или ненависть... Зазвонят в колокола, и начнется старое, привычное, ужасное дело... Я непонятное, может, говорю, но у меня недавно сон был страшный... Видения вроде... Нас учили, что дьявол – отец лжи... У лжи одна дорога и один конец – она всегда ведет к человекоубийству... А ведь нас обманули – вот что я понял... Ох, как нас обманули после рождения нашего... Вот почему мы друг друга обманываем. Ты меня, я тебя. А кто-то нас всех понемногу...

– Прощай, – сказал крестьянин и свернул на тропинку, ведущую к горной деревушке.

– Ничего, – сказал Филипп. – Теперь это уже неважно...

Крестьянин неопределенно улыбнулся и пошел дальше своей дорогой мимо каменных стен монастыря.

**В** трапезной ужинали. Монахи и послушники сидели за длинными столами и молча ели. Во главе одного из столов сидел настоятель о. Мартин. Вдруг он оглянулся и вздрогнул: на пороге стоял Филипп.



Он подошел к настоятелю и, опустившись на колени, припал к его руке.

– Накормите его, – сухо сказал о. Мартин.

Служка усадил Филиппа за стол и поставил перед ним миску каши. Филипп принялся за еду.

Трапеза кончилась. Монахи став цепочкой, двигались к корыту с водой и, вымыв свои мисочки, тихо выходили один за другим. Вскоре в трапезной остались лишь Филипп и о. Мартин.

– А где профессор? – спросил Филипп.

– Его здесь нет, – ответил о. Мартин. – Он заболел. После ужина зайдешь ко мне. Я назначу тебе духовника.

**Б**ыло ясное свежее утро. У монастырского водоема сегодня было особенно много паломников. Водоем представлял из себя чашу, в центре которой бил фонтанчик, на поверхности воды плавало десятка два деревянных ковшиков. Дежурным монахом при чаше сегодня был Филипп. Он откормился, пополнил, а в его движениях и лице появилось что-то ленивое и безжизненное.

Длинным шестом с крючком на конце он подвигал ковшики к краю чаши. Страждущие крестились, черпали воду и жадно пили. Напившись, они швыряли в водоем монеты и уступали место другим. Водоем был огорожен заборчиком с узорной дверцей, в которую по очереди пускали паломников. Тут же, в тени, были сооружены скамьи для тех, кто ждал своей очереди. Однако мест всем не хватало, и те, кто победней, располагались прямо на земле. Среди них были дети, старики, женщины. Народ, главным образом измученный болезнями и дальней дорогой. Были и вовсе парализованные, привезенные сюда родными. Среди толпы шныряли местные нищие, выпрашивая подаяние.

Филипп заметил, что лица паломников озарены надеждой, и, обращаясь к нему, они как-то чрезмерно кланяются и лебезят. Особенно поразили его глаза молодой девушки, у которой были парализованы ноги. Коляску с ней вкатили в ограждение два старичка, очевидно, ее мать и отец.

– Пей, детка, – говорила старушка. – В этом источнике кровь святой Екатерины, твоей покровительницы...

Филипп посмотрел на красивое лицо девушки и потянул шестом дальний ковш, который был более чист, чем другие.

Обычно в обязанности Филиппа входило лишь придвинуть ковшик к краю чаши. Но Филипп зачерпнул воду и поднес ковшик девушке.

– Спасибо, – чуть слышно сказала девушка.

– Слава Богу, – сказала старушка, ободренная вниманием Филиппа. – Добралась... Три недели ехали... В прошлом году здесь была наша родственница... У нее астма... И вот теперь, она говорит, ей значительно лучше...

– Не отвлекай служителя, – сказал старичок. Он вынул из кармана узелок, развязал его, достал оттуда несколько монет и бросил их в чашу.

К тому времени подошел монастырский казначей, и Филипп потерял на некоторое время девушку из виду. В его обязанность входило также помогать казначею доставать специальным совком монеты со дна чаши и ссыпать их в мешок. Он был так занят работой, что не сразу услышал, как его окликнули. Перед ним стоял о. Григориус. Он был не то что худ, а скорее, истощен и одет в лохмотья, на шее висел прежний его крест из старинного серебра.

– Я давно уже здесь стою, – сказал о. Григориус, – наблюдаю. Вот чем ты кончил, Филипп... А ведь мог жить по-божески... Была в тебе чистота все-таки...

– Нет, – чуть слышно сказал Филипп, – не было во мне ничего этого... Никогда я вам не верил ни в чем и лишь теперь это понял.

– А если не верил, – возвысил голос о. Григориус, – зачем же ясу надел?.. Ходил бы по земле, как я, и атеизм проповедовал... Я – веру, ты – атеизм... По крайней мере, это было бы честно.

– Вы не так поняли, – сказал Филипп. – Я не Богу, я вам не верил...

– Запутался ты совсем... Раз мне не верил, значит, и Богу... Ибо Бог там, где правда... Со мной правда, – возвысил голос о. Григориус, – значит, со мной истинный Бог... Тоттиан, учитель первых времен церкви, говорит, что несчастье оттого, что признают ложного Бога... Лучше безбожие, чем ложный Бог... Лучше атеизм...

Паломники уже теснились вокруг, с тре-

вогой и недоумением глядя на о. Григориуса, глаза которого горели лихорадочным огнем...

В это время в воротах монастыря появился о. Мартин. Увидев своего врага, о. Григориус еще больше распалился.

– Вот он идет! – крикнул беглец. – Слуга Господа!.. Тот, кто должен пробуждать в других духовную жизнь... Ведь совестно сказать, как мало нужно людям, чтобы освободиться от всех своих бедствий... Надо только не лгать... А он лжет... Вас обманывают! – обернулся о. Григориус к толпе. – Там, за стеной монастыря, монах вручную накачивает воду из обыкновенного колодца сюда, в эту "святую" чашу... Настоятель обещал мне много раз, что ликвидирует этот обман, поэтому я молчал... И я виновен... Но ты-то!.. Зачем ты обманываешь этих бедных и больных людей?.. Зачем последние гроши из карманов их крадешь?.. Ты Бога продал и его именем разбой творишь... Будь ты проклят!.. Тьфу!.. – и он, разгорячась, плюнул в настоятеля монастыря.

И тут же закричала какая-то кликуша. Крик ее словно разбудил толпу.

Первым к о. Григориусу подбежал старичок, отец парализованной дочери, и толкнул его. Кто-то из больных заплакал.

О. Мартин успел шагнуть и стать между о. Григориусом и толпой. Однако какой-то нищий, увешанный веригами, метнулся в сторону и ударил о. Григориуса костью в висок. О. Григориуса подбросило, он завертелся волчком, потом неожиданно побежал, как-то мелко семеня ногами, вдруг остановился и рухнул навзничь.

Толпа паломников и нищих стала таять.

О. Григориус лежал на окрашенной кровью земле, запрокинув голову.

**П**о длинному больничному коридору шел профессор Деккер в сопровождении сестры милосердия. Судя по тому, как профессор изменился, прошло не менее

десяти-пятнадцати лет. Он сильно постарел, сгорбился, и в выражении его лица появилось что-то детское. Вместе с сестрой Деккер вышел в приемный покой, где на скамейке ждал его Иаков. Иакова узнать было еще труднее. Он был уже совсем старик. На нем непривычно после монашеской рясы сидел какой-то кургузый пиджачок и узкие брюки. Увидав профессора, Иаков радостно бросился к нему. Деккер же встретил Иакова довольно равнодушно.

– Посидите здесь, – сказала сестра, – я принесу вещи.

– Хорошо, – сказал Иаков, – мы подождем.

Они уселись и стали ждать.

– Ну, как вы? – спросил Иаков.

– Вот беда, со вчерашнего дня мучит изжога. Хотелось бы выпить зельцер вассер, – сказал Деккер.

– Сейчас ваши вещи принесут, пойдём в кафе, – сказал Иаков.

После этого профессор замолчал. Иаков несколько раз на него посматривал, но заговорить не решался. Одна пуговица на рубашке профессора была расстегнута, галстук сбился набок. Иаков встал, застегнул ему пуговицу и поправил галстук.

Вошла сестра, протянула Иакову чемодан и плащ профессора.

– Всего хорошего, – сказала она Деккеру. – Поправляйтесь.

**Е**вропейское лето было в разгаре. Чистенький городок утопал в зелени. Небо, однако, было покрыто облаками.

– Дождь начинается, – сказал Иаков. Он поставил чемодан и надел на профессора плащ. – Зайдемте в кафе, – сказал он, – тут рядом. Переждем дождь и зельцер вассер выпьем.

На улице им дорогу преградила военная колонна. Катились двуколки, шли солдаты, прогрохотала полевая кухня.

Кафе находилось в полуподвальчике, и все столы были заняты. Тут происходил какой-то диспут. Выступали ораторы, и слу-



шатели встречали их то шиканьем, то возгласами одобрения и аплодисментами.

Иаков, поискав взглядом столик, хотел было выйти, но на улице уже шумел ливень и пришлось остаться. Деккер и Иаков стояли на пороге кафе, глядя сквозь стеклянную дверь на улицу. Вдруг один из слушателей, особенно громко выражавший то восторг, то негодование, обернулся и вскричал. Это был Самуэль.

За эти годы Самуэль изменился меньше других. Он, правда, хоть и поседел, но выглядел даже помолодевшим. Движения его были порывисты и энергичны.

– Господи, да ведь это профессор Деккер, – сказал он подходя. – Я видел вас всего раз, и отношения между нами складывались, к сожалению, не совсем... Но тем не менее... Я позднее читал о вас и вспомнил... У меня чудесная зрительная память... Я и вас помню, – обернулся он к Иакову. – Не хотите ли присесть?

Я сейчас достану стулья... Часто здесь говорят, конечно, вздор, но иногда, представьте себе... весьма...

Он сбегал куда-то и принес два стула. Деккер и Иаков сели рядом с Самуэлем у его столика.

– Нам бы зельцер вассер, – сказал Иаков.

– Это несложно... – сказал Самуэль и куда-то убежал.

– Всякий раз, когда наступает естественный предел

какого-нибудь исторического этапа, – говорил один из ораторов, – те, кто не понимает исторических пружинок развития, начинают кричать о последнем пределе научного, философского и религиозного мышления, после которого наступает чуть ли не конец цивилизации и нравственности, а поскольку каждый из этих

господ неизлечимо болен обычным бытовым эгоизмом и не мыслит себе жизни без своей нравственности и своей цивилизации, то они неизменно время от времени, в конце того или иного столетия предсказывают и конец света...

Послышались крики одобрения одних и шиканье других.

– А в чем внутренний конфликт религии? – выкрикнул какой-то юноша. – Внутренний конфликт религии освещен недостаточно...

Вернулся сияющий Самуэль, поставил бутылку и стаканы.

– Чудесно говорит, – обернулся он к Деккеру. – Это великий человек... Главное, найти и понять. Мы ведь блуждали во тьме... Сколько у меня даром ушло дней, месяцев, лет... А ведь я смертен. Я весь тут... Я не верю в потустороннюю жизнь... Ах ты господи, господи... Скажите мне, тот

чудесный молодой человек... Филипп... Что с ним?

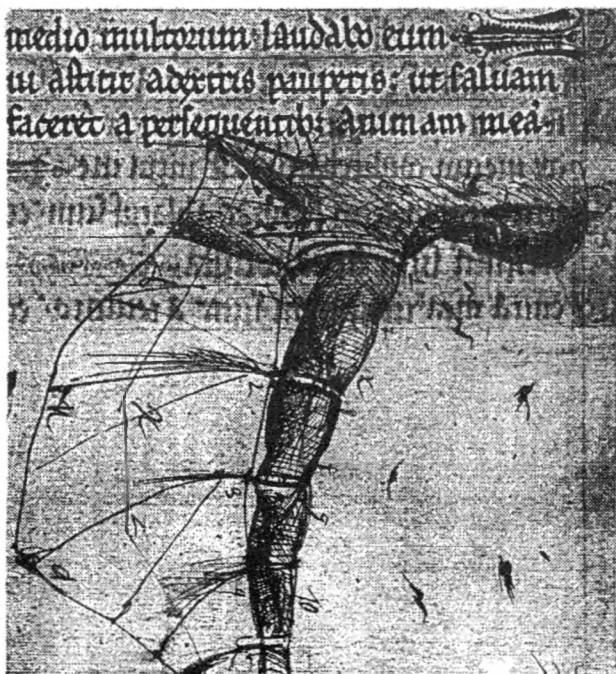
Деккер не отвечал.

– Разве вы не узнаете меня? – шепотом спросил Самуэль. – Я был с ним все время... Ради него я оставил семью... Я ведь один давно... – Он повертел стакан в руках. – Но я ни о чем не жалею... Лишь теперь я живу по-настоящему... Я теперь жадно живу...

– Он летал, – продолжал Са-

муэль. – Это был первый в мире летающий человек.

– Речь идет, – говорил в это время другой оратор, – не об исторически переходящих вещах, а о том, что вечно... Когда человек бессознательно ищет Бога, а сознательно его отвергает, тут-то и наступает его трагедия... Тут-то и заключается тра-



гедия всякого честного материалиста...

– А в чем трагедия честного идеалиста? – выкрикнул кто-то с места.

На него зашикали, кто-то засмеялся.

– Внутренний конфликт религии! – по-прежнему кричал юноша. – Древний Рим пал не под ударами варваров, его съел внутренний конфликт, неотвратимый и неизбежный...

Заспорило сразу несколько голосов. Кто-то свистнул.

– В основе этих рассуждений, – говорил первый оратор, – лежит хорошо нам теперь знакомая игра слов: стремление к добру и правде есть искание Бога... Следовательно, если человек стремится отдать себя служению народу, а это есть добро – то он бессознательно ищет Бога... А так как он не хочет стать на религиозную точку зрения, то он непоследователен... Отсюда ясно, что игра слов о трагедии всякого честного материалиста по своей теоретической ценности не превышает плохого каламбура...

– Но всеобщая цель! – кричал второй оратор. – Чем вы обозначите всеобщую вечную цель человечества, если нет Бога? Обозначьте так, чтобы она понятна была не только отдельным мыслителям, а широким неграмотным массам... И так, чтобы она звала их не к материальному насыщению, а к духовным высотам.

– Пойдемте, – сказал Иаков Деккеру. – Здесь шумно...

Они встали и пошли к выходу.

– Позвольте, – заспешил следом Самуэль. – Я все-таки хотел бы узнать...

Они вышли на улицу. Дождь еще лил, но не такой сильный.

– Я хотел бы узнать о Филиппе.

– Он вернулся в монастырь, – сказал Иаков. – Теперь он, кажется, тоже в Европе... Он священник...

– Ах, как жаль, – сказал Самуэль, – настоящая жизнь – вот она... Интересные встречи, борьба, полемика... Вы знаете, вот у меня записано, – он начал рыться в карманах. – Ах, вот оно, в блокноте... Я вам прочту: "Ребячеством является взгляд, согласо которому подлинная жизнь, настроения и действия людей определяются тем, верят ли они или не верят в бытие сверхъестественных существ..." Как замечательно сказано... Правда ведь?..

В это время из кафе донесся крик восторга и бурные аплодисменты. Самуэль кивнул собеседникам, повернулся и побежал назад в кафе.

**В**ерден. 14 сентября 1915 года.

Над землей вспыхивали белые облака разрывов. Каждая вспышка сопровождалась сухим раскатистым грохотом, после чего в воздухе возникали свистящие звуки, неслись вниз и затихали, шурша в траве. Изредка раздавался стук пулемета да несколько одиночных выстрелов то с одной, то с другой стороны. Это была временная передышка.

Солдаты, готовые к атаке, уже сидели в передней траншее в касках, с примкнутыми к винтовкам штыками.

– Капеллан! – крикнул чей-то сердитый голос.

По траншее на голос пробирался капеллан – батальонный священник. Это был Филипп.

Он постарел, под глазами у него висели тяжелые мешки. В руках его была Библия.

– Капеллан! – кричал узколицый солдат с усиками. – Успокойте его, – сказал он, когда Филипп подошел. – Он всем на нервы действует.

Рядом с узколицым в цепи сидел молодой солдатик, совсем мальчик, и плакал, как плачут дети, когда остаются одни в темной комнате.

– Бойтся, – сказал узколицый и нервно усмехнулся. – Давайте, объясните ему про Бога, про рай...

– Ты больше его боишься, потому и злишься, – сказал пожилой солдат узколицему.

Молоденький солдат между тем, не стесняясь, продолжал плакать, слезы лились у него по щекам. Ремень его каски намок. Филипп снял с него каску и положил ладонь ему на голову.

– Как тебя зовут? – спросил он.

– Александр, – всхлипывая сказал солдатик.

– Вспомни все доброе, что было у тебя в жизни, – сказал Филипп. – Мать, отца, друзей.

– Мать у меня вдова, – сказал солдатик, припав к руке Филиппа щекой, – отца нет... Я молился всю ночь, не спал, а мо-

лился, но мне не стало легче... Я молился, что если уж угодно меня покарать, то пусть я буду изранен, неподвижен, не буду владеть ни руками, ни ногами, ослепну и оглохну, но пусть останется во мне хоть искорка жизни... Помогите мне, отец... Пусть от меня все отвернутся, пусть я останусь один, пусть я буду калекой, пусть я буду несчастным, бедным, лишь бы во мне осталась хотя бы искорка жизни... Помогите мне...

Филипп молча стоял и смотрел на солдата.

– Прости меня, – сказал он наконец. – Я не умею тебе помочь. Не могу тебе помочь, не могу объяснить, не могу утешить... Хотя только ради этого я и жить-то должен бы был... Может быть, благодаря этому мгновению и жизнь моя смысл имела бы... Прости меня... Я не вижу пути к твоему спасению и не знаю даже, в каком направлении его искать.

– Он спятил со страха, – сказал узколицый. – Вон какой бледный.

– Конечно, – сказал Филипп. – Мне, как и вам, страшно умереть... Не страшно только тем, кто знает, зачем он жил... Кто знает эту великую тайну... Те, кто знают, зачем и для кого жить, истинно святые... Вот где величие и подвиг. В знании этого. Небо нам этого понять не поможет... Небу нет дела до нас... Человек для него слишком ничтожен... Ответ надо искать на земле... Вот единственное, что я понял... Спасибо и на этом...

– Что здесь происходит? – подбежал офицер. – Что с вами, капеллан? Говорят, вы больны? Оставайтесь здесь, – сказал офицер. – В офицерском блиндаже...

– Нет, я пойду со всеми, – сказал Филипп.

– Прекратить разговоры! – снова обернулся офицер к солдатам. – Приготовиться!.. Сигнал газовой атаки – частые удары штыком по котелку...

– Внимание, – крикнул кто-то в конце цепи. – Надеть противогазы!

– Надеть противогазы!.. Противогазы надеть!.. – пошло по цепи.

Разом исчезли человеческие лица. Цепь в противогазах, с винтовками наперевес поднялась и двинулась по полю.

Филипп шел вместе со всеми. Цепь не успела пройти и нескольких шагов, как на

нее обрушился огненный шквал. По земле поползли облака ядовитого газа. Разрывы терзали воздух, перемалывая на своем пути все живое. Клубился дым, сотрясалась земля.

Филипп был убит одним из первых.

Над Верденом бушевал ад из пламени и металла. Это в огненной купели крестили двадцатый век.

Рисунки Екатерины Рожковой.



АРИФ АЛИЕВ

*Набиск страсти*



Верочке Кошелевой шел только шестнадцатый, когда мать отправила ее из глухого города Коврова к брату Степке в Москву. Тот давно не слал денег, многодетная семья бедствовала, и когда в империи все вроде бы успокоилось после разгула и крови первой русской революции, Верочка поехала тормозить брата. Ни один встречный не распознал бы в угловатой, голодной девчонке-безотцовщине скорую красавицу, и мать без слез проводила Верочку в люди.

Степка служил сторожем павильонов в Петровском парке. А принадлежали павильоны кинопрокатной компании господина Александра Алексеевича Ханжонкова. В день приезда Верочки Александр Алексеевич производил съемки исторической драмы "Песня про купца Калашникова". Артистам театра "Эрмитаж", взятым по случаю парковым бродяжкам, исполнявшему роль палача Степке и даже самому Ивану Грозному – Федору Ивановичу Шаляпину – всем одинаково неловко было делать свои выходы на киносъемочный аппарат. Дышали громче, прижимались крепче, жестикулировали резче, ссутуливались и окаменевали, добравшись до заранее очерченных мелом позиций. Аршин проглотили все без исключения, но сорвал съемку Федор Иванович. Он вдруг совершенно забылся и после длинного, ненужного монолога взмахнул посохом и не мигая уставился в аппарат. Лицо его некрасиво скукожилось да так и осталось неподвижным.

Ханжонков выдержал паузу. Когда кончилась пленка и перестал стрекотать аппарат, Александр Алексеевич подсчитал на

бумаге, сколько пленки было затрачено впустую, в какую сумму обошлось компании скукоженное лицо, – представил эту бумагу Шаляпину для ознакомления. Федор Иванович ознакомился с расчетами и заявил, что лицо великого артиста стоит значительно дороже, изругал новое искусство и уехал. Съемки пришлось прекратить, и вскоре декорации опустели.

В это самое время в виду павильонов показались несколько шумных экипажей, набитых шантанными девицами, цыганами и господами в канареечных пиджаках. Головной экипаж направлял Александр Осипович Дранков. Он приказал свернуть в Петровский парк, чтоб только взглянуть одним глазом, кипит ли работа у Ханжонкова. Иначе ни за что не допустил бы задержки на пути в "Славянский базар".

Здесь мы ненадолго отвлечемся от сюжета, чтобы представить обоим непримиримых соперников. Дранков владел точно такой же, как и Ханжонков, кинопрокатной компанией, тоже пытался снимать фильмы и имел павильоны. Черт догадал им начать дело одновременно, тщеславны оба были до физического нездоровья – и на том сходство кончалось. Александр Осипович был, что называется, тертый калач, любил тратить деньги шумно и весело, и деньги любили его, липли к рукам. По каверзам соперничать с ним мог разве Ноздрев, да и то, верно, Гоголь после знакомства предпочел бы Дранкова. Александр Алексеевич же не терпел и не понимал разгульного шутовства своего соперника, не терпел обмана и в делах верил на слово. Дранков имел к обману давнюю при-



Сбор пожертвований для солдат. 1915-1916 гг.

вычку, любил авантюры и притом имел собачий нюх оказаться вовремя в нужном месте и ловко воспользоваться необходимыми ему людьми. Шутка ли, он единственный из киносъемщиков оказался допущен к графу Толстому! И еще: в Александра Осиповича женщины влюблялись без памяти, чувствовали, что он никому в любви не откажет.

Александр Алексеевич жил однолюбом. С женой, Антониной Николаевной, познакомился нецелованным юношей. Он тогда проходил службу в московском казачьем полку – подхорунжим, строевиком, и пахло от него острым казарменным духом. Был он небогат, а честнее сказать – беден. Образование получил домашнее, какое давали в обедневших дворянских семьях. Честнее – образован он был скверно. В довершение ко всему ростом не вышел, оказался ниже жены на целых два вершка. Антонина Николаевна получила блестящее образование, рано почувствовала вкус к светской жизни, не пропускала ни одной театральной премьеры, и – за ней давали большое приданое. Как бы то ни было, но после полугода хождений по театрам и вздохов на скамейке они поженились. Александр Алексеевич оставил службу. По совету жены и на ее же деньги он стал первым русским кинопромышленником...



Но вернемся к Верочке. Ей очень-очень понравились киносъемки. Она решила не замечать, как дурно ругается с актерами оператор, если те замрут чуть в стороне от меловых меток. Ей захотелось остаться в этом прекрасном и немного сумасшедшем мире.

Степка жил при павильонах, и Верочка начала устраиваться в сторожке на ночлег. Хоть и врзал на рождественское заговенье крепкий морозец, печурка тянула весело – и было уютно. Но только Степка вознамерился сгрызть за встречу бутылочный сургуч, как в ворота постучали.

Едва Дранков отметил для себя неожиданную безлюдность декораций, им мгновенно замыслился преподлейший камуфлет. Незаметно для свиты вперед он послал помощника с ассигнацией и корзиной водки. Через несколько минут экипажи въезжали в ворота. Открывал купленный с потрохами Степка. "Прошу осмотреть мои новые павильоны", – пригласил свиту Дранков. "Когда ты успел устроить декорации?" – дивились приглашенные. "Да и павильоны у тебя, кажись, на Житной?" "Говорю, новые построил. Третьего дня кошку пустили", – не смущаясь отвечал Дранков. "А как фильма называется, Александр Осипович?" Тут Дранкову пришлось Степку обнять. "Про купца Калашникова, – шепнул Степка. – Я палача играю, а сестрица моя желает представить Калашникову женку". Дранкову некуда деваться: "Хитер и коварен ты, брат. Но будь по-твоему".

За два часа, пока товарищи с девицами и цыганами гудели в декорациях, Дранков собрал свою съемочную группу, написал сценарий и привез актеров. Хотел Шаляпина позвать да не нашел. Ивана Грозного сыграл разваловщик туш с Охотного ряда. И неплохо сыграл, без капризов. Потому и фильму отсняли, в отличие от Ханжонкова, быстро, еще до вечера.

Верочка ночь не спала, взбудораженная сыгранной ролью и ощущением нежданного счастья. А Дранков всю ночь гулял в "Славянском базаре" и хвастал про новую фильму.

А наутро похмельного Степку вытащили на свет. Хотел его рассчитать Ханжонков, но не смог. Пьяными слезами разжалобил Степка, умолил оставить – ради не-

дорослой сестрицы. По благородству души Ханжонков убедил себя, что обокрал его вовсе не сторож, а жухало Дранков. Степку он оставил сторожем, а Верочку принял в лабораторию склейщицей пленки.

Раз с "Калашниковым" вышел убыток, Антонина Николаевна предложила мужу снять первую русскую баталию про оборону Севастополя. Идея была великолепная, но на показ в кинематографе русского военного мундира требовалась высочайшее позволение, и потому Ханжонков отправился в Царское Село.

Степка каждый день, пока крутили дранковского "Калашникова", бегал в электротеатр. Очень его поразило, какая из сестрицы-замухрышки вышла на экране красавица. Если бы по-обычному Верка прожила, красота ее зазря сгнула при каком-никаком муже-пьянице, а так – для вечности Верка осталась. Не жалел Степка, что Дранкова в павильоны пустил. И когда Дранков вновь подловил его на улице и сунул ассигнацию, Степка с ходу выболтал секретные хозяйские планы.

Добиваться высочайшего позволения на "Оборону Севастополя" Дранков решил не абы как, а через известного царского любимца – Григория Распутина. Действовать он вознамерился не в лоб, а опять же камуфлетом. И вот когда однажды Распутин выезжал из дома на Гороховой тремя экипажами, с актрисами, цыганами и ветошным юродивым сбродом, Дранков подждал его на Фонтанке. Заблаговременно он нанял цыганский табор, заказал дюжину экипажей с "друзьями" и девицами, а также расставил два десятка "зевак", назубок заучивших необходимые тексты. Завидев экипажи Распутина, Дранков сделал отмашку своим людям и сам первым выехал навстречу. Распутину пришлось остановиться! И дранковские цыгане переорали распутинских. И девки смеялись громче. А зевачи удачно дивились: "Ай да барин, Дранков Александр Осипович!" – и подкальвали: "Гришка тоже жало, но кишкой тоньше!" Распутин удивился удалцу и пригласил погулять в ресторан. Дранков выказал радость и долго просил прощения за невольную помеху движению государственного человека. После гулянки в ресторане Дранков потащил Распутина в электротетатр, показал своего "Калашникова" и по-



**А. Хажоковъ и Ж.**

**Закладка павильона в присутствии  
архидяея и синодальнаго хора певчих.**

просил протекции в съемках первой русской батальи. Распутин обещал протекцию, но пожелал прежде привезти к нему актрису – Калашникову женку, захотел лично отметить талант. Дранков предложил немедля отметить талант любой из многочисленных его спутниц. Но Распутин потребовал Верочку.

А Верочка прилежно трудилась в лаборатории Ханжонкова и уже успела послать матери первую зарплату. Когда к ней заявился человек от Дранкова с предложением бросить все и ехать в Петербург навстречу новым ролям, Верочка вежливо, но решительно отказалась.

Тогда в Москву вернулся сам Дранков и сыграл для Верочки сказочную любовь. Его любовь действительно была непохожа на приставания разных приказчиков. Он заворожил, он подарил колечко с зеленым камнем. И даже Степка уже не мог ее остановить. Дранков посадил Верочку в сани и повез прочь с кинофабрики, повез к мосту по заснеженной Крылатской пойме. Тут только опомнился Степка, побежал к хозяину и рассказал все, что сумел раньше выведать у болтуна Дранкова.

С Распутиным тягаться казалось бесполезным. Прощение, которое Ханжонков оставил в Царском Селе, теперь ничего не стоило. Надо было во что бы то ни стало остановить Верочку. Александр Алексеевич вскочил на лошадь и погнал от фабрики наперерез, до самой Крылатской излучины. Здесь он спешился и выбежал на лед, чтобы успеть выйти на мост перед санями и красивым жестом остановить Дранкова. Александр Алексеевич вспомнил, как властно поднимал руку Шалапин в неудавшемся варианте "Купца Калашникова", прорепетировал пару раз – и бросился к мосту. На стремнине тонкий декабрьский лед подломился, и Ханжонков ушел под воду... Спасло Александра Алексеевича, что крепкий был казак. С детства каждодневно упражнялся в джигитовке, брал призы по донской выезде, и воли ему было не занимать. Час он пробыл в воде, пока наконец Москва-река не вынесла изрезанное льдом тело на прочную залавругу.

Для Дранкова не существовал никто, только сам Дранков. Он интересно врал, без конца придумывал новые развлечения, никогда не ныл и презирал нежные чувст-

ва. Он всегда ставил только на выигрыш и шел до конца. Впервые он отказался от выигрыша на вокзале. Дранков сбежал от Верочки, не поехал в Петербург, и Распутин напрасно прождал Калашникову женку в роскошном номере "Англетера".

Ханжонков снял "Оборону Севастополя" уже на костылях.

А Верочка осталась работать на фабрике. Александр Алексеевич только попросил ее: "Не раскаивайтесь! Мне будет тяжело". Болезнь захватывала его постепенно, исподволь. Последний раз он передвигался самостоятельно во время торжественного открытия электротeatра на Тверской – того, что сейчас именуется "Домом Ханжонкова".

Странная перемена произошла и с Верочкой. Она смотрела на Александра Алексеевича и видела не калеку, а хорошего, бодрого, сильного, здорового, красивого мужчину. Она помнила его таким, и он был для нее таким.

Антонина Николаевна брала дело в свои руки. Кредиты давали Ханжонкову, в собрании принимали его, но фактически организатором становилась жена.

Дранков снял фильм о Соньке Золотой ручке, знаменитой авантюристке Софье Брукштейн, еще до ее этапа на Сахалинскую каторгу, и имел сногшибательный успех. Люди прочитали о процессе над Сонькой в газетах, а на следующий день увидели кино.

Ханжонков тоже не сдавался. Сидя в инвалидной коляске он придумал культ "звезд". Он первый стал делать "звезд". Он сделал Веру Холодную, Полонского, Мозжухина.

Дранков боролся за зрителя рекламами, "Петербургскими тайнами". Антонина Николаевна нанимала зазывал. Зазывалы хватили прохожих и чуть не силой затаскивали в кинотеатры. Антонина Николаевна снимала фильмы про жгучую любовь.

Однажды Верочка застала Антонину Николаевну с господином заурядной наружности. И была вынуждена уволиться. Отныне она могла смотреть на Александра Алексеевича только издали.

Прошло время, и Верочка расцвела, изменилась. И когда она случайно встретила Ханжонкова в инвалидной коляске на Тверской, он не узнал ее. Жизнь – не короткий

## Праздник у Ханжонкова.



романс "И капают горькие слезы из глаз на холодный песок". Но Верочка упорно отвергала ухаживания, прогоняла женихов и ждала чего-то. И любила Александра Алексеевича издали.

А Дранков воровал сценарии и переманивал "звезд". Но Вера Холодная ушла от Ханжонкова не из-за высоких гонораров Дранкова. Просто калека вдруг решил объясниться в бестелесной любви. Актриса посмеялась и ушла навсегда. И Александр Алексеевич понял для себя, что любовь — обман, выдумка и несправедливость; любовь играет с человеком без правил.

Другие "звезды" тоже начали показывать норы. "Душка" Полонский изводил придираками, требовал поклонения. Вдобавок он тоже перепутал жизнь и кино, напозак для Ханжонкова разыграл безумную страсть к Антонине Николаевне.

Финансовое положение фабрики ухудшалось. Война перекрыла поступление пленки и реактивов, многих специалистов призывали на фронт. Погиб Степка...

Дранков выкинул свой последний камуфлет – перекупил всех режиссеров и операторов Ханжонкова, и сам сделался банкротом. Александр Алексеевич попробовал вызвать обидчика на дуэль. Но революция сделала эту дуэль бессмысленной. Соперники замирились и вместе бежали от большевиков в Ялту.

Дранков бросил кино, открыл ресторанчик с шансоньетками, но без еды. А Ханжонков снимал "Натиск страсти" – Шаляпин согласился на роль!

Но фильма осталась неоконченной. Пришло известие о смерти Веры Холодной и Полонского. Бандиты убили любовника Антонины Николаевны.

Верочка нашла Ханжонкова, когда в Ялту уже вошли большевики. Дранков и Ханжонков с семьей бежали в Стамбул. А Верочка не попала на пароход – мелькнул в толпе на пристани короткий плисовый казакин.

Дранков организовал в Стамбуле тараканьи бега, прославившие его не меньше, чем первый русский фильм "Стенька Разин и персидская княжна". Как дальше сложилась его хлопотливая жизнь, не знает никто. Мы же в последний раз увидим его в тот момент, когда он по-прежнему считал свою жизнь прекрасной и безоблачной.

Ханжонковы уехали в Вену. Здесь Александр Алексеевич пробовал снимать кино, но быстро извел средства. Антонина Николаевна не могла ничем заниматься. Груз прошлого давил на обоих. Вскоре жена

умерла, и Александр Алексеевич остался без денег с детьми на руках.

Верочка раз за разом пробовала бежать на Запад, пробовала разыскать Ханжонкова, писала письма, приставала с расспросами даже к дипкурьерам. И вот случайно она узнает о смерти Антонины Николаевны и жестокой нищете...

Верочке удалось невероятное. Она просила у властей разрешение на въезд первого русского кинопромышленника в Советскую Россию. Луначарский даже устроил Ханжонкову восторженный прием, устроил на работу. Александр Алексеевич горячо взялся за дело. Но началась травля – новые люди не приняли его, подставили на какой-то мелкой афере. Состоялся скорый суд, Александр Алексеевич был лишен права голоса и выселен из столицы.

Скромную свадьбу Верочка и Александр Алексеевич сыграли в Ялте. Горчил калиновый кисель. И совсем не хотел Александр Алексеевич калечить Верочке жизнь, но... подставил руку калачиком и впервые поцеловал.

В проходной комнатке прожили они почти пятнадцать лет, до смерти. Ханжонков жил мучительно, временами ненавидел даже свой голос. Что еще оставалось?

Когда зимой пустела Ялта и страшно было смотреть на море Верочка спрашивала Александра Алексеевича: милосердна ли к ним судьба? Он всегда отвечал – нет. Она никогда с ним не соглашалась.



**А. Ханжонковъ и Ко.**

Из пяти публикуемых заявок приз жюри конкурса "Зеркало" и право на участие во втором туре завоевала только одна – "Первые на Луне" А. Гоноровского и Р. Ямалева. Остальные не вошли в число претендентов на первую премию. Тем не менее редакция считает их достойными внимания читателей нашего журнала и этой публикацией благодарит авторов за участие в конкурсе.

## ИВАН КИАСАШВИЛИ

# КАК В КИНО...

*Заявка на сценарий полнометражного  
и, может быть, художественного фильма*

**В** самом начале мая, когда распускается молодая зелень и начинают петь соловьи, на подмосковной даче встретились лидеры двух крупнейших преступных группировок. К этому времени раздел сфер влияния был завершен, собственность поделена, а конкуренты устранены, так что участники сходки, потихоньку превращавшиеся в уважаемых буржуа, больше всего на свете были заинтересованы в прекращении междоусобных распрей.

Почтив молчанием память павших бойцов, они приняли меморандум, кладущий конец многолетней вражде. В ознаменование этого события было предложено воздвигнуть храм или предпринять какую-нибудь иную высоко нравственную акцию. Стороны долго не могли прийти к соглашению, пока, наконец, самый уважаемый из авторитетов не предложил снять кино.



– Слышал я еще в первую ходку одну историю, "Ромео и Джульетта" называется... Там тоже типа того, что две группировки было, только давно еще, хрен знает когда... Враждовали они, конечно, сильно, мочили друг дружку почему зря... Ну и парень из одной команды полюбил, значит, девчонку из другой, да еще дочку пахана к

тому же... Ну и там такое началось – туши свет... Жизненная история...

Тут же выяснилось, что еще кто-то слышал об этом сюжете, а одного в детстве даже водили на балет, только он не помнит, чем дело кончилось. Кинематограф, как ни странно, в этой среде все еще по привычке уважали, к тому же приятно подкупала близость и понятность темы. На том и порешили – скинуться и снять "Ромео и Джульетту".

За расходами не стояли – опросили самых главных критиков и наняли лучших в стране сценариста и режиссера, пару лет назад чуть было не оторвавших Гран-при в Канне. Те сперва ворочали нос, но потом, захваченные грандиозностью проекта, согласились – и были отправлены в Италию писать сценарий прямо на месте, чтобы проникнуться тамошним духом.

По их возвращении было устроено обсуждение, хотя, собственно, никакого обсуждения не получилось.

– Да вы что, ребята?! – ужаснулся, прочитав сценарий, главный авторитет. – Это ж полный беспредел! Покойник на покойнике!.. Кому такое кино нужно?..

Остальные мрачно закивали – все уже устали от чернухи, хотелось искусства радостного, просветляющего душу.

– Мы же все сделали, как у Шекспира!.. – отбивались авторы, но заказчики были неумолимы: пусть погибает Тибальд и Меркуцио, ну еще Парис, хрен с ним – но главные герои должны остаться в живых!

Поартачившись, режиссер со сценаристом вынуждены были уступить – в конце концов они и раньше уступали, и почти всякий раз кажущееся поражение оборачивалось в итоге победой. Спро-

тивление среды, как известно, только закаляет художника...

Потом отбирали актеров и всё никак не могли прийти к единому мнению, пока не решили – пусть одна из сторон курирует все вопросы, связанные с Монтеки, а другая, соответственно, – с Капулетти. После этого дело пошло на лад.

Такое разделение, однако, породило и трудности – каждая из сторон ревновала режиссера к другой, считая, что он-де уделяет "тем" больше внимания и, вообще, "те" выглядят на экране как-то красивее. Тогда обе продюсерские группировки решили выделить уполномоченных, которые постоянно присутствовали бы на съемках и следили за расстановкой смысловых акцентов – а следовательно, за распределением симпатий будущих зрителей.

Новоявленные комиссары быстро вошли во вкус, начитались умных книжек и вскоре стали требовать еще и изобразительной уравновешенности – если в одной сцене в левой части кадра появлялся, скажем, представитель клана Монтеки, то в следующей сцене это место должно быть отдано кому-нибудь из Капулетти.

Но пуще всего они переживали за своих юных подопечных – Ромео и Джульетту. Исполнители главных ролей, как это нередко бывает, влюбились друг в друга, и, по взаимной договоренности сторон, к ним были приставлены не то телохранители, не то дуэньи – чтобы чего, не дай Бог, промеж них не вышло. И никакие ухищрения молодых людей не помогали – им ни разу не удалось остаться с глазу на глаз. Оттого, видно, и любовные сцены удались настолько, что даже выдавших виды киношников завораживала неподдельная искренность чувств, которую не заменишь никаким мастерством.

Профессионалы и циники, многие из которых пошли на картину только из-за высоких гонораров, они уже после первого материала всерьез увлеклись работой, увидев в этой экранной любви какое-то отчаяние обреченности, предощущение трагедии – хотя по сценарию все вроде бы и кончалось хорошо.

– Ох, что-то будет... Просто так это не кончится... – выходя из зала, глубоко вздох-



нул бригадир осветителей, выразив тем самым общее впечатление.

Надо сказать, что это несоответствие чувствовали и уполномоченные, но успокаивали своих – дескать, тем неожиданней будет финал.

Финал действительно был нетрадиционным – очнувшись в гробнице, Джульетта видела бездыханное тело Ромео и уже готовилась вонзить себе в сердце кинжал, как вдруг ее возлюбленный тоже оживал, и они падали друг другу в объятия, а вокруг бесновались от радости бесчисленные Монтеки и Капулетти...

Чем дальше шла работа, тем очевиднее становился масштаб будущего фильма – и тем большим уважением проникались к его создателям продюсеры. Теперь во время обсуждений они старались выбирать выражения, чтобы не задеть ненароком самолюбия художников – оплошавшим главный авторитет делал втык, а одного даже отлучил от просмотров, чем причинил смертельную обиду.

Да и между собой они уже общались по-другому – видно, причастность к высокому искусству и в самом деле облагора-



живает. Они стали одеваться проще и элегантнее, отдали свои толстые золотые цепи костюмерам, а уполномоченные даже сходили с женами в Консерваторию.

Таким образом, и в жизни, и на экране все шло к счастливому концу...

Заехав ранней весной в Москву, директор Каннского фестиваля посмотрел еще незаконченный фильм и был потрясен.

– Это новое слово в кино!.. – объявил он на весь мир и пригласил фильм в конкурс, наплевав на все отборочные комиссии.

И вот он пришел, следующий май – свидетель их триумфа...

В Канны приехала вся группа, включая комбинаторов, всего-навсего снимавших титры. Продюсеры тоже были представлены широко – с каждой стороны человек по двадцать. Смокинги, ослепительные улыбки, полные достоинства лица – здесь было не отличить режиссера от помощника декоратора, а шестерку – от авторитета. Все они были – одна семья.

Фильм, показанный в последний день фестиваля, произвел ошеломляющее впечатление на всех – от рафинированных критиков до рядовых зрителей. Первые увидели в хэппи-энде гениальный постмодернистский кунштюк, а вторые – те были просто рады, что полюбившиеся им юноша и девушка остались жить, несмотря на все козни судьбы. И все вместе, вскочив на ноги, устроили овацию, едва потух экран. Даже члены жюри не могли скрыть своих чувств – так что судьба Главного приза была заранее решена, и, не дожидаясь завтрашнего объявления итогов, наши закатили грандиозный банкет.

Они гуляли всю ночь, еще крепче прежнего объединенные радостью

общей победы – и в этой счастливой суматохе молодым удалось, наконец, сбегать. Взявшись за руки, они побрели куда глаза глядят, а потом, сняв крохотный номер в захудалом окраинном мотеле, любил друг друга исступленно и жарко. А наутро вернулись к своим, осунувшиеся и обугленные, и чтобы смотреть на них, впопору было надевать темные очки – так нестерпимо было идущее от обоих сияние...

А потом был переполненный зал, скандирующий их имена, и режиссеру вручили Гран-при, и толпа ликующих победителей вывалила на знаменитую каннскую лестницу. Все обнимались, по очереди качали друг друга, передавали из рук в руки драгоценную "Пальмовую ветвь"...

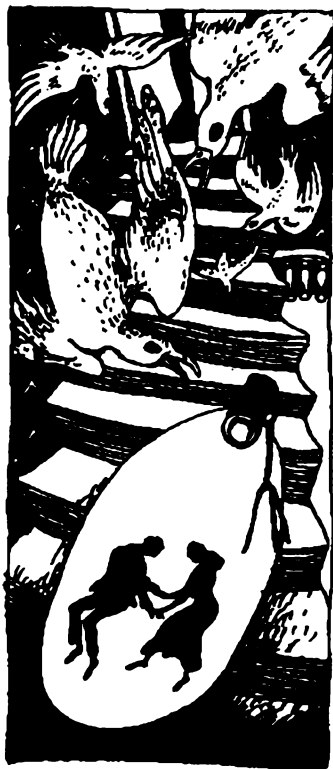
Но статуэтка-то, увы, была всего одна, и продюсеры затеяли шуточный спор – которая из сторон более достойна ее. А шутики порой могут завести далеко: слово за

слово, спор становился все серьезнее – и напряживались под смокингами накачаные мускулы, багровели крепкие шеи, сползали с лиц улыбки. И вот уже выхвачены автоматы, и свинцовые струи гуляют по набережной Круазетт – под восхищенные крики французов, принявших перестрелку за часть праздничного русского шоу.

А когда на опустевшей лестнице остались лежать Ромео и Джульетта, толпа пришла в полный восторг и снова принялась скандировать их имена – но на этот раз они не поднялись. Они лежали, взявшись за руки, и счастливые улыбки застыли на их губах – они были вместе, теперь уже навсегда.

И тогда наступила тишина, и выпали из рук стрелявших автоматы, и только слышно было, как тоскиво кричат над морем чайки.

Потому что, как ни кинь, нет повести печальнее на свете, чем... Ну, вы и сами знаете.



Рисунки В.Тимофеевой

**КОНЕЦ**

ЕЛЕНА ЛОБАЧЕВСКАЯ

# Зверев

*"Искусство – это артистизм".*

Анатолий Зверев

– Ты представляешь, детуля, приводит меня Васька к себе в мастерскую, а там и вправду две француженки сидят. Васька на них рукой показывает, жест такой делает благородный... Ой, е-мое, как больно!.. – рассказчик сует разбитую руку под холодную воду, – и говорит: "Зверь, выбирай любую. Я женюсь на той, что останется". А они, детули, улыбаются так приветливо. Я молчу. А Васька напирает: "Бери любую, тут думать нечего – будешь жить в Париже, в человеческих условиях. У тебя особняк будет, слуги будут, личный психиатр..." Психиатр?! У-у! Я вам покажу – психиатр!.. "Ну врач, доктор просто личный, не кипятись. Ты будешь себе рисовать, а агенты... у тебя будут агенты, которые будут продавать твои картины! Будут адвокаты, счет в банке... Ты же миллионером будешь! Не трепи мне нервы – выбирай быстро, кому говорю! – ванная тесна ему – крупному, мешковатому, изображающему всю сцену в лицах, одновременно пытаюсь смыть кровь с лица и продезинфицировать разбитые руки.

– Дай-ка еще чистое полотенце, детуля. Оп-па!.. Француженки улыбаются, кивают, лопочут что-то. А я молчу. Тогда Васька сам одну из них за руку хватает и швыряет мне – ту, что лучше. Я попятился и говорю: "Не-е. Я не могу". "Почему?!" – он, как мент, в упор мне в глаза смотрит. "Спасибо, Вася, но я не могу. На кого же я Старуху оставлю? Я Старуху бросить не могу". "Ну, что ж, Зверев... Только запомни сейчас как следует мои слова: ты здесь подохнешь, подохнешь, как бездомный пес! Тебя здесь убьют. И уби-



Автопортрет

вать будут не как-нибудь элегантно, а грязно, на помойке, ногами. И когда тебя ногами будут бить, ты вспомни, что Вася тебе искренне хотел помочь. Запомни – ногами!..” И точно, они именно ногами бьют. Я правую руку всегда прячу, а они норовят на нее наступить... Слава Богу, кажется, не сломали... Я Старуху оставить не могу. Как же она без меня, детуля?!

“Детуль” и “старух” было много – все особы женского пола в московских интеллигентских и полубогемных домах, где “перекантовывался” вечно бездомный Зверев. Но Старуха была одна – единственная и неповторимая. Прекрасная Дама, которой поклонялся, которую страстно любил Художник на протяжении долгих лет – с момента их встречи в конце шестидесятых до ее смерти в начале восьмидесятых. А вскоре, в семьдесят шестом году, умер и он сам.

История этой любви – Художника и Старухи – и должна стать фабулой сценария.

Художник – Анатолий Зверев – звезда Второго русского авангарда, великий русский юродивый и великий русский Артист.



Портрет Оксаны Михайловны Асеевой

черной бородой, сказал своему спутнику, выделяющемуся в толпе странностью облачения, многослойными одеждами разных размеров – явно с чужого плеча:

– Я знаю, Зверь, куда мы двинем! К сестрам Синяковым!

– Синь-оковы, – расчленил по привычке слово Зверев. – Вроде была такая художница в начале века...

– Ну! И сестра у нее есть – Оксана Михайловна. Эти сестрички в Харькове в пятнадцатом, кажется, году такой шухер навели! Организовали общество “Долой стыд!” Две офигительные красавицы расхаживали голыми по центральной улице города!..

Старуха – Оксана Михайловна Асеева, в девичестве Синякова – “звезда” Первого русского авангарда. Голубоглазым красавицам сестрам Синяковым посвящал стихи Хлебников. Поэма “Синие оковы” была написана в двадцать втором году:

*Ведь Синь и Голь  
В веках дружат...*

Как в воду глядел, словно предвидел председатель Земшара встречу одной из сестер с гениальным голодранцем Зверевым.

Круг ее молодости – лучшие художники и поэты Серебряного века русской культуры. А потом? Опять по Хлебникову:

*Случалось вам лежать в печи  
Дровами  
Для непришедших поколений?*

В конце шестидесятых по улице Горького по направлению к Центральному телеграфу прогуливались два голодранца, обсуждая, к кому бы зайти, чтобы выпить и закусить. Один из них с лицом, будто вылепленным в эпоху Возрождения, обрамленным

– Они еще живы? – поинтересовался Зверев.

Стол был красив и изыскан – прекрасная старинная посуда, водку перелили в хрустальный штоф с серебряным горлышком. На стенах – хорошая живопись в роскошных рамах.

– Димочка, какие рюмки вы предпочитаете?..

– Да-да, Толечка, вы совершенно правы, это блюдо расписывал Петров-Водкин...

– Вы так неожиданно!.. Простите великодушно, мы не успели как следует подготовиться к вашему визиту... Буквально пять минут!..

И исчезают в соседней комнате.

Художники успевают выпить по рюмке, и в гостиной появляются принаряженные хозяйки дома. Оксана Михайловна накинула на плечи боа, Мария Михайловна в расписной шали с кистями. Они несут китайскую ширму с павлинами, какие-то яркие ткани... Достают шкатулки и ларцы... И устраивают для своих гостей маскарад.

Зверев, прищурился одним глазом, наблюдает за Оксаной Михайловной.

– Старуха! Я тебя люблю, – провозглашает он спустя несколько минут этого необыкновенного действия.

На следующий день он спешил в этот дом уже один: А ревность к Диме Плавинскому, обида за то, что тот узнал Старуху раньше его, осталась навсегда.

Портретирование. Это целый ритуал! Прищур, голова, склоненная набок...

– Улыбочку!

И атака! Резкие, сильные мазки. И, чтоб не скучал портретируемый, шутки, прибаутки. Пританцовывает, подпрыгивает. В глазах – азарт! Представление почище маскарада сестер Синяковых.

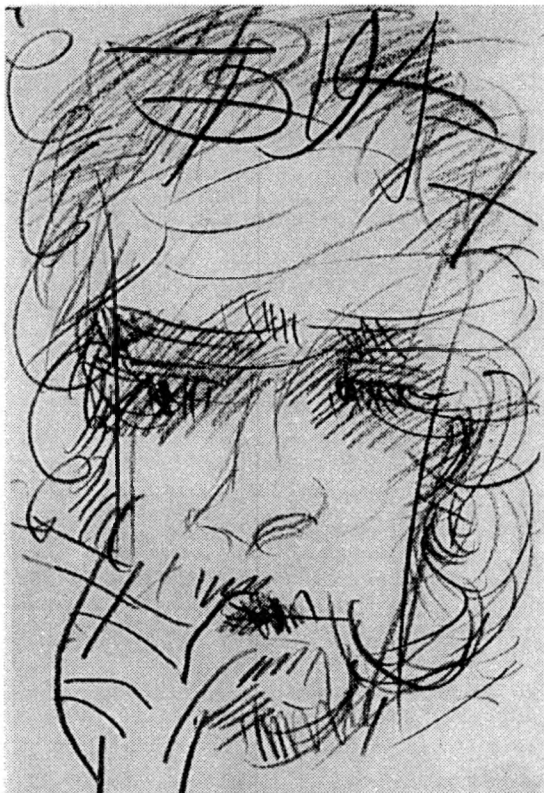
И у Оксаны Михайловны глаза горят. В доме Художник!

А на портрете – Старуха молодая.

И на всех многочисленных ее портретах, написанных Зверевым, старухи нет – есть Женщина – всегда разная – властная, кокетливая, надменная, веселая, но никогда – старая.

Он приходит к ней пьяный, избитый "реалистами" (собратьями-художниками), норовящими сломать правую руку; ограбленный и опять-таки избитый милиционерами, с той же маниакальностью стремящимися перебить именно правую руку. Он приходит в ее красивый дом измученный, грязный, ободранный... А иногда – о чудо! – гонорар за портретирование не отняли по дороге – с бутылкой хорошего коньяка и с цветами.

А в роскошных рамах теперь другие картины – зверевские, и даже в золотой овальной – портрет его работы. В этом доме он здорово потеснил своих собратьев начала века. Старуха гордится им. Жизнь снова вернулась в ее дом. Жизнь как факт искусства. Только такую жизнь она признавала и любила.



Портрет Игоря Пальмина

Многочисленные приживалки, окружившие ее после смерти сестры и ждущие ее наследства, в панике. "Он алкоголик. Опустившийся тип. Он под колпаком у органов. Ведь он рисует жен дипломатов, они ему этого не простят. Вы не должны пускать его на порог. Он убьет вас!"

Но она тверда: "Он – Художник".

Зверев бешено ревнует Старуху ко всем – к живым и мертвым, но более всех – к Хлебникову, которого считает наипервейшим поэтом. И сам начинает писать стихи, соревнуясь с ним. И появляется новая иерархия: "Первый – Лермонтов, второй – Хлебников, третий – я!" Но Лермонтов и Хлебников, конечно, просто вежливость, неудобно ставить самого себя на первое место.

Прохожие на весенней московской улице середины семидесятых оборачиваются на странную пару – аккуратную старушку, мелко семенящую под руку со щекастым, обросшим щетиной типом в женской кофте, из-под которой торчит рубаха, в огромных чудовищных ботах. Он подлаживается под медленный маленький шаг своей спутницы, ведет ее заботливо и бережно. Лица у обоих

умиротворенные и счастливые. Он развлекает ее болтовней о шашечных баталиях (он отлично играет в шашки) и футбольных кумирах, он мечтает отправиться с ней в путешествие, ведь дальше Тарусы он из Москвы никогда не уезжал. Можно съездить в Ленинград... А почему бы и нет? Надо только получить хороший гонорар за портретирование. Если она сопровождает его на сеанс увековечивания, то удастся донести до дому гонорар в целостности-сохранности...



Женский портрет

Не больно изящное, но задорное па – поворот на одной ноге на триста шестьдесят градусов, взмах руки и точный мазок кисти. Довольная кошачья ухмылка. Позирующая дамочка снисходительно улыбается в ответ.

Старуха наблюдает за представлением со стороны. Недовольно хмурится,

когда хозяин дома подносит во время рисования Толечке рюмку водки. Тот весело опрокидывает ее, подмигивает Старухе и продолжает писать портрет.

За шутками и рифмоплетством время пролетает незаметно. И вот уже на блестящем паркете лежат четыре портрета. Работа удалась. Хозяйке дома портреты нравятся – и она и ее милое чадо так прелестны! Но отец семейства озабочен – ведь пришло время платить гонорар.

В конце концов этот Зверь нарисовал эти картины за каких-то полтора часа, ему ведь это ничего не стоило – пританцовывал, напевал, а я за эти деньги... И начинается:

– Вы понимаете, Анатолий, у нас некоторые материальные трудности. Мне эти проклятые деньги не так-то просто даются. К тому же семья, дом, дача, машина – все это тянет и тянет, а где брать?..

– Да, картины собирают богатые, – хитро щурится Зверев. Вот я – бедный, так у меня ни одной картины нет.

– Быть может, в следующий раз я смогу заплатить... А пока еще рюмочку?..

Художник и Старуха покидают богато обставленный, теплый и благополучный дом ни с чем. И оказываются под дождем на вечерней улице. К Старухе путь закрыт – там бдительные "ведьмы-приживалки", а у Зверева дома нет. Его квартира в Свиблово

называется Гиблово, туда он не ходок. “Я там помру”, – утверждает он. Нужны двушки, чтобы набирать и набирать знакомый список телефонов – кто пустит переночевать, а ведь у всех дела, но один обязательно найдется, один обязательно скажет: “Давай, Зверь, приезжай”.

– Толечка, а какая ваша самая большая мечта?

– Чтобы у меня была большая бочка. Эта бочка стояла бы на огромном базаре. А я стоял бы рядом. Бочка должна быть очень большая, чтобы лист ватмана помещался большой и картон. Ко мне подходили бы люди и заказывали бы мне свои портреты. Я бы рисовал. А они клали бы на мою бочку деньги. Рубли, трешки, пятерки, десятки!

– Толечка, а вам же полагается пенсия, по инвалидности. Может, ее получить?

– Нет, детуля. Я у этого государства никогда копейки не взял и не возьму. Я – квартирный художник. Я человеку картинку нарисую, и он мне заплатит. А от них мне ничего не надо.

Взаимоотношения с государством были определены раз и навсегда. Не было ни сомнений, ни размышлений на столь волнующие всех в те годы социальные и политические темы. Он изначально, словно от рождения знал: государство варварское, и ничего общего со всем этим безобразием иметь нельзя. Так что искания и надежды советской интеллигенции были ему абсолютно чужды. То что уроды и бандиты – все, от Ленина до нынешних, было для него простым очевидным фактом, не достойным бурных дискуссий.



Портрет Полины Лобачевской

Тарелки и рюмки, поданные ему в малознакомых домах, отправлялся собственноручно перемывать с мылом и очень внимательно относился к еде – боялся, что отравят.

– Толечка, кто же вас собирается отравить?

– Они...

Когда Старуха выбирала ему костюм, в котором он должен был появиться на выставке на Малой Грузинской, сбежались продавцы большого универмага и собралась толпа зевак. В костюмах она знала толк. Но ни один, ни один не подходил ему по размеру и не соответствовал ее представлениям о прекрасном.

– Старуха, а какая твоя самая большая мечта?

– Самая большая мечта?.. Дайте подумать... Ой, представляете, все мои мечты уже исполнились!

– Алло-привет, детуля, у тебя пять рублей есть?.. а три?.. а рубль?.. а бутылки? Я найду? А то Старуха болеет, а эти ведьмы меня к ней не пускают. Я вчера дверь высидел – они милицию вызвали... Теперь запоров наставили...

Летом восьмидесятого, когда Москву по случаю Олимпиады очищали от подозрительных личностей, Зверев скрывался на даче у знакомых детуль, старух и стариков, в том же поселке, где была дача Оксаны Михайловны. У нее он жить не мог из-за происков "проклятых ведьм". Он вставал каждый день в шесть утра и рисовал картины на пинг-понговом столе. Так многое надо было увековечить – и куст дикой розы, и гигантские сосны, и потемневшую от времени деревянную дачу, и соседского пса, забежавшего на участок, и живописные остатки вчерашней вечеринки. И еще сочинилось стихотворение, и еще одно, надо сбежать на террасу за толстой тетрадкой и записать, а потом прочесть Старухе:

*...Живописец пишет на природе,  
Пишет, потому что он поэт.*

А к полудню просыпаются хозяева дачи, и к ним начинают тянутся гости, их тоже надо увековечить. Потом, если у кого-нибудь найдется время, хорошо бы поиграть в шашки... И в футбол. Еще очень хочется увидеть Старуху, показать ей новые картины.

Может, удастся привести ее сюда...



Дачный вернисаж! Картины разбросаны по полу, стоят на стульях, лежат на кровати.

– Давайте играть в оценочную комиссию! – предлагает детуля. – Толечка, сколько стоит эта картина?

– Триста. Но можете отдать за пятьдесят.

– А этот портрет?

– Тысячу. Будут брать – продадим за сто.

– А "Памяти вчерашней вечеринки"?

– Один миллион двес-

ти сорок три тысячи рублей шестьдесят три копейки. Не вздумайте уступить!

– А этот натюрморт?

Зверев морщится:

– Двадцать рублей. Но надо просить двести.

Зверев смеется. Он обожает игру, обожает доброжелательное общество и внимание к себе.

– А какова цена этому портрету? – спрашивает сидящая в уютном кресле Оксана Михайловна, показывая на свой портрет.

– Бесценен, – со знанием дела отвечает Зверев.

Это было их последнее лето.

Дорога круто спускалась к реке. Художник нес Старуху на руках.

Дойдя до тропинки у реки, осторожно поставил ее на землю.

Солнце медленно заходило за горизонт. Старуха медленно шла, опираясь на руку Зверева. Она рассказывала ему историю о Велимире Хлебникове:

"У него было мало друзей, но Александр был действительно его близким другом. Особенно сблизило их это последнее длительное странствие. Они шли по степи, и внезапно у Александра начался жар, идти ему становилось все труднее, и им пришлось остановиться на ночлег прямо в степи. Хлебников укутал его пледом, лег рядом, поло-



жив под голову наволочку, в которой носил свои стихи. Витюша искренне сочувствовал другу, рассказывал замечательные истории, убаюкивал его.

И, наконец, он уснул. Проснулся Александр на рассвете. Его трясла лихорадка. И, вообразите себе, Толечка, его ужас, когда он увидел, что его ближайший друг Хлебников, перекинув через плечо наволочку, набитую стихами, удаляется прочь от него. "Виктор, куда вы?! – закричал он. – Неужели вы бросите меня одного помирать в степи?! Останитесь! Я же подохну здесь!" Витюша, не замедляя шаг, бросил через плечо: "Степь отпоет". И пошел дальше. Своей дорогой."

Старуха отпустила руку Художника. И он в задумчивости шел дальше. Она смотрела ему вслед. Художник обернулся.

– Ты чего это, Старуха?.. Ты у меня смотри!.. Витюша! Хлебников! Я тебя люблю. Я – Зверев! Я тебе стихотворение написал, слушай, "Посвящается О. М.", тебе, Оксане Михайловне...

Зверев "портретировал" и "увековечивал" до последнего дня своей жизни. В свой последний вечер он оказался в шумной, пьяной молодежной компании малознакомых ему людей.

– Нарисуй ее, – подтолкнул к Художнику развеселую пышногрудую девицу молодой человек.

Девица скинула майку и осталась голой.

Зверев принялся за работу.

Когда портрет был готов, парень возмутился:

– А где же сиськи?

– Не поместились, – развел руками Художник.

Молодежь веселилась. Зверев, хоть и был усталым, изо всех сил старался развлекать публику. Было поздно, но ночевать в этом

доме его оставлять не собирались. Он принялся набирать знакомые телефонные номера, но безуспешно. Он в сердцах швырнул трубку и поспешил прочь из этого сумасшедшего, чужого дома.

Оказавшись дома на темной улице, он обнаружил, что карманы его пусты и воспользоваться своим любимым видом транспорта – такси – он не может.

Он ехал в малолюдном вагоне метро, что-то бормотал себе под нос, чему-то усмехался.

– Станция "Свиблово", – громко объявил женский голос.

– Гиблово, – удивленно повторил Художник, глядя на раскрывающиеся двери вагона.

– Следующая станция...

– Гиблово, Гиблово – значит Гиблово, – пробурчал Художник и вышел из вагона.



**В публикации использованы работы Анатолия Зверева.  
Фото Игоря Пальмина.**

**АЛЕКСАНДР ГОНОРОВСКИЙ  
РАМИЛЬ ЯМАЛЕЕВ**

# *Первые на Луне*

Это история о полете советского человека  
на Луну в конце тридцатых годов.

*"Империй призрачных орлы..."*

*Чили. 1992 год. Лето.*

Кордильеры. Перевал.

**Крестьянин** (указывает путь съёмочной группе, говорит, глядя в объектив). Я спускался с перевала... Вот здесь моя лошадь испугалась змеи... Сильно дернула... И я упал... (Указывает рукой на заросший деревьями склон.)

Съёмочная группа пробирается вниз по склону. Крестьянин идет впереди.

**Крестьянин.** Сильно ушиб спину и поначалу ничего не увидел... Только потом... (Крестьянин перебрался через поваленный ствол, помог оператору.) Эта штукавина похожа на орган в заброшенном костеле в Винья-дель-Мар... Наш пехотный полк два месяца стоял в этом городе... Большой город... (После паузы, качает головой.) А ведь всю жизнь по этой дороге ежжу...

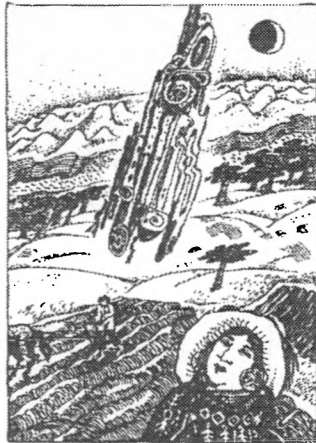
Среди деревьев, вросшая в землю, опутанная лианами, лежит черная оплавленная конструкция. Она действительно чем-то похожа на гигантский покореженный орган. Замешательство в съёмочной группе. Говорят все вместе. Кто-то лезет наверх, срывает лианы.

**АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** (переданные сотрудниками чилийского МИД специальной комиссии Лиги наций, созданной в связи с падением гигантского метеорита "Сантьяго" в 1938 году).

**ХРОНИКА.** Чили. Поле. Женщина-крестьянка пашет землю. Земля дрожит. Женщина останавливается, поднимает голову, смотрит в небо, что-то кричит оператору, показывает рукой вверх. (Оператор пытается поднять объектив камеры как можно выше — изображение колеблется, видны облака, верхушки гор, яркое свечение над горизонтом.)

**ФОТОДОКУМЕНТЫ.** Упавшие деревья. Полуразрушенный дом. Забытая камнями горная дорога.

**ЗАПИСЬ РАССКАЗА ОЧЕВИДЦА** (испанская речь звучит параллельно хронике): Земля задрожала. Я подумала о буре. Но не было ветра... А камень с неба летел высоко... И медленно... Он грохотал. Он летел с запада на восток и должен был врезаться в горы. Но вдруг взорвался... Я не успела испугаться... А потом пришел ветер, и мне стало страшно.



## *Россия. Наши дни.*

Свидетели. Они говорят, глядя в объектив кинокамеры. Каждому – не меньше восьмидесяти. События, участниками которых они были, произошли очень давно. В тридцатые годы...

**Первый свидетель** (он лилипут). Я все помню лучше других. А его впервые увидел в сорок шестом. Он пришел к нам в цирк после госпиталя... (Улыбается.) Говорил, что после госпиталя... О Рошине спрашивал... (Пауза.) Только не показывайте виду, что не верите, а то ничего не скажу. (Закуривает "Беломор". Его движения уверенны, руки не дрожат.) Да и вообще, такая болтовня раньше могла кончиться дурдомом.

**Второй свидетель** (Он без руки. Сидит на лавочке перед подъездом многоэтажного дома). Она была выше этого дома, а сейчас мне кажется, что и толще. Когда я увидел ее впервые, то подумал о пирамидах. Знаете, так и подумал: "Неплохая могила для фараонов".

**Третий свидетель** (Он посажен в постели. Домашние надевают на него пиджак, поправляют за спиной жесткие подушки, отходят. Он смотрит в камеру, глаза его смеются). Ну как, готовы?.. Можно говорить?.. Если матернусь – вырежьте. (Прокашливается.) Значит так... Не было ничего... Все это глупости и бред старых маразматиков... (В упор смотрит в камеру, после паузы.) Повторяю – старых маразматиков...

**Свидетельница** (Она в белом халате и шапочке. Сидит на фоне крашеной больничной стены). Это я написала вам письмо...



**ХРОНИКА:** *Время первых пятилеток. Великие стройки. Трудовой энтузиазм. Люди. Согнутые спины. Лопаты. Улыбки. По тайге идут геологи, открывают новые месторождения.*

*Инженер указывает рукой в голую степь.*

**ТИТРЫ:** РЕКА ПОТЕЧЕТ ТАК!

*Константин Эдуардович Циолковский получает значок активиста от Осоавиахима. Старый опыт Константина Эдуардовича: испытание цыплят на специальной центрифуге с пятикратным увеличением веса.*

**ТИТРЫ:** ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ НОВОГО СКОРОСТНОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ.

*Летчик-испытатель (наш герой) садится в самолет. Взлет.*

*Братья Васильевы. Актер Бабочкин, исполнитель роли Чапаева, выступает перед строителями Пермского карбидного завода.*

*Наш герой в кабине самолета. Земля, вращаясь, стремительно приближается. Самолет быстро теряет высоту.*

*Пункт управления полетами на Земле. Руководитель полетов что-то кричит в микрофон.*

**ТИТРЫ:** ЛЕТЧИКУ ИВАНУ ХАРЛАМОВУ ПРИКАЗАНО ПОКИНУТЬ САМОЛЕТ.

*Самолет продолжает падать. Летчик тянет штурвал на себя изо всех сил. Машину трясет.*

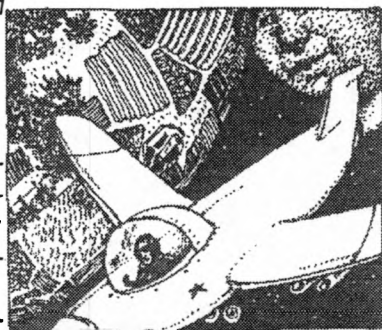
**ТИТРЫ:** ПРИКАЗЫВАЮ ПРЫГАТЬ!

*Самолет не слушается штурвала.*

**ТИТРЫ:** ПРЫГАТЬ!

*У самой земли машина вдруг резко выходит из пике. Шасси от удара о землю отлетают. Машина на брюхе проносится поперек взлетно-посадочной полосы. Удар о стенку ангара. Отлетают крылья. Фюзеляж переворачивается кабиной вниз.*

*Летчика извлекают из-под обломков, укладывают на но-*



*силки. Он жив, но повредил ногу. Отмахивается от врачей. Увидев кинокамеру, широко улыбается, поднимает вверх большой палец правой руки.*

**ТИТРЫ: ИВАН ХАРЛАМОВ ГОВОРIT: "ХОРОШАЯ МАШИНА".**

**Свидетельница.** Кроме меня у него было еще две женщины. Одна стахановка-швея (улыбается), тогда это входило в моду. Имени не помню... Нет не помню... А вторая – Надя Светлая, медсестра из группы подготовки полета... Она недавно умерла. Три года уже...

Так начнется фильм.

Мало кто знает, что на Луне первыми побывали русские. Побывали еще во времена первых пятилеток в тридцатые годы...

Свидетели расскажут об этом.

Они покажут место первого космодрома. Современные раскопки подтвердят их рассказ.

Это почти документальная история о том, как готовился полет, о человеке, который стал первым космонавтом. О его жизни до и после полета. О том, какие фантастические проекты разрабатывались в секретных лабораториях СССР. О попытках человека в XX веке слиться с машиной. Слиться в самом прямом смысле этого слова.

**ХРОНИКА: Время первых пятилеток. Нижнетагильский металлургический завод.**

**ТИТРЫ: КУЗНЕЦ ВАДИМ ПИМЕНОВ ИДЕТ НА РЕКОРД!**

*Цех. Бритый рабочий стоит у пресса. Потная спина. Дрожание стрелок на циферблатах пульта. Тяжелый пресс штампует вагонные колеса.*

**ТИТРЫ: ВТОРАЯ СМЕНА. ПИМЕНОВ РАБОТАЕТ БЕЗ ПЕРЕРЫВА.**

*Лицо рабочего (крупный план).*

**ТИТРЫ: ТРЕТЬЯ СМЕНА. ПИМЕНОВ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ.**

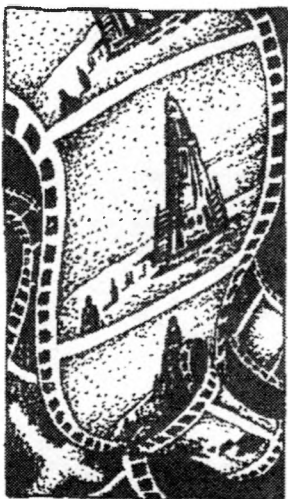
*Кузнец ест не отходя от пресса.*

**ТИТРЫ: ЕСТЬ РЕКОРД!**

*Пименов кричит на мастера. Пресс сломан, дымит. Пожар пытаются потушить.*

**ТИТРЫ: ПИМЕНОВ ГОВОРIT: "Я ЕЩЕ СМЕНУ МОГУ! Я ЕЩЕ СМЕНУ ДОЛЖЕН..."**

Полет на Луну осуществлялся на ракете, по величине своей сравнимой разве что с египетскими пирамидами. Это циклопическое сооружение действительно было верхом инженерной и научной мысли тех лет.



Конечно, все происходило в обстановке строжайшей секретности, и только теперь мы можем поговорить об этом осуществленном проекте.

Почему же до сих пор скрывалось это достижение?

Дело в том, что техника не могла быть такой надежной, а расчеты точными. Достаточно сказать: жилой отсек был настолько мал, что космонавту во время полета почти невозможно было двинуться. Еще при старте ракета потеряла часть обшивки и наружных приборов. Лязг и грохот срываемого железа был слышен даже на командном пункте. А через двенадцать минут полета связь с кораблем оборвалась.

**КОРАБЛЬ ИСЧЕЗ.**

Астрономы не нашли его в предполагаемом секторе неба.

Конструктор Супрун, узнав об этом, убежал, скрылся от КГБ. Следы его были обнаружены в Италии только через двадцать девять лет. (К тому времени у него было свое бакалейное дело и несколько магазинов.) Только теперь становится ясным, за чем за непримечательным итальянским бакалейщиком в сере-

дине 80-х следило КГБ. Следило тщательно, вплоть до его смерти в 1989 году. Проводившие наблюдение агенты так и не узнали, зачем они это делали. Сохранившиеся материалы слежки (видеозапись, аудиокассеты с разговорами по телефону, даже съемка последнего смертного часа Супруна) – ничто не говорило о том, что этот человек был когда-то конструктором первой космической ракеты.

Советский Союз вынужден был скрывать это “достижение”...

Судьбы первого космонавта России и участников этого проекта – основная тема фильма.

Кадры кинохроники, не вошедшие ни в один киножурнал тех лет. Немая съемка. Первые звуковые опыты в документальном кино. Отрывки из заранее отснятого и впоследствии почти полностью уничтоженного фильма о первом космонавте. Рабочий материал игрового, так и не завершеного, фильма о судьбе Ивана Варламова (вплоть до кинопроб актеров и эскизов костюмов), производства 1993 года (проект не был доведен до конца из-за нехватки денег).

Служебная съемка: строгий отбор, подготовка претендентов к полету, создание уникальной космической ракеты. Известно, что серьезно прорабатывался вопрос о полете на Луну лилипута (одна из предполагаемых кандидатур – заслуженный артист республики, канатоходец и жонглер Тамбовского цирка лилипутов Илья Рошин), так как воздуха и питания для поддержания жизнедеятельности обыкновенного человека могло не хватить.

Сохранились некоторые медицинские карточки группы претендентов (кардиограммы, рентгеновские снимки грудной клетки, кишечника, костей, показания силомера и т. п.).

Что же случилось с космонавтом? Достиг ли он Луны?

Рассказы свидетелей совпадать не будут. Тяжело узнать истину, когда событие уже успело стать мифом... Да и вообще – существовал ли на самом деле Иван Харламов? Оставил он хоть какие-нибудь следы на этой земле?

С момента старта прошло полтора года, когда вдруг во время боев возле озера Хасан был обнаружен человек. Он утверждал, что был на Луне. Прошло немало времени с тех пор, как он приземлился в незапланированном районе (побережье Чили) и добрался до Родины (через острова Полинезии и Китая). Сначала его даже посчитали дезертиром, так как он не принимал участия в боевых действиях, а просто шел куда-то на север, пересекая район базирования войск. Однако в списках воинских частей он обнаружен не был. Несколько дней его допрашивали “особисты”. Харламов четко отвечал на все вопросы, называл фамилии участников проекта и даже координаты упавшего спускаемого аппарата. (Часть материалов допроса недавно найдена в архиве ФСК.)

Ивану не поверили.

И только в наше время, когда в Чили были случайно обнаружены останки спускаемого аппарата, об этой истории вспоминают вновь. Именно в Чили в конце тридцатых годов жители побережья видели в небе грохочущий светящийся объект. На глазах у наблюдавших он взорвался и распался надвое. Тогда считалось, что это был метеорит.

“Космонавта” признали сумасшедшим и отправили в специальную психиатрическую лечебницу в Чите. Там он впервые увидел нашу Свидетельницу. Она полюбила его, хотя не верила в рассказ о полете. Считала сумасшедшим.

Несколько раз Иван пытался бежать. Его ловили. Он хотел добраться до Москвы, доказать свою правоту. Через Свидетельницу он передавал письма в Москву, но та не отправляла их...

Харламову удается бежать, присвоив чужие документы.

Его начинают усиленно разыскивать органы НКВД (сохранились протоколы допросов главного врача и медперсонала лечебницы). На допросах Свидетельница ничего не рассказала о письмах Харламова. После следствия она неожиданно берет отпуск и уезжает в Москву. По адресам на письмах она надеялась разыскать след Харламова, но ни одного адресата (друг, сослуживец, спецлаборатория, КБ и т. д.) она не находит. Даже в списках Военно-научного общества Академии воздушного флота (ныне Военно-воздушная инженерная академия им. Н. Е. Жуковского) не было его фамилии.

Так и не найдя Ивана, Свидетельница вышла замуж за полярника, который впоследствии стал одним из начальников Главсевморпути.

И только в 1992 году на глаза ей попала заметка о находке в Чили...



Рисунки В.Тимофеевой

Где же Харламов? Жив ли он?

Точно ответить на этот вопрос так и не удалось.

Но в 1946 году в Тамбовском цирке лилипутов начал работать человек, очень похожий на Ивана Харламова... Его сценический псевдоним был Гулливер.

Сохранилось несколько записей цирковых программ того времени, отснятых местными хроникерами. В одной из них Гулливер во время "парада алле" выносил к зрителям на себе всю труппу. За лилипутами его почти не было видно. Под бравадный цирковой марш и аплодисменты он медленно обходил арену и скрывался за кулисами.

Свидетели рассказывают, что это был очень сильный человек. Появился странно и ушел неожиданно. Это случилось как раз в то время, когда в космос Королевым были запущены две собаки – Белка и Стрелка. Больше о нем никто не слышал...

Следы Харламова вновь стали искать зимой 1993 года. И поиски ведутся до сих пор. Жаль, если он будет потерян, как теряется многое на нашей земле...

В финале фильма будут показаны уникальные кадры (найденные в Чили), отснятые Иваном Харламовым во время полета и высадки на Луну. Тесный жилой отсек, где космонавт практически без движения просидел весь полет. Пустое звездное небо. Чернота лунных кратеров. Первые шаги человека по морю Спокойствия. Установка специального металлического флага нашей Родины... И это не будет издевкой.

Человек. На Луне. Один.

Этот ретро-фантастический фильм не о сталинских репрессиях, не об ужасах того времени, а прежде всего о великой эпохе и великих замыслах. О

том, что прошло время строительства "пирамид". О том, почему мы строили эти "пирамиды", а фараонами не стали... О грусти по великому...

Нас не оставляет ощущение разрушения современных мифов. Они не могут вырасти и окрепнуть не имея надежной опоры в душах людей. Это не сиюминутный процесс, связанный с сегодняшними переменами. На Руси, может быть, он длится более тысячи лет. А чем все это кончится?..

Мы не знаем...

Мы всего лишь пытаемся исследовать этот процесс. И на большее не претендуем.

Производство данного фильма, не прибегающего к сложным спецэффектам, использующего хроникальные материалы, потребует относительно малых затрат. Постановочную съемку зачастую придется осуществлять на недорогую черно-белую пленку, стилизуя под документ.

АЛЕКСАНДР ДЕДКОВ  
АЛЕКСАНДР ХВАН

# ПОЕЗД

киноновелла из альманаха  
"ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА"

Титр с названием фильма на фоне люмьеровского поезда.

Дача. День. Игрушечный поезд с паровозом движется на камеру, имитируя люмьеровский кадр. Пауза. Поезд движется обратно. За ним виден настоящий зимний пейзаж – гигантские, по сравнению с игрушкой, заснеженные деревья.

Рука нажимает на пульт.

Лицо Дениса, он положил голову на стол.

Паровозик подъезжает к лицу.

Денис закрывает глаза.

Загородное шоссе. День.

По шоссе мчится темно-болотная "Нива". На переднем сиденье сидит девушка. Это Ирина. Она достает из сумочки сигарету, закуривает.

Водитель – мужчина лет 50-ти – выжимает педаль акселератора до отказа. Это Игорь. Не отрывая глаз от дороги, он щелкает пальцами:

– Раскури и мне.

Ирина с некоторым сожалением отдает ему свою сигарету...

... и достает новую. Игорь, один раз затянувшись, тушит сигарету в пепельнице.

Машина движется вдоль черной кромки леса, обрамленного забором, и резко тормозит рядом с дачей.

В салоне машины Игорь поворачивается к сидящей рядом девушке, протягивает ей ключи:

– Жду тебя через час. Потом уеду. Извини, дела.

Ирина медлит:

– Что, нельзя ближе?

**Игорь.** Прошу тебя, поторопись.

Ирина выходит из машины и идет вдоль забора.

Игорь, оставшись один, откидывается на спинку сиденья, расстегивает воротник. Его лицо покрыто потом. Он начинает лихорадочно шарить по карманам. Ничего не находит.

Шарит в оставленной Ириной сумке, вытаскивает плитку шоколада. Судорожно отламывает полоску, жует...

Ирина по заваленной подтаявшим снегом дорожке пробирается к крыльцу дачи.

Дача.

Игрушечный поезд продолжает двигаться по игрушечному пейзажу.

Ирина входит в темную прихожую:

– Денис! Ты здесь?



На ощупь она идет по темному коридорчику под лестницей.

– Денис! Я знаю, что ты здесь!

Внезапно вспыхивает яркий, направленный свет, гремит музыка. Ирина от неожиданности отскакивает в сторону и... скрывается на фоне натянутой белой простыни прямо под направленным на нее светом.

С грохотом взрываются и начинают бить фонтанами два фейерверка.

Денис с видеокамерой в руках, глядя в глазок, стоит наверху лестницы и провозглашает торжественно:

– Дубль первый! "Не ждали".

Ирина справляется с собой, выхватывает откуда-то из-под ног мужской сапог и швыряет его в Дениса.

С треском лопается одна из ламп, сыплется стекло...

Уже сняв шубку, Ирина веником сметает со ступенек осколки стекла, поднимает голову:

– Слушай, тебе не стыдно? Брось придуриваться! Денис, что ты из всего цирк устраиваешь, ей-Богу!

Денис смотрит на нее через глазок камеры.

Ирина продолжает:

– Мать твоя волнует, мне звонила... Хоть бы сказал кому, где тебя искать!

**Денис.** Зачем? Кому надо, тот найдет.

Ирина поднимается в гостиную на второй этаж.

Денис, пятясь, отступает перед ней.

**Ирина.** Кончай.

**Денис.** Дубль второй. "Я кончаю".

**Ирина.** Дурак.

Ирина проходит по комнате. На столе демонстративно стоят в ряд черные женские туфли.

Какое-то время Ирина смотрит на эти туфли, что-то соображая, потом поворачивается к Денису. Тот молча продолжает съемку. Ирина снова смотрит на туфли:

– Хороший натюрморт... В этом есть что-то эксгибиционистское... А?

**Денис** (голос за кадром). Отлично... Дальше!

**Ирина.** Слушай, может, уберешь эту штуку?

**Денис.** Зачем? Ты же любишь у нас... всякие пробы!

**Ирина.** Хочешь, чтобы я разбила объектив?

**Денис.** Камера не моя... Не жалко!

Ирина хватает со стола туфлю и бросает в Дениса. Тот с хохотом уворачивается и сбегает по лестнице:

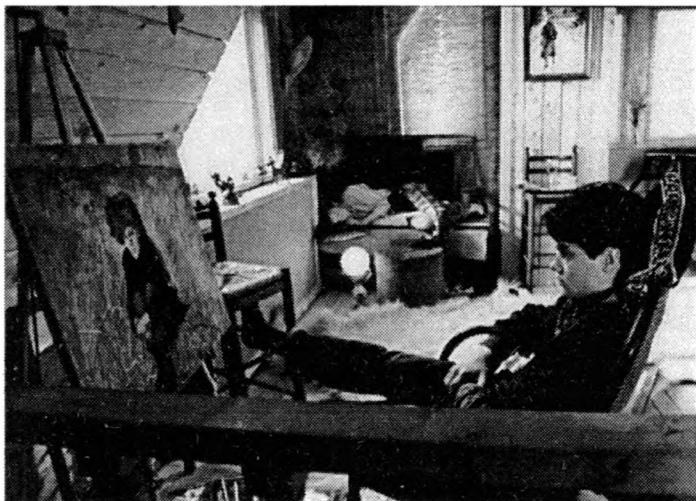
– Так... Хороший был кадр, давай дальше!

Хаотичное движение в визире управляемой камеры.

Ирина кидает вторую туфлю. Денис снова уворачивается и убегает вниз. Ирина бежит за ним.

Она ловко сбегает по другой лестнице... и вдруг замирает, запыхавшись, в дверях.

Денис стоит на коленях перед горящим камином, спокойный, так, будто и не бежал хохоча только что. Камера лежит у его ног.



Денис – Алексей Жиров

**Ирина** (после паузы). Нам надо поговорить.

На фоне пылающего в камине огня Денис медленно поворачивает к ней голову и тихо говорит:

– Да что ты говоришь!

Ирина молча и долго смотрит на него.

Салон машины.

Из радиоприемника звучит ля-минорный вальс Шуберта. Игорь с закрытыми глазами подносит ко рту диктофон:

– Меня всегда поражала одна вещь: мы так привыкли к музыке, звучащей в машине, – удивительно, какая бы это ни была музыка и какой бы ни был пейзаж за окном, они всегда подходят друг к другу, дополняя и обогащая...

Дача.

Денис лежит на полу лицом вверх. Его глаза устремлены на...

**Денис.** Мама мыла Милу мылом...



Ирина – Анна Семкина

...скульптурного ангела, парящего под потолком.

Ирина тоже сидит на полу. Перед ней на ковре большое овальное зеркало, на нем, как на столе, початая бутылка коньяку, хрустальная рюмка, яблоко.

**Денис.** Мила мыла не любила.

**Ирина.** Теперь ты будешь издеваться?

**Денис.** Тише, Милочка, не плачь:

Не ты первая, не ты последняя.

Он резко переворачивается на живот и оказывается лицом к Ирине:

– Ну и что он сказал? Будешь сниматься?

**Ирина.** Может, хватит об этом?

**Денис.** Конечно! Чего болтать о пустяках? Один... другой... Слушай, может, для тебя вообще все на одно лицо?

Он встает.

**Ирина** (устало). Чего ты хочешь?

Денис стоит у нее за спиной:

– Чего я хочу? А я хочу знать, как это было. Ну! Расскажи мне! А? Продемонстрируй.

Он кладет руки Ирине на плечи.

Ирина неожиданно поворачивается к нему:

– Сыграем?

Денис, опешив:

– Во что?

**Ирина.** В копеечку.

**Денис.** Тебе опять деньги нужны, что ли?

Ирина залезает к Денису в карман:

– Так, копеечки нету, есть жетон...

Ирина подносит руки ко рту, дует на них, и, трижды стукнув кулачками по зеркалу, кладет на него руки:

– Ну?

**Денис.** Чего?

**Ирина.** В какой руке? Копеечка?

**Денис.** Ни в какой.

**Ирина.** Отгадаешь – твоя.

**Денис.** Кто? Ты?

**Ирина.** Я... И копеечка.

Денис смотрит на лежащие на столе ладони. Садится на корточки:

– В этой.

Ирина переворачивает ладонь – пусто.

**Ирина.** Отгадаешь, – исполню любое твоё желание... Прямо здесь. Ну?

Ирина демонстративно приближает к нему по зеркалу свою вторую ладонь.

**Денис.** Любое?

**Ирина.** Любое. Твое. Желание.

**Денис.** Не хочу.

**Ирина.** Ну, я прошу. Ну, пожалуйста... Ну что тебе стоит? Ну?

Денис легонько бьет своей ладонью по ладони девушки:

– В этой!

Ирина переворачивает ладонь – снова пусто.

Какое-то время Денис тупо смотрит на зеркало, потом переводит взгляд на Ирину:

– С ним так же играла, да?

Ирина выплевывает жетон на стол:

– Там были, Денис, другие игры...

**Денис.** Да? И какие, если не секрет?

**Ирина.** Не секрет. Ты разве не знаешь?

**Денис.** Догадываюсь... Только это скучно... Скучно, Ириша!

Денис хлопает ладонью по зеркалу, поднимается...

Ходит по комнате.

**Ирина.** Конечно, все, что тебя не касается, тебе скучно... Ты такой же, как и твой отец.

**Денис.** И ты нас просто перепутала.

Она откидывается на спинку стула и задирает ногу прямо на стол:

– Я сниму чулок?.. Жарко.

Какое-то время Денис тупо смотрит на Ирину. Девушка стягивает чулки.

**Денис.** Сука.

Ирина медленно встает и приближается к Денису:

– Да, я сука... И я спала с твоим отцом... Ну и что? Если бы ты сам мог мне помочь... Если бы у меня был такой папочка... Ну да ладно... Стало быть, я сука? Да?

**Денис.** Он что, тебя заставлял?

Ирина опускается перед Денисом на колени и начинает расстегивать пояс на его брюках:

– Я сама... Сама... Я сука... сука... сука... Ну что ты со мной делаешь?

Вдруг Денис неожиданно сильно и резко отпихивает девушку и та валится прямо на пол:

– Пошла вон... Дрянь!

Но Ирина только смеется – вместо ответа она протягивает ему руку:

– Ну возьми меня... Возьми... Я хочу... Трахни меня! Ну!

Ирина ползет к Денису, хватая его за ноги, тот пытается высвободиться, но падает. Ирина взбирается на него. Денис

пытается ее сбросить и они несколько раз переворачиваются на полу... Оба они даже не замечают как эта возня переходит в любовный акт. Денис берет ее грубо, безжалостно...

**Ирина.** Еще... Ну же!.. Ну...

Денис начинает наотмашь бить девушку по щекам...

**Ирина.** Ну давай... Еще!.. Еще!..

Обеими руками Денис хватая ее за горло, и они замирают на какое-то время, слившись воедино, потом Денис переворачивается на бок, спиной к Ирине...

Ирина несколько раз судорожно глотает ртом воздух:



– Ты мой... Мой...

Она переворачивается и прижимается к Денису:

– Ну прости меня... Прости... Мальчик мой, родной, милый.

Денис лишь трясет головой:

– Как ты могла... Как?

Он пытается закрыть руками свое лицо,



Рабочий момент съемок

но Ирина мягко привлекает его к себе, и Денис не выдерживает...

Ирина гладит его по голове и ждет, пока он выплещется у нее на груди. Наконец Денис успокаивается и вытирает рукавом слезы. Потом он отстраняется от девушки, берет ее за подбородок и долго и пристально всматривается в ее лицо.

**Ирина.** Ну что ты? Что?

Денис опускает голову:

– Ладно, встали.

Он поднимается первым и... подает девушке руку. Ирина встает, поправляет юбку и забирается с ногами на диван.

Денис сосредоточенно застегивает брюки. Наливает себе в рюмку коньяк.

**Денис.** Хочешь?

**Ирина.** А вина нет?

**Денис.** Нет.

Денис наливает другую рюмку и подносит ее Ирине.

**Ирина.** Ну... Надеюсь, ты меня не отравишь?

**Денис.** Яду не хватит.

**Ирина.** Правильно.

Они чокаются и пьют. Но коньяк попал Ирине не в то горло, и она заходится в

кашле... Денис несколько раз бьет ее ладонью по спине.

**Ирина.** Спасибо... Ты меня чуть не придушил... там.

**Денис.** Извини.

**Ирина.** Ну вот... Весь коньяк расплескала... Налей мне еще.

Денис наливает ей:

– За тебя, Ириша... Актриса что надо.

**Ирина.** Правда? Ты правда так думаешь?

**Денис.** Правда.

**Ирина.** Вот не ожидала... Услышать такое от тебя.

**Денис.** Ты действительно большая актриса. Я, во всяком случае, в тебя верил... А это оказалась еще одна твоя роль... Такая же, как и все остальные... Только лучше сыгранная! Я, наверное, не самый благодарный зритель, Ириша... Ты уж меня прости.

Он протягивает рюмку, чтобы чокнуться с Ириной, но та... отстраняет руку.

**Ирина.** Это не так, Денис... Это не правда.

Денис выпивает, ставит рюмку, спрашивает:

– Хочешь знать правду? Хочешь? – Ирина молча смотрит на Дениса, смотрит с мольбой, с надеждой. – Ты можешь быть хороша как женщина... Но как актриса... Извини, но у тебя нет никаких шансов. Даже, если ты переспшишь с самим Господом Богом. Поверь, Ириша, я хочу тебе только помочь... Кто-то ведь должен сказать тебе об этом... Даже отец, тот просто смеется над тобой... Мне очень жаль, Ириша, но это чистая правда. Я говорю это не со зла... Клянусь.

Какое-то время Ирина просто не может сдвинуться с места, потом до нее доходит смысл сказанного... Одним резким движением она выплескивает свой коньяк... Денису в лицо, спрыгивает с дивана и начинает лихорадочно собирать вещи.

**Ирина.** Ненавижу тебя... И таких, как ты... Ненавижу!

Подхватив с пола свои туфли, она сбегает по лестнице. Денис остается в комнате один.

Игрушечный поезд стремительно едет на камеру.

Дача. День. Ирина пробирается по за-



**Ирина – Анна Семкина, Игорь – Александр Кайдановский**

снежной дорожке прочь от дома. На секунду останавливается и бросает последний взгляд назад.

Большой дом выглядит совсем нежилым. Последний кусок снега с шорохом съезжает по крыше.

Ирина идет вдоль чужих заборов, ничего не видя вокруг... Неожиданно раздается визг тормозов – Ирина натывается на бампер "Нивы"... Она собирается обойти машину, но отец Дениса успевает открыть дверцу и схватить девушку за локоть.

**Игорь.** Ира, подожди... Что с тобой?

**Ирина.** Пусти!

Она вырывается и спешит прочь... Игорь садится в машину, разворачивается и едет вслед за Ириной. Он обгоняет ее, загораживая машину дорогу, останавливается и открывает перед девушкой дверцу.

**Игорь.** Не валяй дурака... Садись.

"Нива" проезжает вдоль забора, мимо окон дачи. Когда она скрывается, перед камерой резко закрываются жалюзи.

Игорь ведет машину, Ирина сидит рядом.

**Игорь.** Ну, что у вас там?

Ирина молчит – она словно не слышала вопроса.

**Игорь.** Он там?

Ирина отрицательно качает головой.

**Игорь.** Ты говорила с ним?

**Ирина.** Его. Там. Нет.

**Игорь.** Ну, в каком-то смысле никого из нас пока еще нет.

Его лицо становится отрешенным. Продолжая вести машину одной рукой, другой он достает диктофон.

**Игорь.** В диалог "Мать – Священнику: Батюшка, ну почему ее больше нет. Отвечает: Это нас пока еще нет, а она уже есть".

Ирина открывает сумку, нашаривает сигареты, внезапно натывается... на полусъеденную плитку шоколада.

**Ирина.** Ты рылся в моей сумке?

**Игорь.** Захотелось шоколадку.

**Ирина.** Что за шутки дурацкие?!

Игорь смеется.

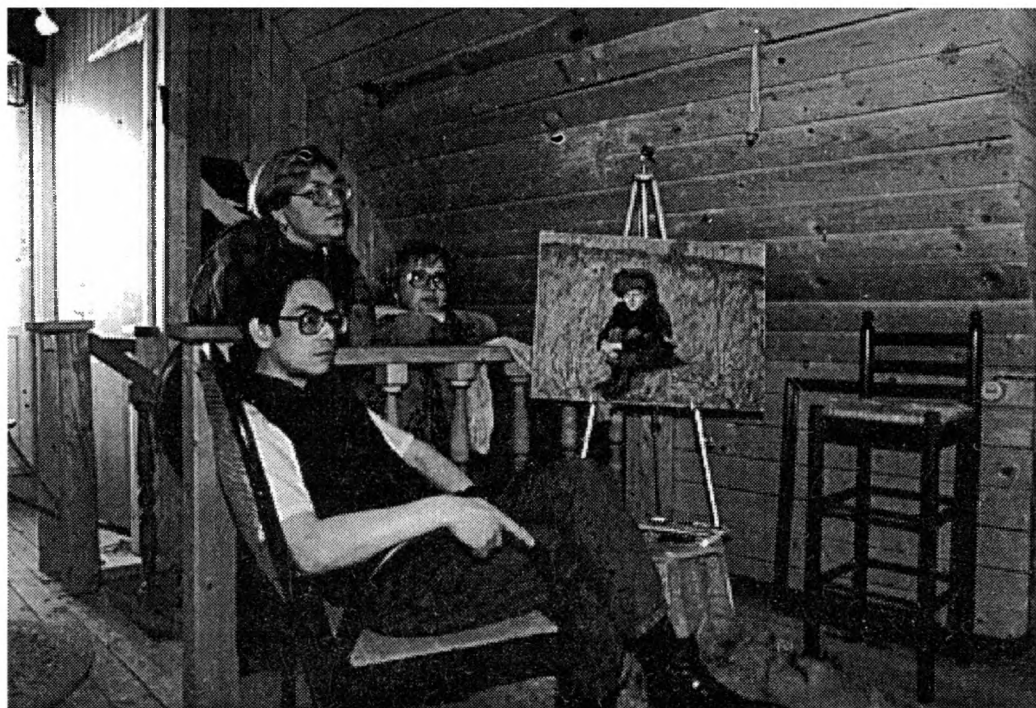
"Нива" останавливается перед шлагбаумом на железнодорожном переезде.

Дача.

Шкала счетчика видеомagnитофона. Цифры бегут вперед. Щелчок. Цифры останавливаются, загорается стрелка реверса. Цифры бегут назад.

Салон машины. У переезда.

**Ирина.** Я никуда с тобой не поеду.



Александр Хван на съемках

Пытается засунуть... в свою сумочку пару туфель. Натякается на пачку денег.

**Игорь.** Ты считаешь, во всем виноват я?

**Ирина.** Думай, как хочешь... Меня уже тошнит от всей вашей семейки!

Она швыряет деньги на сиденье, открывает дверцу и собирается выйти из машины, но Игорь силой возвращает ее на место.

**Игорь.** Не знаю, от чего тебя там тошнит... Я тебя прошу, сядь спокойно, я отвезу тебя в город.

**Ирина.** Нет.

Ирина выходит из машины, делает два шага, возвращается, открывает дверцу и швыряет туда остатки шоколада.

**Ирина.** Утешься!

Уходит к станции.

Игорь в машине устало трет глаза, закрывает окно. В стекле отражается проходящая электричка.

Ирина стоит на перроне. Подходит поезд.

Дача.

Шкала счетчика видеоманитофона. Горит стрелка реверса. Цифры бегут к 00.00. Стоп. Загорается зеленая стрелка.

Дверь открывается. Ирина входит в прихожую.

**Ирина.** Денис!

В полной тишине жужжание и подвывание.

Ирина проходит по коридору.

**Голос Дениса.** Я ненавижу... Ненавижу тот мир, который ты так любишь. Мне противна моя семья, я бы предпочел жить в детском доме, чем иметь таких родителей... Это не настоящая жизнь, это какая-то декорация, в которой только и делают, что говорят, говорят, говорят.

Игрушечный поезд бежит по кольцу рельсов. Ирина входит в кабинет. Денис продолжает говорить за кадром:

— Они же ничего не умеют... Ничего не могут... Эти люди... Им все безразлично, кроме каких-то картинок, которые сидят у них в голове как бред... как болезнь. И ты такая же, как они... Ты...

Голос звучит с экрана монитора. На нем виден Денис, сидящий перед горящим камином. Звонит телефон. Денис на экране замолкает на полуслове, наклоняется и резким движением выдергивает телефонный провод из розетки.





Эндрю Уайет "Вдали от дома"

Ирина приближается к экрану, мимо продолжающего движение игрушечного поезда, переключатель которого придавлен гипсовой ногой скульптуры.

Перед монитором в кресле-качалке, укутанный пледом, с подушкой под головой сидит Денис. Ирина подходит ближе.

**Ирина.** Денис! Ты не должен был так со мной поступать. У меня в жизни только и была одна радость, одно счастье – ты...

**Голос Дениса.** Я не могу поверить, что ты это сделала... Я смотрю на тебя, и ничего не понимаю... Я не могу в это поверить, не могу...

Ирина подходит к монитору, случайно задев кресло. Кресло вместе с сидящим Денисом начинает раскачиваться.

Денис на экране монитора продолжает говорить:

– Я не могу понять, как ты могла видаться со мной потом... Когда отец был дома. Ты еще хотела, чтобы я узнал, возьмет он тебя на эту роль или не возьмет... Говорила, что самой просить неудобно, а он молчит... Я не понимаю, как ты могла... Как???

Ирина смотрит на монитор. Что-то мешает ей смотреть, щекочет щеку, попада-

ет в нос. Она отмахивается и видит, что комната наполнена белым как снег, легким пухом. На экране появляется новое изображение – Ирина на фоне белой простыни, ослепленная светом прожекторов, с горящим по бокам фейерверком. Ирина швыряет туфли в камеру. Мечущийся объектив в руках убегающего Дениса.

Ирина переводит взгляд на Дениса. Тот не реагирует на ее присутствие. Ирина склоняется над креслом, трогает Дениса за плечо:

– Эй!

Голова сидящего безвольно падает набок, обнажив залитую кровью щеку и простреленную насквозь подушку, из которой во все стороны летит пух. Только теперь видно руку Дениса, все еще сжимающую пистолет.

С экрана монитора раздается голос Дениса:

– Прости меня, Ириша... Я не должен был так поступать с тобой... У меня в жизни только и было одно счастье – ты... Я не сумел тебя сохранить и теперь...

Поезд останавливается на станции. Пассажиры входят, входят, только четверо в маленьком зале ожидания играют в карты.





## Александр Хван:

"Пока это только надежда..."

– *Саша, что для вас альманах "Прибытие поезда"? Фильм – подарок кинематографу, что это такое?*

– Пятерка победителей "Кинофорума" получила приз – возможность сделать альманах "Прибытие поезда" как своего рода манифест стиля, манифест направления. Он должен олицетворять собой поколение режиссеров от 30-ти до 40. В результате должна сложиться картина общего кинопроцесса в той его степени развития, какой он к этому моменту достиг.

– *Ваша новелла будет третьей по счету в альманахе?*

– Нет, это первая новелла. Порядок мы установили беседуя впятером и выбирая те фрагменты Люмьера, которые каждый использовал у себя.

– *В сюжете вашей новеллы, по сравнению с первыми двумя, которые опубликованы в № 2 и 3 журнала "Киносценарии", есть сильное личное чувство к кинематографу и, в то же время, парадоксальное чувство отстранения от кино.*

– Опыт работы над фильмом "Дюба-дюба" привел меня к мнению, что кино, для того, кто в нем полностью участвует, приводит к потерям. Моя жизнь в кино отрицает нормальное человеческое существование. Мне кажется, тот, кто занимается искусством, должен пожертвовать всем остальным. Однажды, еще когда я снимал свой дебют по Брэдбери, ночью в лесу прошел дождь и автобус с нашей киногруппой не мог вскарабкаться по глинистому склону, мы сидели и пели песни. Вот тогда я понял, что в кино работают только сумасшедшие.

– *В сценарии вашей новеллы молодые люди, которые хотят заниматься кино и посвящают ему свою жизнь, как будто обречены. История проекта "Прибытие поезда", совмещаясь с этим сюжетом, наводит на печальную мысль. Реальность и иллюзия сходятся в той точке, в которой кино "отбывает на поезде"?*

– Никакой "поезд не отходит" на самом деле, я так считаю. Сейчас говорят: "В кино безработица, производство разваливается, люди со студий уходят, специалисты и т. д." Действительно, кинематографом прокормиться практически невозможно. Но поскольку в кино работают только сумасшедшие, именно эти люди в кино останутся, и может быть, это приведет к какому-то отбору. Может быть, в этом залог того, что кинематограф никуда не денется.

– *Сталкивая в своей новелле разные поколения "сумасшедших", которые фанатично занимаются кинематографом, вы выбрали на роль отца Александра Кайдановского. Этот актер вошел в сознание зрителей и историю кинематографа как "сталкер", проводник из области обыденного в "зону" ирреальности. Насколько велик был элемент импровизации в выборе этого актера?*

– Кайдановский мне был нужен, он, по-моему, хорошо это понял, именно как человек-символ. Кроме этого, в его облике есть амбивалентность. Он соединяет в себе добро и зло. В литературном сценарии, который существовал вначале, это был некий делец от кино. Просто мускулистый богатый человек...

– *Что, впрочем, довольно актуально...*

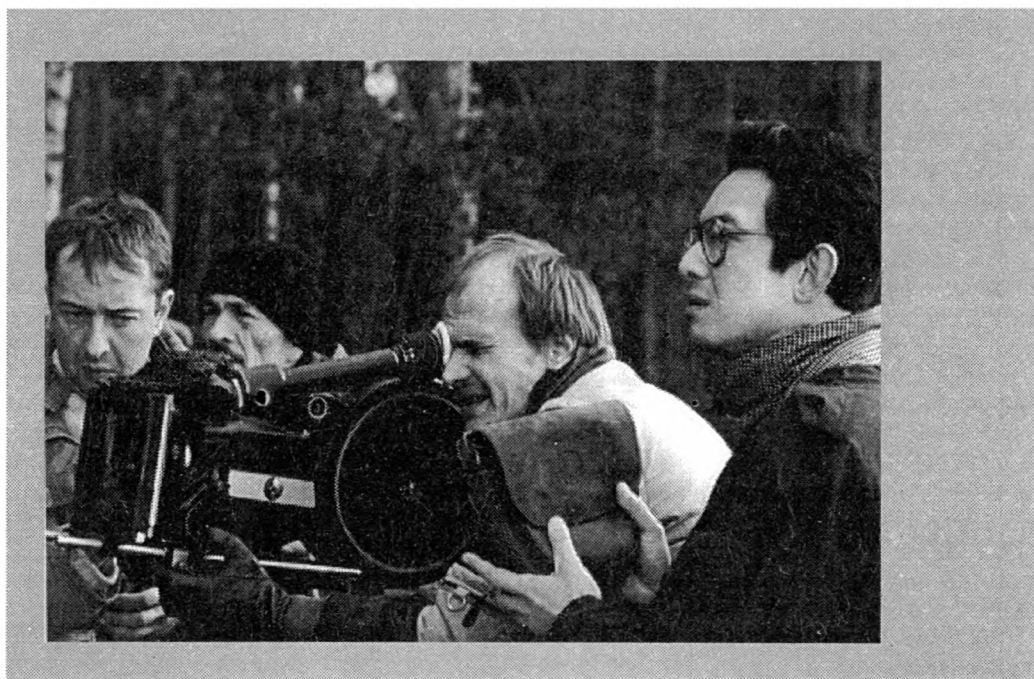
– Да, но потом мне показалось, что история будет плоская, и, самое главное, если он просто делец, непонятно, про что она. И тогда я понял, что он должен быть настоящим... – трудно сказать слово – гением... это человек, полностью увлеченный сво-

им делом, человек не от мира сего во всех остальных вопросах, кроме главного для него – кино. Никаким положительным образом гения показать нельзя, ведь неизвестно какие свойства ему присущи. Его можно показать только от обратного – тем, что обычные человеческие качества у него отсутствуют. Вот, взял человек, и убил своего собственного сына.

– *У вас в фильме играют дебютанты?*

– Да, Анна Семкина учится у Анатолия Васильева, Леша Жиров заканчивает Школу-Студию МХАТ. Тут мне мне повезло и с "Ним", и с "Ней". С Лешей особенное везение, в том смысле, что мне нужен был едва оформившийся, незрелый мальчик. Существовал разрыв между тем, что надо знать про жизнь, что надо сыграть, и тем, что человек успел. В данном случае все совместилось, он очень талантливый парень, я думаю, что у него большое будущее.

А Аня, помимо того, что она студентка, сейчас работает кинопродюсером. Девушка абсолютно самостоятельная в 24 года, ни в ком не нуждающаяся, обеспеченная. Это для меня совершенно новое поколение. Я не понимаю, как это возможно, у меня это в голове не укладывается. Я ведь очень неудачливый человек. Когда я поступал во ВГИК, надо было письменно ответить на хитро поставленный вопрос: "Почему вы решили, что можете быть кинорежиссером?" Я ответил так: "Умею рисовать, закончил художественную школу, знаю музыку, играю на фортепиано, пишу стихи. Единственный способ это



все совместить – это заниматься всем сразу". В результате, занявшись кино, я перестал рисовать, потом забросил музыку, стихи какие-то остались, но это уже не стихи. История потерь...

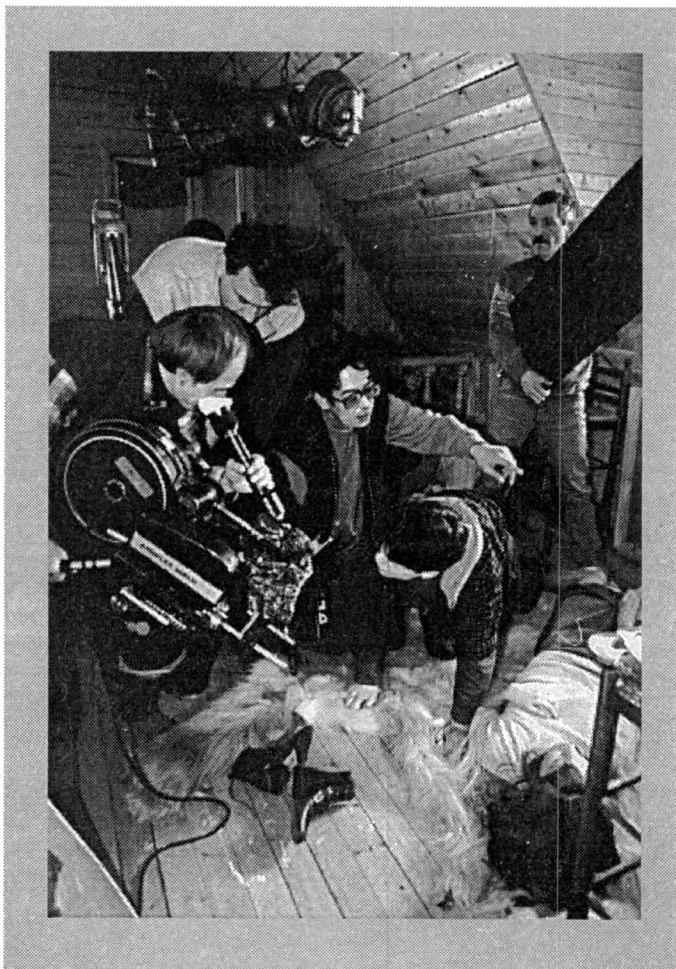
– *Герой вашей новеллы из "Прибытия поезда", как и герой "Дюба-дюба" – человек сосредоточенный на саморазрушении...*

– Слово "разрушение" мне кажется не совсем точным. Герой тот, кто соотносится напрямую с Богом. Мой герой стремится к свободе и делает это сознательно, а при свете разума свобода это прежде всего – страшное, это смерть. Он – жертва самореализации. Пока человек живет, он незавершен, окончательно он кристаллизуется только в момент смерти. Но, одновременно, стремление к самореализации выражается еще и в любви. Свобода, смерть и любовь – стороны треугольника, поворачивающе-

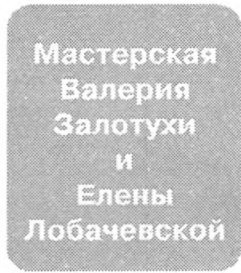
гося к нам разными гранями, причины, по-разному проявляющегося. Следующая картина должна уравновесить для меня предыдущую. Мой новый замысел, сценарий которого был сделан давно, мне кажется, счень актуален по зрительским ожиданиям. В основе лежит реальная история, которая произошла в 1909 году в среде петербургских поэтов. Мы изменили имена, события у нас сгущены до состояния чистой мелодрамы. Реальная история должна быть показана в картине так, как она происходила "на самом деле" – то есть в воображении персонажей, в их чувствах, воспоминаниях.

– *Очень грустно, что эта ваша картина не снимается... Но вот красиво задуманный проект – "Прибытие поезда" – снят. Его посмотрят несколько сотен человек на фестивалях, но что с ним будет дальше?*

– Есть "бумажная архитектура", может быть, наш проект имеет отношение к "бумажному кинематографу"? Скорее всего, волны, расходящиеся от этого камня, значат куда больше, чем сам камень. Его посмотрят, он утонет, но волн будет много. Их уже много. Мы почему-то забыли о том, что картина существует в виде материального объекта не одно десятилетие, по крайней мере, пока не разрушится пленка. У меня, напротив, уже некоторое время есть ничем не объяснимая вера, что под покровом мглы, не то что бы зреет, а уже созрел совершенно противоположный процесс, который невидим сейчас. Но он происходит. Я знаю, по себе это знаю, по другим режиссерам. Я знаю не по фактам, а по веяниям, которые носятся в нашей среде. Казалось бы, все остыло, но сверху только тонкая корка, а под ней горит огонь, который скоро прорвется. Пока это только надежда. Будут сниматься картины, которые тоже при выходе никто не увидит, но если они будут хорошие, то их все равно увидят в течение 20, 50, 100 будущих лет. И они будут иметь коммерческий успех. Просто мы мыслим категориями порядка пяти лет, года, или полугода. Сколько мы знаем художников, живописцев, которые нищенствовали при жизни – Модильяни, Ван Гог! А теперь их работы стоят миллионы долларов. Мне кажется, это два разных вопроса: аудитория непосредственно после выхода картины и аудитория вообще. Когда наладится ситуация с киноиндустрией в нашей стране, тот период, который мы переживаем уже несколько лет, из будущего предстанет моментом зарождения великого российского кино, или, если хотите, его возрождения.



**Интервью провела Юлия Гирба**



**Александр Полозов**

## "Зарница"

**У**тро. Пасмурная погода. Лес, река, вдали холмы, перелески. Между лесом и рекой широкий луг. К реке примыкает заросший кустами овраг. В глубине оврага родник. Славка, мальчик лет 11-ти, сидит у родника.

Утро. По лугу бежит друг Славки, Мурзик, он кричит на бегу.

**Мурзик.** Славка! Славка! Славка, иди быстрее, наши диверсанта поймали!

Утро. Славка сидит у родника. Доносятся

крики Мурзика. Вода, выливаясь из трубы, падает на железное, заржавевшее колесо от какой-то гусеничной машины. Голос за кадром:

– Ты просила меня рассказать о моей первой любви. Не знаю, я попробую. Вообще-то, это давно было, еще в лагере. Мне было тогда одиннадцать, а ей, кажется, шестнадцать. Началось с того, что я побежал на родник не той дорогой.

Раннее утро. Телега с молочными бидонами въезжает в ворота. Возница, молодой человек лет 25-ти, небритый, курит папиросу, вместо правой ноги деревянный протез, на засаленном пиджа-

---

**Е.Лобачевская:** Читая работы, поданные в прошлом году на творческий конкурс на сценарный факультет, мы с Валерием Залотухой неожиданно обнаружили яркий, современный, а главное удивление – профессионально написанный сценарий. Назывался он "Семь дней в конце лета" и рассказывал о жизни молодых людей московской окраины в августе девяносто первого года. Автору было двадцать два года и звали его Кокосов Михаил Юрьевич.

Мы с нетерпением ждали встречи с драматургом Кокосовым. Но на первый экзамен он не явился. Мы были не на шутку озадачены и взволнованы. "Три персонажа в поисках автора", – перефразировала я название пьесы Пиранделло. Третьим персонажем был кинорежиссер Юрий Мороз, тоже успевший влюбиться в сценарий. Мы углубились в изучение автобиографии драматурга Кокосова. Телефона не было – только адрес. Стартовая улица... Пришлось взять карту Москвы...

– Фамилия его мамы Абрикосова, она прекрасный кулинар, – вычитывала я сведения из автобиографии. – А бабушка – маршал авиации Ананасова!

– Это розыгрыш! – сообразил здравомыслящий Валерий Залотуха.

– Как же... – недоумевала я. – Точно нет такого маршала авиации? Может, мы не знаем?.. Ведь при поступлении надо предъявлять паспорт, а если паспорт на другую фамилию, не на ту, что в допуске к экзаменам...

Сгорая от любопытства, мы с Юрием Морозом сели в его машину и, ориентируясь по

ке медаль "За отвагу". Над воротами надпись: "Пионерский лагерь "Радуга". Телега едет по аллее, по обеим сторонам которой расположены транспаранты в красно-розовых тонах. Телега сворачивает к административному корпусу и столовой. Слева от административного корпуса большой плакат с надписью "Миру-мир". Справа другой плакат с изображением юноши и девушки, устремивших горящий взор на танки, истребители и боевые корабли. Под рисунком крупная надпись: "Молодежь – наш надежный резерв". К последнему слову краской приписана впереди буква "п". Неподалеку от административного здания – корпус четвертого отряда. В одно из окон, выходящих на широкое, разбитое на спортивные площадки поле, осторожно выглядывает лицо Славки.

Раннее утро. В палате четвертого отряда. Славка, пригибаясь, отходит от окна, подходит к спящему Мурзику.

**Славка.** Мурзик! Мурзик, вставай, на родник пойдем.

**Мурзик** (сквозь сон). Зачем?

**Славка.** Тритонов ловить.

**Мурзик.** Да ну тебя, дай поспать.

Раннее утро. Славка, пригибаясь, бежит вдоль корпусов. Возле корпуса первого отряда Славка вдруг замирает, смотрит в открытое окно. В окне он видит Алену, рыжеволосую девушку лет 16-ти. Она одевается, разглядывая себя в зеркало, причесывается. Взглянув в окно, она замечает Славку.

**Алена** (ничуть не смущаясь, подходит к окну). Ну что? Интересно? Показать? Ну иди, покажу.

К ней входит Гарик, помощник вожатого первого отряда, высокий, красивый парень;

он обнимает ее и задергивает занавеску. Славка убегает.

Раннее утро. Славка влезает через окно в палату четвертого отряда, ложится в кровать.

Утро. Родник в овраге. Славка, забравшись глубже в кусты, сидит возле большой кастрюли с мутной водой, в которой плавают тритоны. Славка вылавливает тритонов и выпускает их в лужу. В овраг спускается Мурзик.

**Мурзик.** Славка! Славка, наши диверсанта поймали...

Славка не отвечается, Мурзик уходит.

Ранний вечер. Напротив административного корпуса на площадке танцы. Местный ВИА играет музыку "Машины времени". Ребята из разных отрядов танцуют. Славка стоит поближе к своим и смотрит туда, где собралась группа старших ребят. Там Гарик, одетый в обрезанные по колено джинсы, футболку с олимпийским мишкой и джинсовую жилетку, на шее у него пионерский галстук. Он танцует с Аленой, забавляется с водяным пистолетом, смеется, не разжимая зубов – в зубах он держит маленькую белую пищалку; время от времени раздаются резкий писк. Слышны разговоры ребят – ровесников Славки.

**Гаврилова** (по прозвищу Гаврюша). Ну чего вы, давайте в круг.

**Девочка.** Чего раскомандовалась, самая основная что ли?

**Гаврилова.** Основная.

**Сюткин.** Гаврюша, фас ее!

**Гаврилова.** А Сюткин обзывается, а Сюткин обзывается!

---

*карте Москвы, отправились на поиски автора. Мы долго плутили где-то у кольцевой дороги и, наконец, нашли Стартовую улицу.*

*Дверь нам открыла симпатичная женщина. "Ну конечно же, это и есть мама Абрикосова – прекрасный кулинар!" – подумали мы. Но выяснилось, что сына ее зовут вовсе не Михаилом Юрьевичем, а Александром Анатольевичем... Полозовым, а что сейчас он во ВГИКе, поехал узнавать результаты экзамена.*

*Полозов?.. Да, к нам такой поступает... Написал хороший литературный этюд. Значит, Кокосов и Полозов – одно и то же лицо! Слава Богу, нашли автора! И все-таки жаль было расставаться с драматургом Кокосовым – ведь мы успели заочно полюбить Михаила Юрьевича и его симпатичное семейство.*

*Когда Валерий Залотуха спросил на собеседовании Сашу, почему он подал работы на конкурс под двумя фамилиями, он ответил коротко и ясно: "Чтобы вышибить конкурента".*

*За год учебы во ВГИКе Александр Полозов написал три полнометражных сценария: новый вариант "Семь дней в конце лета", "Полет одинокой звезды" – история "маленького человека", попавшего в водоворот событий октября девяносто третьего года; и "Зарница" – сценарий, состоящий из трех новелл, одна из которых предлагается вниманию читателей журнала. Нам кажется, что все три сценария достойны того, чтобы быть опубликованными, а главное – поставленными.*

*Валерий Залотуха и я желаем Александру Полозову успеха и удачи и очень хотим, чтобы по его сценариям хорошие режиссеры сняли хорошие фильмы.*

Появляется начальница лагеря. Чей-то возглас:

– Тихо, Гидра пришла.

Неподалеку в кружок собрались вожатые.

**Вожатый 4-го отряда.** Сюткин! Гаврилова! Возле него вьется Козлов, ровесник Славки.

**Вожатый.** Ну чего тебе, Козлов? Опять телевизор? Не надоело?

К Славке подходит Гарик.

**Гарик.** Тебя Слава зовут?

**Славка.** Да.

**Гарик.** Пойдем. Ну пошли, не бойся.

За углом административного корпуса. Славка и Гарик.

**Гарик.** Вот что, Слава: про то, что сегодня утром видел, помалкивай. Усек?

**Славка.** Про что?

**Гарик.** Я думал, ты дурак, а ты дурак. Знаешь, почему так гладко, а так нет? (Проводит Славке ладонью по лицу.) В общем, я тебя похорошему предупредил, ясно?

**Славка.** Ясно.

**Гарик.** Умница. (Похлопывает Славку по щеке.) Такие мальчики спасут Германию. А теперь мотай отсюда. (Поворачивает Славку спиной к себе и вполсилы пинает его пониже спины.)

Ранний вечер. Танцы. Славка и Мурзик.

**Мурзик.** Чего ему надо-то?

**Славка.** Ничего, просто поговорили.

**Мурзик.** Это Гарик, помощник вожатого из первого отряда. Длинный – думает, все можно. А Сюткин обещал меня научить лягушек надувать. Знаешь, они такие толстые становятся. Ты чего, плачешь что ли?

**Славка.** Не-а.

**Мурзик** (неодобрительно глядя в сторону Гарика). Висит каждый день на турнике, вот и вытягивается.

Над площадкой с писком пролетает надутый презерватив со вставленной пищалкой. Полетав немного, он падает к ногам начальницы лагеря.

**Гарик** (смеется). Аленка!

Он, Аленка и еще несколько ребят уходят.

Сумерки. Спортплощадка. Доносятся звуки музыки. Славка залезает на турник, Мурзик на него смотрит.

**Славка.** Я сперва уцеплюсь как следует, а потом ты за меня цепляйся и висни на мне.

**Мурзик.** Ну что? Виснуть уже?

**Славка.** Погоди, я скажу... Давай.

Мурзик цепляется за Славку, они вместе падают.

Сумерки. Крыши корпусов. За ними спор-

тивная площадка, дальше деревянный забор, кусты, за кустами река, за рекой широкое поле. На спортивной площадке никого, кроме Славки и Мурзика. Они несколько раз падают с турника.

Вечер. Козлов один смотрит в палате телевизор.

Ночь. В палате 4-го отряда. Звучит сирена, ребята вскакивают с коек, наспех одеваются, бегут к выходу.

Ночь. На площади построились в каре отряды. Старший пионервожатый, начальница лагеря и другие стоят спиной к трибуне. Разговоры в строю:

– Сколько время?

– Блин, ботинки не на ту ногу надел...

– И Гидра тут...

– В прошлом году утром разбудили...

**Старший пионервожатый** (в свистящий микрофон). Внимание, дружина! Лагерь объявляется на осадном положении. Вблизи лагеря высадился десант условного противника. Наша задача его обнаружить и обезвредить. А-а, в качестве условного противника у нас, значит, первый отряд. (Начальнице лагеря.) Все что ли? (Она кивает.) Все. Разойтись по отрядам.

Утро. Славка идет по лугу от родника. Его догоняет Мурзик.

**Мурзик.** Славка, ну чего ты? Я тебя ищущу... Там наши диверсанта поймали из первого отряда. Представляешь, она на остановке, на шоссе сидела.

**Славка.** Кто сидела?

**Мурзик.** Ну эта, рыжая. Ну, ты ее видел, с ней Гарик еще... Она кусалась, представляешь? Вожатому из второго отряда рубашку порвала. Гидра приказала ее пока в изоляторе запереть – Сюткин рассказывал, он бегал смотреть, как ее ловили. Чего ей теперь будет, а?

**Славка.** Гад твой Сюткин...

День. Славка сидит в кустах позади административного корпуса. Из окна на втором этаже выглядывает Алена, замечает Славку.

**Алена.** Мальчик! Мальчик! Ты лестницу достать можешь?

День. Позади административного корпуса. Алена спускается по лестнице; спустившись, целует Славку в щеку.

**Алена.** Спасибо тебе, мальчик.

Убегает по направлению к забору.

Сумерки. Спортивная площадка. Славка и Мурзик висят на турнике.

**Мурзик.** Завтра в лес пойдем первоотрядников ловить. Всем лагерем. А обед, сказали, сухим пайком дадут. Здорово?

**Славка.** Здорово.

**Мурзик.** Нас с тобой в разведчики записали. А Сюткина, как дурака, в санитары. Он ревел там. Слушай, а как ты думаешь, правда, Сюткин говорил, что колесо на роднике от немецкой самоходки? От "фердинанда"?

**Славка.** Может, и от самоходки.

**Мурзик.** Здорово было бы. А интересно, кто сильнее – самоходка или танк?

**Славка.** Не знаю.

Славка спрыгивает вниз, меряет свой рост. Вечер. Козлов один в палате смотрит по телевизору трансляцию с Олимпиады-80.

Ранний вечер. Нестройной колонной отряды идут по лесу. Голос за кадром:

– На следующий день мы всем лагерем двинули в поход. По идее, первоотрядники должны были уже ждать нас на специальной полянке, но что-то в этой Зарнице с самого начала не заладилось. Мы шли по лесу, останавливались и снова шли. Ближе к вечеру малышня захныкала, и всем стало ясно, что мы заблудились.

Ранний вечер. Отряды стоят в лесу. Вожатые переговариваются между собой. Славка, прислонившись спиной к дереву, слушает их разговор:

– Так, четвертый отряд, стоим на месте, не расползаемся как тараканы! (Понизив голос.) Ну чего? Шестой час. Где эта полянка трепанная?

– А что – полянка? Что ты думаешь, они нас там до вечера будут ждать с поднятыми лапками? Они уж часа два как в Протвино смылись.

– Протвино-портвейно...

– Мотать надо отсюда, пока не стемнело.

Сюткин, забравшись на дерево, кидает в Гаврилову шишками.

**Сюткин.** Гаврюша, голос!

**Вожатый.** Куда мотать? Ты знаешь? (Один из его коллег протягивает ему компас.) Чего ты мне его суешь? Я в нем не шарю ни грамма...

**Гаврилова.** А Сюткин шишками кидается!

**Вожатый.** Сюткин! Ну куда тебя несет?!  
Разговор вожатых:

– Мужики, ну чего делать-то будем?

– Ладно, давай наугад, по-вятски, авось шоссе не проскочим.

Славка идет в лес. Мурзик бежит за ним.

**Мурзик.** Славка, ты куда?

**Славка.** Дорогу искать. Здесь шоссе где-то рядом.

**Вожатый.** Ермаков! Мурзин! Куда собрались?

**Славка** (не оборачиваясь). В туалет.

**Вожатый.** Только быстро!

**Девочка.** А я тоже хочу.

**Вожатый.** Все хотят!

Вечер. Обочина шоссе. Рядом автобусная остановка. Славка выходит из кустов на обочину и тут же снова прячется. На той стороне шоссе он видит Алену и Гарика. Шум машин мешает ему разобрать слова. Гарик пытается уйти, Алена догоняет его, он ее отталкивает, она снова его догоняет.

**Алена.** Ну Гарик...

**Гарик.** Отвали, я сказал. (Отталкивает ее ладонью в лицо.) Езжай домой, маме пожалуйся.

Алена остается на месте. Гарик идет вдоль шоссе. Славка догоняет его, хватая его сзади за одежду, наставляет на него деревянный автомат.

**Гарик.** Чего тебе?

**Славка.** Сдавайся.

**Гарик.** Чего?

**Славка.** Руки вверх, сдавайся.

**Гарик.** Пошел отсюда.

Отталкивает Славку, идет дальше. Славка догоняет его.

**Славка.** Руки вверх, сдавайся.

**Гарик.** Ты чего, совсем плохой? В детстве мама уронила?

Хватает Славку рукой за шею, с силой толкает в кювет; Славка падает. Гарик идет дальше, оглядываясь на дорогу с намерением остановить машину. Славка вылезает из кювета и догоняет его. Славка старается хмуриться, но по его грязным щекам текут слезы.

**Славка.** Руки вверх, сдавайся.

**Гарик** (теряя терпение). Ну бл... щенки!..

Бьет Славку, Славка падает в кювет, Гарик спускается туда за ним, снова бьет его.

**Алена.** Не трогай его!

Бежит к ним. Гарик вылезает из кювета, отряхивается..

**Гарик.** Да пошли вы... Недоумки.

Отбрасывает под колеса машин автомат Славки, идет вдоль шоссе; обернувшись, останавливает машину, садится в нее, уезжает. Алена помогает Славке подняться, вытирает ему лицо.

**Алена.** Очень больно?

**Славка.** Нет.

**Алена.** Идти можешь?

**Славка.** Могу.

Выходит на обочину шоссе; переждав поток машин, выходит на проезжую часть, поднимает свой автомат, возвращается на обочину. К нему подходит Алена.

**Алена.** Спасибо тебе, мальчик.

Целует его, идет к остановке, садится в подъехавший автобус, уезжает в ту же сторону, куда уехал Гарик.



Поздний вечер. Звезды. На заднем дворе лагеря стоит грузовая машина. Метрах в двадцати от нее домик персонала. Дверь открыта, там горит свет, и несколько человек собираются ужинать. Слышны их разговоры.

**Женщина.** Я им так и сказала: последнюю смену отработаю, а там пусть как хотят.

**Мужчина.** Мне немножко...

**Женщина.** Ты куда?

**Шофер.** Да подложить бы чего... (Выходит за дверь.) Под колеса в смысле... Тормоза у меня того... (Оглядывается.)

**Женщина.** Да садись ты.

**Мужчина.** Во, это я понимаю – с винтом!

**Женщина.** Дверь-то закрой – комары летят, да и зайдет кто...

Шофер возвращается, закрывает дверь. В кузове машины на тюках с грязным бельем лежат, глядя на звезды, Славка и Мурзик.

Голос за кадром:

– Мы вернулись поздно вечером. На следующее утро первоотрядники пришли в лагерь – опухшие и растрепанные. Все это время, вместо того чтобы прятаться в лесу, они пропьянствовали в Протвино. Гидра поносила их на весь лагерь. А в ту последнюю ночь "Зарницы" мы с Мурзиком стояли в последнем карауле на заднем дворе.

**Мурзик.** А все-таки здорово.

**Славка.** Чего здорово?

**Мурзик.** Здорово, что у нас такая страна большая. Я вот подумал: вот если даже на поезде несколько дней ехать, и все равно будет наша страна. Здорово?

**Славка.** Ага. А правда, что у Козлова телевизора нет?

**Мурзик.** Вроде. Он из деревни, и родители у него старые такие, я их видел, он каждый год сюда приезжает. А ты на следующий год приедешь?

**Славка.** Не знаю, может быть.

**Мурзик.** Приезжай.

Поздний вечер. В палате 4-го отряда Козлов смотрит по телевизору закрытие Олимпиады-80.

Поздний вечер. Славка и Мурзик лежат в кузове машины.

**Мурзик.** А мы в прошлом году на смотре строя песню учили – хорошую такую, я только название забыл.

Мурзик поет:

*Шел отряд по берегу,  
Шел издалека,  
Шел под красным знаменем  
Командир полка.  
Э-э-эй, э-эй, командир полка.*

*Кто вы, добры молодцы,  
Кто вас в бой ведет,  
Кто под красным знаменем  
Раненый идет?  
Э-э-эй, э-эй, раненый идет.*

Машина незаметно трогается с места, катится под уклон.

**Мурзик.** Это чего это?

**Славка.** Кажись, едем.

**Мурзик.** Ага. Точно едем. Эй!

Машина сносит плакат с надписью "Молодежь – наш надежный резерв" и несется дальше, прыгая на ухабах.

**Мурзик.** Славка! Славка, держись!

Машина пронесется мимо корпусов, пересекает поле, проламывает забор, сминает кусты, въезжает в реку и останавливается, наполювину погрузившись в воду. Вскоре все успокаивается. Вода медленно струится мимо машины. За рекой в поле горит костер, видны стреноженные кони. Из кузова доносится голос Мурзика:

– Ты испугался?

Голос Славки:

– Не-а.

Голос Мурзика:

– А я немножко. Хорошо, что матрасы тут.

Голос Славки:

– Слушай, Мурзик, давай Козлову на телевизор деньги копить?

Голос Мурзика:

– Давай.

Мурзик поет. Вскоре к нему присоединяется и Славка:

*Отвечают воины:*

*"Мы за новый мир,  
А под красным знаменем  
Красный командир".  
Э-э-эй, э-эй, красный командир.*

*Голова повязана,  
Кровь на руке,  
След багровый стелется  
По сырой траве.  
Э-э-эй, э-эй, по сырой траве.*

**Е. Лобачевская:** Мы называем Полину "наше сиятельство", потому что она осетинская княжна. Недавно "нашему сиятельству" исполнилось восемнадцать лет. Она талантлива, полна энергии и весела. У "нашего сиятельства" точный глаз и острый язык. Она прекрасно чувствует кинематографическую деталь и владеет искусством написания кинематографического диалога. Сначала Полина писала в жанре комедии, многое в этом трудном деле ей удавалось, и мы были довольны, что в мастерской растет комедиограф. Но вдруг "наше сиятельство" поразила нас, написав психологическую драму. Киноновелла "Поездка", на наш взгляд, серьезная и интересная работа с прекрасно написанными характерами и сильным психологическим напряжением.

Прочитав ее, мастер курса впервые в жизни захотел сменить профессию и попробовать себя в качестве режиссера – так взволновала и увлекла его "Поездка" и так захотелось, чтобы эта киноновелла стала фильмом.



Полина Гудиева

## Поездка

**В** купе – жарко. Две женщины – одна напротив другой.

Первая, Александра, сидит, откинувшись назад, нога на ногу, сцепив на колене пальцы – длинные, ухоженные, с яркими красными ногтями. Высокий лоб, красивые глаза под тяжелыми веками, еле заметная улыбка на немного тонких губах. Волосы заколоты сзади парой шпилек, но несколько выбившихся прядей легко выются на лбу и щеках. Она в белой мужской рубашке, расстегнутой на груди, сверкающей множеством тончайших цепочек. Белые джинсы, белые туфли на высоком каблуке с золотыми ремешками, изящно оплетающие щиколотки.

Вторая, Ольга, намного проще своей попутчицы. Она, пожалуй, моложе ее, но выглядит старше. У нее светлые прямые волосы до плеч, челка, серые глаза, большой рот с бледными губами. Черная блуза, присобранная снизу на резинку, и серая юбка по колено. Старые босоножки. Сидит она на самом краю, сильно подавшись вперед, локтями упираясь в стол, словно готовая в любое мгновение сорваться с мес-

та и бежать. Она смотрит в окно не столько из любопытства, сколько от смущения. Постоянно убирает с лица налипшие влажные волосы. Смешно выпятив нижнюю губу, обдувает лицо.

Александра рассматривает ее. В лице ее есть что-то хищное, она смотрит прищурившись, улыбаясь той улыбкой, которую называют снисходительной.

Ольга, чувствуя на себе этот взгляд, нервничает еще больше. Глаза бегают не в силах ни на чем остановиться, пока не устремляются вверх на окно. И она резко встает, чтобы открыть его, но ей не хватает сил. Ольга наваливается на окно всей тяжестью, но замок не поддается. Ольга закусывает губу, лицо ее краснеет от напряжения, руки дрожат. Она мельком смотрит в сторону Александры. Та не отводит глаз, ей интересно. Александра видит под приподнявшейся блузой Ольги юбку, закатанную на поясе и таким способом укороченную; Ольга замечает это, одергивает блузу, садится, не выпуская из рук розовой ткани, низко склоняя голову, так что упавшие волосы почти скрывают ее лицо.

Александра откидывается назад, по-прежнему не сводя глаз с Ольги.

Ольга снова поднимается, чтобы открыть окно, но неожиданно поезд трогается.

Он взвизгнул, по телу его пробежала дрожь. Изображение за окном резко ушло вправо, потом медленно поползло влево.

Ольга сильно качнулась назад, вперед, तो ропливо и испуганно села.

Совсем смущенная, она несмело взглянула на соседку. Александра, по-кошачьи гибко потянувшись, сладко улыбнулась. Вздохнула. Сказала приятным низким голосом:

– Ну что, давай знакомиться?

Ольга пожала плечами. Так быстро, что казалось, будто она вздрогнула, потом опустила глаза и стала смотреть на руки Александры. Одна из рук протянулась к ней. Красиво. Важно. Со слегка приподнятым указательным пальцем.

– Александра, – сказала женщина приветливо и в то же время таким тоном, что становилось ясно: не Шурочка, не Саня, а именно Александра, с рождения и до смерти, без всяких уменьшительно-ласкательных.

И Ольга вдруг взяла ее руку в свои и, положив на одну ладонь, накрыла другой, как очень дорогой и незаслуженный подарок, просто не зная, что с ним делать. Александра чуть смущенно улыбнулась и очень медленно стала убирать руку. И тут, неожиданно для самой себя, Ольга прижалась к ней щекой, потом губами, попала на что-то холодное, это был перстень с камнем.

– Ну, что вы, господа, деточка? Что с вами?! – по-прежнему улыбаясь, удивленно заговорила Александра, высвобождая руку.

Словно очнувшись, Ольга испуганно спрятала свои руки под стол, вцепившись в собственные колени. Замерла. И наконец подняла глаза. Светлые, блестящие, с мокрыми слипшимися ресницами.

– Ольга, – тихо сказала она.

– Оля?

– Оля, – с нажимом выговорила Ольга свое имя, как труднопроизносимое, качнувшись вперед, будто произнесено это было из последних сил.

– Олечка, голубушка, что это вы? Что это у вас, а? – Александра пальцем провела у себя под глазами, словно вытирая слезу. – Ну? Девочка моя, что ж мы так, что ж мы, честное слово, знакомство-то начинаем? Олечка? Ну-ка улыбнись...

Ольга улыбнулась глупо, натянуто.

– Так лучше. Тебе жарко?

Александра поднялась и легко, без напряжения открыла окно. В купе ворвался свежий ветер. Александра вздохнула полной грудью, села. Вытащила из своей сумки бутылку коньяка.

– Ну, а теперь давай выпьем! Что еще в дороге делать? Книжки мы не читаем... значит... значит коньяк!

– Что? – не расслышала Ольга.

– Коньяк.

– Что коньяк?

– Выпьем.

– Коньяк? Нет, спасибо.

– Что так? Не пьешь?

Александра рассмеялась, поставила бутылку на стол прямо перед Ольгой.

– Коньяк!

– А... Не... Нет, не пью. Коньяк тоже.

– Язва?

– Где?... А, нет... печень. Врачи говорят – нельзя.

– Ладно. Нельзя так нельзя, – без сожаления согласилась Александра. – Едешь-то к кому?

– Еду? Ну... к брату... У меня брат...

– Пьет?

– Кто? Брат?

– Пьет?

– А, да, пьет... Немножко.

– Тогда забирай. Дарю! Скажи брату – попутчица подарила.

– Да ну что вы... – растерялась Ольга.

– Дарю, дарю. Бери! Хороший коньяк... вон звездочки, аист... белый, – Александра щелкнула ногтем по этикетке.

– Спасибо... Ой, мне и сунуть-то его некуда.

Ольга склонилась над сумкой. Взглянула на Александру. Та усмехнулась отвернувшись. Ольга смутилась. Спрятала бутылку за подушку. Сидела, не решаясь поднять глаза.

И снова тягостная пауза, почти как в самом начале – Александра смотрела в окно, словно забыв о существовании Ольги, а Ольга, кажется, хотела что-то сказать, но в этот момент за окном с грохотом промчался встречный поезд. И Ольга стала смотреть в окно, глаза ее забегали взад-вперед. Александра вытянула ноги на сиденье, вынула шпильки и, встряхнув волосами, стала внимательно рассматривать профиль Ольги.

– У тебя красивое лицо, только ты этого не знаешь, – сказала она громко и неожиданно.

– Какое же оно красивое, – удивилась

Ольга и, поджав губы, посмотрела на Александра.

– Не поджимай губы, избавься от этой привычки, – строго и поучительно заговорила Александра нахмурившись.

– Я уже не замечаю... – Ольга улыбнулась.

– Вот и улыбайся. Тебе идет. – И снова, потеряв вдруг к Ольге интерес, занялась изучением собственных рук.

– Вы актриса? – храбро спросила Ольга.

– Я? – Александра продолжала изучать свои руки. – Актриса? – деланно рассмеялась. – Нет, ну что ты... – Вытянув руки, пошевелила пальцами. – Хотя в некотором роде я, наверно, актриса, – согласилась она и только теперь посмотрела на Ольгу. – Не против? – Александра достала сигарету и вставила ее в длинный серебряный, чуть потемневший мундштук.

– А? Нет, пожалуйста, конечно! – Ольга, положив руки на колени, перебирала пальцами ткань юбки: собрала ее в гармошку, обнажая ноги, потом отпустила и начала все заново.

Александра щелкнула зажигалкой. Нервно извиваясь, заструился дым. Александра затянулась, прикрыв глаза, втянув щеки. Впервые Ольга пристально взглянула на попутчицу и заметила, что ресницы у нее наклеенные. Александра словно почувствовала этот взгляд и медленно открыла глаза.

– Заметила? – спросила она.

– А?

– Ресницы... – Александра мизинцем провела по ним. – Накладные. Опять вошли в моду... Только... – она затянулась, нахмурилась брови. – Угощайся... – протянула пачку сигарет.

Ольга жестом остановила ее.

Александра усмехнулась:

– И не куришь... – закашлялась. – А я вот... никак не брошу... – она ногтем поскребла резной узор на мундштуке. – Настоящее серебро, из Испании откуда-то... последний любовник подарил, – засмеялась, обдавая Ольгу дымом.

– Испанец?

– Любовник? Не-е-ет... Хохол, – Александра даже взвизгнула от смеха.

– Кто же вы тогда... – спросила Ольга, теперь разглаживая смятую юбку.

– То есть? – нахмурилась Александра.

– То есть по профессии... Если не актриса...

– А-а-а, нет, не актриса... Я – любовница.

Профессия такая.

Ольга густо вдруг покраснела, опустила лицо и сидела так, напряженно и неподвижно глядя под ноги.

– О, господи, – вздохнула Александра. – Я же не шлюха какая-нибудь, не проститутка, я же... черт возьми... любовница... Понимаешь – любовница! Они любят меня, я люблю их. Понимаешь? Понимаешь? – требовала Александра.

– Понимаю, – еле слышно ответила Ольга и, подняв голову, взглянула на Александру виновато. – Просто вы... вы просто такая красивая... – призналась она.

– Красивая, – повторила Александра и усмехнулась примирительно. – А как же еще... – Она посмотрела на Ольгу и вдруг предложила с веселым азартом: – А хочешь, и ты будешь красивая?

– Кто? Я? – удивилась Ольга.

Александра уже не слушала ее, доставая из косметички пузатые баночки, помаду и тени, щеточки и кисточки.

– Сейчас, сейчас я из тебя сделаю... Не двигайся! – приказала она, и Ольга замерла.

Александра достала несколько заколок. Убрала с лица Ольги челку, стала накладывать тон. С тихим хлопком открыла пухлую коробочку с множеством разноцветных шариков. Обмакнула мягкую кисть. Широкими мазками нанесла на лицо прозрачную пудру. Смотрела прищурившись, раздумывая, как художник, постукивая кистью себя по губам. Наконец, найдя нужный цвет, стала наносить тени...

Ольга вдохнула воздух, задержала, вытянувшись как струна, замерла. Открыла глаза, желая взглянуть на Александру, но та жестом приказала закрыть их. Ольга подчинилась. Опять вдохнула. Опять замерла. И вдруг заговорила очень быстро, на выдохе:

– У меня мама умерла, – затихла, напряженно, словно прислушиваясь.

Александра молчала, продолжая красить, но слушала.

– Почти год назад умерла мама... Я была в отпуске... Мне позвонили и сказали: "Умерла ваша мама..." Какой-то незнакомый голос сказал: "Умерла ваша мама". А там... Там еще два голоса были... женских... Ну, знаете, так бывает иногда, так бывает, в разговор врываются... или мы ворвались... там две женщины были и... и этот голос... незнакомый голос... А я трубку повесила. Не спросила даже ничего, просто повесила...

Александра слушала, продолжая красить лицо.

– Умерла... Она, мама, умерла, а я и ничего, понимаете, ну ничего не почувствовала. Прав-

да. Совсем. То есть... вот вроде... больно так... Я даже не плакала. Не почувствовала я, ничего не почувствовала. Потом думаю... "Ослышалась!.." "Не туда попали!.." "Не может быть!.."

За окном проплывал однообразный пейзаж.

– А почувствовала только после похорон.

Александра опустила руку с кисточкой. На лице ее возникли одновременно растерянность и досада.

А Ольга, не открывая глаз, продолжала рассказывать.

– Даже позже. Когда муж ушел. Никогда он не любил меня, но не уходил... Я не боялась... Наверное... это правда: "Чем меньше мы мужчину любим, тем... – сглотнула, сморщила лоб, – тем больше нравимся ему". Я не боялась, что он уйдет. Одиночества не боялась. Наивно, конечно, но думала, если что, я к маме, и не боялась...

Александра перевела взгляд на окно, сощурилась от неожиданно ударившего в глаза солнца, взяла сигарету и закурила, забыв о мундштуке.

По лицу Ольги, из-под сомкнутых ресниц побежали слезы. Она слизнула их, робко открыла глаза, часто моргая, и виновато улыбнулась. Внимательно посмотрела на себя в зеркало и спросила:

– Все?

– Тушь еще... – Александра взяла тушь.

– Я сама. Я умею, – Ольга стала красить ресницы и продолжила свой рассказ спокойнее: – Когда ее не стало, после первой же ссоры, он почувствовал, что я боюсь. Впервые за всю нашу жизнь боюсь его ухода. Он... Как он это почувствовал или понял... Говорят, собаки чувствуют, кто их боится. Тех и кусают... А теперь я к брату еду, он в больнице. У него больше никого нет. Он выпивает, немножко... – взглянув на лежащую на столике ладонь Александры, обессиленно и доверчиво Ольга положила на нее свою голову.

– Бедняжка, – сказала Александра и стала гладить Ольгу по волосам. – Бедняжка, – повторила она.

– Я дура, да? Я дура, я идиотка, да? – тихо и доверительно спросила Ольга. – Да? – требовала она ответа.

Александра кивнула.

– Да?

– Да... – с улыбкой сказала Александра.

– Дура...

И Ольга вдруг вскочила и посмотрела на себя

в зеркало. Она действительно стала красивая, может быть, даже красивее, чем Александра. Ольга усмехнулась и заговорила со своим отражением:

– Дура... Нашла кому рассказывать... Идиотка! – крикнула она своему отражению и, заметив в зеркале взгляд Александры, растерянный и притихший, заговорила через зеркало с ней. – Что смотрите? Что, интересно, да? Что? Что вы на меня все время смотрите?

Александра попыталась улыбнуться, глядя на Ольгу с жалостью.

– Не смотрите на меня так! – закричала Ольга требовательно. – Вы – злая, злая, злая, злая! Будете рассказывать всем... своим... любовникам... Прекратите смотреть так на меня! – Она рывком открыла дверь и буквально вывалилась в коридор.

Когда Ольга вернулась, Александры в купе уже не было. Не было и ее вещей. Лицо Ольги было умыто, челка мокрая. Она взглянула на себя в зеркало, увидела свой растерянный взгляд и резко отвернулась. Села на свое место, как сидела в самом начале поездки: положив руки на колени, зажато, испуганно. Медленно подняла голову и посмотрела перед собой. Александры не было. Ольга усмехнулась и засмеялась вдруг, освобождаясь от недавнего наваждения. Задумалась, стала серьезной.

Заметив след, оставленный на столике тушью, медленно растерла его в серое пятно. Еще раз посмотрела перед собой, поднялась и села на то место, где сидела Александра. Посидела неподвижно, прислушиваясь к себе, откинулась назад, положила ногу на ногу и сцепила на колене пальцы рук. Посмотрела на свое прежнее место, снисходительно, изучающе и насмешливо, покачивая ногой.

И вдруг в дверь постучали...

Ольга испуганно вскочила. Припечталась к своему месту. Замерла прислушиваясь. Вновь постучались.

– Да... да... – тихо и неуверенно сказала она.

Очень медленно и робко открылась дверь. Заглянула совсем молоденькая девчонка. Сильно смущенная. Улыбнулась.

– Здравствуйте.

Ольга кивнула.

– Вам сказали... что...

– Что?

– Тут с вами женщина ехала, да?

– Да, кажется, да... А в чем дело?

– Мы просто... просто я думала, вам уже сказали, что мы поменялись... Я спросила: "Мужчина?" – а она сказала: "Женщина". Я согласилась. Вы не против?.. – робко спросила новенькая.

– Да пожалуйста! – раздраженно ответила Ольга и отвернулась к окну.

Девушка вошла очень тихо. Тихо закрыла за собой дверь. Тихо опустилась на сиденье. Села, худенькая и прямая, как тростинка. Ольга перевела на нее взгляд. Темно-рыжие волосы, туго стянутые сзади в хвост, прозрачные глаза, белая кожа. Нежно-лиловая рубашка, тонкий замшевый сарафан с металлическими пряжками на бретельках. Белые носочки, белые туфли-лодочки. Белая сумочка, явно мамина. Вся чистая, аккуратная.

Ольга закинула ногу на ногу и сцепила ладони на колене. Она открыто наблюдала за девушкой, и то, что та от смущения опустила голову, явно доставляло ей удовольствие. Но, сделав усилие, девушка подняла глаза и вопросительно взглянула на Ольгу. Ольга усмехнулась и стала болтать ногой, глядя в глаза новенькой прямо и насмешливо, и та снова опустила голову и положила руки на колени.

Ольга победно улыбнулась.

– Ну что, давай знакомиться, – произнесла она фразу Александры, даже подстраиваясь под ее голос. – Ольга, – она протянула руку с чуть приподнятым указательным пальцем.

Девушка неловко пожала ее пальцы.

– Аня.

– Павлова?

Девушка смутилась еще сильнее.

– Да? – рассмеялась Ольга.

Аня кивнула.

– Балерина?

– Вы так говорите...

– Как?

– Ну... будто у меня на лице все написано... – она попыталась улынуться.

– Все! – подтвердила Ольга. – И едешь небось... к бабушке...

– К дедушке.

– А, один черт, – махнула рукой Ольга, но махнула красиво, плавно, со снисхождением.

А Аня вновь смутилась и опустила глаза.

На лице Ольги возникла мгновенная досада от того, что она не знала, что дальше говорить. Тогда она вытащила из сумки бутылку и со стуком поставила на стол.

– Выпьем? – предложила она тоном, не терпящим возражений.

– Я не пью, – еле слышно прошептала Аня.

– Тем более выпьем, – резко перебила Ольга. – Нож есть?

– Зачем?

– Я зубами открывать буду? – раздраженно спросила Ольга.

– Есть. Сейчас.

Аня полезла в сумку, достала складной нож в форме рыбки, явно тупой.

– А закусить есть что?

– Что?

– То, чем закусить?

– Еда?

Ольга открыла коньяк, понюхала.

– Еда.

– Курица есть, хлеб, сыр. И редиска есть.

– И редиска есть?

– Есть...

– Не может быть! Давай, давай, выкладывай, буржуйка, делись!

Аня стала торопливо выкладывать продукты на стол.

– Это все... – сказала она и посмотрела нерешительно.

– Какая-то ты... замороженная ты какая-то... – засмеялась Ольга, полезла в сумку, вытащила полиэтиленовый пакет с лекарствами, достала пластмассовый пузырек с таблетками, откупирила и, подумав, проглотила сразу две. Торопливо налила коньяк в стаканы по довольно большой порции.

– Сейчас я тебя отморожу! Пей!

Аня испуганно замотала головой.

– У меня... – зашептала Аня.

– Что, печень?

– Нет... У меня своя кружка есть.

– Из чужой посуды не пьешь? Это правильно, – одобрила Ольга. – Сейчас время такое – раз и СПИД. Ну, где твоя посуда?

Аня поставила на стол свою кружечку, совсем детскую, с цветочком на боку.

Ольга перелила коньяк из стакана в Анину кружечку, но вдруг поморщилась.

– Знаешь... – заговорила она нерешительно, – пить на голодный желудок как-то...

Аня согласно кивнула.

– А есть балеринам можно? – спросила Ольга и засмеялась.

И Аня засмеялась. Она потянулась к редиске, яркой и влажной в запотевшем пакете. Ольга опередила ее, взяла самую большую редиску.

– Желание надо загадать, – сказала она, приблизив редиску ко рту.

– Что? – не поняла Аня.

– Я еще не ела редиску в этом году. Слово такое "редиска", – улыбнулась, – редис-кис-кис...

Аня тоже улыбнулась. Она внимательно смотрела на вареную курицу, отщипывая от нее маленькие кусочки мяса и отправляя их в рот.

– Все, загадала, – Ольга с хрустом откусила половину редиски, которая внутри оказалась пустой.

И бросив зло вторую половину на стол, заговорила:

– А ты знаешь, кто я такая?

Аня помотала головой.

– Я актриса! Я, между прочим... ты... ты, между прочим, знаешь сколько у меня любовников? У-у-у-у! Смотри, подожди, жрешь все, отвлекись, смотри сюда... Вот смотри. Муж режиссер, красавец, самец, – Ольга загнула первый палец. – Актер один, кобелюка, дрянь, тоже красивый, это, следы, второй. Ну там, кто еще? Все, конечно, все, актеры, шоферы... Что-то... тошнит меня... – Ольга прикрыла ладонью рот. – А, ладно, фигня все! Ты, вообще, узнаешь меня? Нет?

Аня опять пожала плечами. Ольга раскраснелась, она была в ударе.

– Деревня... Не знаешь ничего, не пьешь, не куришь... А, ну тебя... Нет, погоди, я тебя жизни сейчас учить буду... Вот слушай, я, между прочим, счастливая женщина! А всё знаешь почему? А-а-а... – Ольга погрозила пальцем, словно кто-то пытался узнать ее тайну. – Хочешь скажу?

Аня в третий раз пожала плечами.

– Ты икаешь что ли? Ну что ты все плечиками жмешь, балерина? Только не отвлекайся. Слушай. Меня ни один мужик не бросил. А знаешь почему? – Ольга подняла указательный палец. – Потому что я их всегда первой бросала. Первой! Гуд бай, май лав, гуд бай! Чем меньше мы мужчину любим, тем больше нравимся ему! Это тебе не... Кто там это сказал?

– Пушкин. Только он не так...

– Мелкая еще учить меня, – резко перебила Ольга и выпила свой коньяк, не закусив, сморщилась.

– Вы сыр...

– Прекрати учить меня... – зашипела Ольга.

– Надоело. Пей!

– Нет, спасибо.

– Пей! – Ольга схватила ее кружку и ткнула ей в лицо.

Аня взяла кружку в руки.

– Пей!

– Я потом лучше.

– Сидишь вся правильная, аккуратная, мы не курим, мы не пьем, балерина, к бабушке! Сидишь, как мумия, ни слова не сказала... Ну... не хочешь смеяться, поплачь! А? Ну, ну же, давай...

Аня замерла.

– Вы пьяны, – сказала она неожиданно жестко.

– Пьяна? – Ольга улыбнулась вдруг и кивнула. – Пьяна. Ладно, мирись, мирись, давай руку.

Она протянула руку, отставив мизинец. Аня улыбнулась и зацепила его своим мизинцем.

– Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, то я буду кусаться! – и приблизив Анину руку к своему лицу, прикусила вдруг зубами Анин мизинец. Аня смотрела на нее широко открытыми немигающими глазами. Ольга сжимала зубы сильнее и сильнее. На Аниных глазах выступили слезы. Ольга заметила их и выпустила палец изо рта.

– Больно? – спросила она победно.

Аня опустила голову.

– Больно? – закричала Ольга.

– Очень больно... – прошептала Аня. На ее мизинце остался след от зубов Ольги.

– То-то, – сказала Ольга, встала, подошла к зеркалу и посмотрела на себя.

Аня громко вскрикнула и заплакала.

– Замолчи! – крикнула Ольга не поворачиваясь.

Аня заплакала еще громче.

– Заткнись! – закричала Ольга повернувшись и села напротив.

Аня уткнула лицо в ладони и зарыдала.

– Я тебя умоляю! – воскликнула Ольга, и в голосе ее тоже возникли слезы. – Я тебя умоляю, замолчи, прекрати, заткнись, пожалуйста, замолчи, – и заплакала. – Я умоляю, умоляю... Тише, тише... Я, ну хочешь, на колени перед тобой встану, – и она сползла с сиденья, встав перед Аней на колени и сцепив на груди руки.

Аня убрала ладони с мокрого от слез лица и удивленно посмотрела на стоящую перед ней на коленях попутчицу.

Аня затихает и, кажется, успокаивается. Ольга стоит перед ней неподвижно на коленях. Тихо. Слышен только стук колес да долгий гудок локомотива.



# АЛЕКСАНДР МИТТА

Эйзенштейн,

## СТЕРЕОТИПЫ ДРАМАТУРГИИ

Станиславский и мы.

### Глава 2. ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПЕРИПЕТИЯ ОТ СЧАСТЬЯ - К НЕСЧАСТЬЮ - К СЧАСТЬЮ.

Представьте себе, что вы купили на Блошином рынке у пожилой турчанки старый медный кувшин. Принесли его домой, потерли, чтобы он заблестел. И вдруг из кувшина вылезло облако и превратилось в джинна. И джинн говорит: "Пожелай всего, чего хочешь. Не стесняйся, составь полный список. Не спеши, я ждал 6 тысяч лет, подожду еще полчаса."

Что бы вы пожелали?



– 100 миллионов наличными. Премии на всех международных фестивалях. Железное здоровье. Наоми Кемпбел в подружки. Или лучше Клаудию Шиффер. Впрочем, пусть будут обе. "Ягуар", нет лучше "порше"...

Этот список был бы очень длинным. И вы бы много раз говорили джинну: "Погоди, я еще что-то припишу для отца, для мамы, для сестренки, для подружки из Франции. И еще я вспомнил одну мелочь для себя, которую нельзя купить за деньги..."

Если вы предусмотрительный человек, джинн долго будет ждать полного списка.

Ну а если бы это был не джинн, а маленькая золотая

рыбка, которую вы поймали в реке. Она трепещет в ваших ладонях. Вы уже собрались бросить ее обратно в реку, и вдруг она, задыхаясь, шепчет:

– Говори одно желание... только одно и в одном слове... Ах, я так слаба, я задыхаюсь... ну... ну... я не могу ждать.

Вот тут вы бы задержались. Что пожелать? Богатство? Но что толку в нем, если вы безнадежно больны? Здоровье? Но что за радость, если ваш дом сожгут, а семью убьют?

Ручаюсь, что в короткое время вы окажетесь в капкане ваших желаний. Нет одного слова для всех ваших



Продолжение. Начало см. в №4, 1995 г.

желаний... Нет... С джином вы за полчаса не смогли разобраться. А тут решить одним словом все самое важное? Нет...

Но такое слово есть. Оно мерцает вдали на горизонте всех наших устремлений. О нем мы мечтаем всю жизнь. И на пороге смерти вспоминаем, что владели этим сокровищем, когда у нас не было ничего, кроме детства. Вы помните этот великий кадр из фильма "Гражданин Кейн"? Стекланный шарик, внутри которого идет снег, в руке умирающего Кейна.

Это слово "счастье".

Когда оно есть, мы его не замечаем, когда его нет, все остальное теряет смысл.

Счастье – это то, к чему мы стремимся с рождения до смерти сознательно и безотчетно. Чем бы мы ни занимались – мы хотим получить счастье. И что самое удивительное – оно всегда впереди, кажется, вот оно, рядом. Ухватишь, а оно, как мокрый обмылок в ванной, выскальзывает из рук. Или как желанный ночлег в морозную зимнюю ночь. Мерцает и зовет: "Иди ко мне!"



Пробиваясь к счастью, человек может своротить горы. Мечта о счастье объединяет людей для самых беспощадных схваток. Моря крови и пирамиды трупов – все ради счастья.

Неудивительно, что драма своей главной задачей считает показ человека в борьбе за счастье. Дранию интересуют крайние акты и крайние факты. Поэтому в центре ее внимания находится человек между счастьем и несчастьем.

Все полны внимания, когда персонаж в драме стремится к счастью. И все охвачены волнением, когда на него обрушивается несчастье и он попал в драматическую ситуацию. Но больше всего внимания приковано к действиям персонажа, когда счастье и несчастье связаны воедино.

Стремился к счастью и вдруг попал в несчастье. Был несчастен и вдруг стал счастлив. Эта схема для драмы самая продуктивная. Она близка опыту каждого человека.



Рисунки автора

Мы все стремимся к счастью. Но нас нарожали так много и при этом никого не спросили: нужны ли ему остальные 6 миллиардов человек на земле? Приходится с этим считаться. Каждый раз, когда мы вот-вот ухватимся за радугу счастья, что-то отталкивает нас, мешает, обгоняет и отнимает наше счастье. И никогда путь к счастью не

бывает прямым и свободным. Поэтому борьба за счастье близка и понятна каждому. Показать эту борьбу – лучший способ подключить зрителя к вашей истории.

Удивительный эффект сопереживания человеку, который, борясь за счастье, попадает в несчастье, заметили еще древние греки. Он стал одним из элементов поэтики древнегреческой трагедии. Всего-навсего 4 тысячи лет тому назад. Это движение от счастья к несчастью, и наоборот, от несчастья к счастью греки называли “ПЕРИПЕТИЯ”. Она является ключевым моментом поэтики Аристотеля. До сих пор человечество не придумало ничего лучше для эмоционального возбуждения зрителей в драме.

Мы теперь знаем, что сильная радость и сильное горе вызывают в душе каждого одну и ту же реакцию стресса. Древние говорили: “Чрезмерная радость, так же как чрезмерное горе – убивают”. Похоже, что они догадывались о том, что недавно открыл Ганс Селье: то, что в чрезмерных дозах убивает, в разумных пределах действует как лекарство. Драматическая перипетия поставляет людям такое максимальное удовлетворение, на которое только способно драматическое искусство. Мы стремимся к тому, чтобы получать это удовлетворение снова и снова. Это относится не только к интеллекту, но и к физиологии.

Ученые-физиологи поставили опыт на белых мышах. В центр удовольствия (есть такое место в мозгу) вживили электроды. После этого мышке предложили самой регулировать свои удовольствия. И мышка непрерывно нажимала на кнопку раздражителя тысячи раз подряд, пока не свалилась замертво от чрезмерного стресса счастья. Похоже, что драматическая перипетия подобралась очень близко к этому центру в нашем мозгу. Нет ничего, что может с ней сравниться.

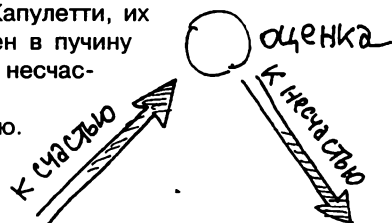
В развитии драматической ситуации драматическая перипетия занимает ключевое место. Она является самой продуктивной структурой развития драматической ситуации. Ее простота и эффект стремительного развития действия не имеют себе равных. Она позволяет сталкивать крайности, высекая огонь эмоции из самых, казалось бы, недоступных чувствам положений. Для нее нет преград ни в одном виде человеческой деятельности. Она абсолютно универсальна. И, конечно же, классики дали нам выдающиеся образцы, которым мы можем следовать и сегодня, так как эмоциональный опыт человека не слишком изменился за последние несколько десятилетий.

Приглядимся к одной хорошо известной нам драме. Ромео Монтеки с друзьями решил посетить бал семейства врагов своей семьи – Капулетти. Ромео надеялся увидеть на этом балу одну девушку, так как он испытывает к ней нежные меланхолические чувства. Как вдруг (заметьте это слово) он видит незнакомку, которая потрясает его воображение и воспламеняет все его чувства. Ромео вмиг охвачен любовью, это чувство не идет ни в какие сравнения со всем, что он испытывал раньше. Ромео счастлив. И вдруг (еще раз заметьте это слово) он узнает, что



эта девушка – дочь главного врага семейства. Она – Капулетти, их счастье невозможно. С вершины счастья Ромео брошен в пучину отчаяния. Схема: счастье – оценка новой информации – несчастье.

Ромео не в силах бороться с охватившей его любовью. Как всякий влюбленный, он хочет видеть свою возлюбленную. Приблизиться и касаться объекта своей любви – это желание каждого влюбленного. И вот ночью, в тре-





воге от неразделенной любви, преодолевая опасность, Ромео тайно проникает в сад своих врагов, и вдруг (опять это слово) все фантастически меняется, весь мир засверкает фейерверком. Ромео слышит, как Джульетта с балкона посылает ему слова любви. Невероятно! Но она полюбила так же сильно, как он ее. Ромео на гребне счастья. Схема: несчастье – оценка новой информации – счастье.

Посмотрите на эти “вдруг”. Они появляются в рассказе каждый раз, когда персонаж стремится к какой-то цели и получает неожиданную информацию. И это резко меняет его эмоции. Но меняются не только эмоции. Резко меняется поведение Ромео.

Он был меланхоличен и вдруг вспыхнул огнем любви. Эта любовь пылает безмятежным счастьем, и вдруг он узнает – любимая из семьи врагов и счастье невозможно. В его счастье ворвалась тревога и отчаяние. Он с риском для жизни пробирается по вражеской территории, чтобы только, может быть, если повезет, краем глаза увидеть свою любовь, и вдруг он получает что-

то неизмеримо большее – Джульетта признается в любви. Ромео охватывает блаженство, счастье и восторг.

Перипетии не только разнообразят чувства персонажей – они заставляют персонажей действовать, они разнообразят поведение.

Посмотрим, как эти перипетии работают дальше в пьесе Шекспира. Нам это интересно, чтобы убедиться в том, что перипетии составляют непрерывную структуру в драме.

Утром следующего дня с сердцем, полным любви, Ромео и ничего не знающие об этом друзья на городской площади встречают брата Джульетты Тибальда. Ромео готов любить и Тибальда. Тибальд, естественно, ведет себя как враг семьи Монтекки. Он ссорится с другом Ромео Меркуцио. Ромео пытается их примирить, но безуспешно – Тибальд пронзает Меркуцио шпагой. Меркуцио умирает на руках Ромео. Реакция Ромео естественна: он хватается за меч, чтобы отомстить за смерть друга. Смотрите – только что Ромео был полон любви, и вдруг (опять “вдруг”) его охватывает гнев. Он мстит и убивает Тибальда. Ромео в отчаянии – он не хотел этого, но поздно – дело сделано, его выгоняют из города в ссылку. Теперь он не увидит Джульетты. Он несчастен.



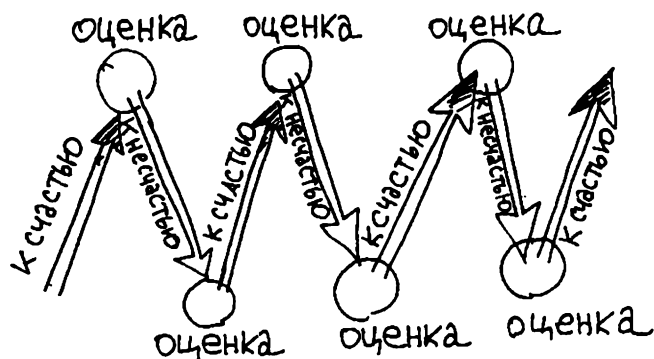
Однако свет не без добрых людей. Монах Лоренцо тайно венчает Ромео и Джульетту. Они счастливы, как только могут быть счастливы молодожены в первую брачную ночь.

Они слились в одно счастливое существо. Это горькое счастье – предстоит разлука. Но уже ничто не сможет разлучить супругов. Их связал Бог.

Как вдруг (опять “вдруг”) отец Джульетты сообщает ей о помолвке и предстоящем браке с графом Парисом. Этот брак неизбежен и одновременно невозможен. Джульетта в полном отчаянии.

Смотрите, какие разные события: мгновенная любовь вспыхивает на балу в стане врагов. Драка с двойным убийством разыгрывается на городской площади. Герои заключают тайный брак. А схема действий все время одна: движение к счастью вдруг прерывается, и начинается движение к несчастью. Движение к несчастью вдруг прерывается, и начинается движение к счастью.

Каждый раз, когда возникает это “вдруг”, персонаж должен его осознать и оценить. Поэтому схема выглядит так:

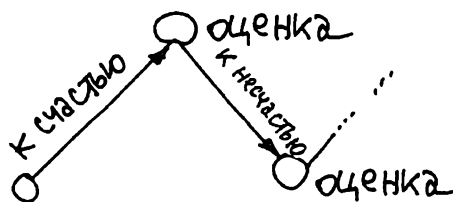


Если мы посмотрим на события всей пьесы, то увидим, что одна и та же простейшая схема перипетий работает от завязки до финала, и только по этим зигзагам развивается изменение чувств и действий героев. Может, это персональный стиль Шекспира? Но мы уже знаем, что еще древние греки 4 тысячи лет назад открыли эту схему и назвали “драматическая перипетия”.

С тех далеких времен и до сегодняшнего дня эта простейшая схема миллион раз работала в драме – каждый раз с успехом. Она – простейшая клеточка драматического действия. Из драматических перипетий, как из кирпичиков, создаются все разнообразные драматические сооружения. Когда вы хотите получить эмоциональный рассказ, эта схема работает лучше всего. А именно этого мы и хотим.

В хорошей драме история непрерывно бросает героев то в полнейшее несчастье, то вдруг возносит их к максимальному счастью. Драматические ситуации сменяют одна другую. Альтернативный фактор усиливается и меняется. А развитие эмоций в истории идет все время по одной и той же схеме: двигаюсь к счастью – и вдруг повернулось – к несчастью. Перипетия – это катализатор эмоций.

Смотрите, какие разнообразные эмоции пылают в “Ромео и Джульетте”. Безграничная любовь. Бесстрашное свидание ночью. Необузданная ярость и импульсивная смертельная схватка. Полное счастье первой брачной ночи и сразу же отчаяние разлуки... Не так мало для начала. Главное впереди... Но все разнообразие эмоций укладывается в простейшую схему развития:



Конечно, не будем забывать, что речь идет о схеме, о скелете, который находится внутри живого тела драмы.

В простейших грубых формах драмы эти перипетии образуют ясные конфликты: одни стреляют, другие убегают, потом другие стреляют. Хорошие парни ведут действия к счастью, плохие, естественно, к несчастью.

Проблема состоит в том, что высшие формы драмы – это не альтернатива низшим. Законы драмы универсальны. Драматическая перипетия действует в любой драматической структуре и выполняет всегда одну и ту же задачу – подключает нас к эмоциональному миру драмы.

## ЭМОЦИИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Драматическая перипетия лучше всего выполняет задачу драмы: как достичь максимального эмоционального контакта со зрителями здесь и сейчас.

Драматическая перипетия – инструмент тактического ежеминутного воздействия. Это важно, потому что вам надо продержаться полтора часа. Плохо ваше дело, если все основные удары вы наносите перед финалом. Зритель может и не дожидаться или уянет, пока вы ведете его к вашей цели.

Силу драматической перипетии хорошо понимают профессиональные рассказчики, которым необходим немедленный эмоциональный отклик аудитории. Вот типичная схема воскресной телевизионной проповеди:



"Я жил в ничтожестве. Мою душу терзали низкие помыслы, мои дни проходили в грехе. Я не жил, а пресмыкался. Моя душа страдала во мраке безверия. И вдруг! В мою душу проник голос! Он позвал меня, и я откликнулся! И моя душа вознеслась в небеса. Я откинул греховные помыслы и вознесся к благодати. И я возношусь все выше и выше к облакам, к солнцу. Ангелы поют в моей душе! Аллилуйя!"

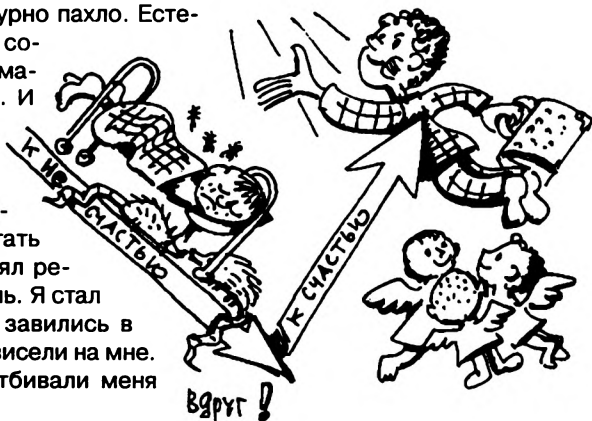
Заметьте, изменилась только мотивация. В начале "я" двигался к горю и безнадежности, как произошло "вдруг", и "я" возношусь к надежде и счастью.

Жесткая схема драматической перипетии вовлекает вас в драматический рассказ о чудесном превращении духа.

А вот другой успешный рассказчик. Он увлекает миллионы простаков прагматическими советами, как преуспеть в делах, разбогатеть и светиться счастьем. Это Дейл Карнеги с его рецептами успехов. Все его увлекательные истории скроены по одному шаблону. И это хороший шаблон, он никогда не надоедает. Он называется – драматическая перипетия. Истории примерно такие:

"В молодости я был самым несчастным молодым человеком. Я не любил свою работу. Она унижала меня. Я был презираемым неудачником. Кроме того, мое лицо покрывали угри, прыщи и фурункулы. В жалкой гостинице, где я снял номер на чердаке, под койкой с продырявленным матрасом пищали крысы. С потолка падали клопы, по стенам бегали тараканы. Я был грязным и вонючим, с моих волос сыпалась перхоть, а изо рта дурно пахло. Естественно, что я был одинок. Мои дни состояли из унижений, а ночи из кошмаров. Я был готов покончить с собой. И вдруг я сказал себе: "Стой! У тебя есть любимое занятие! Обратись к нему! Оно приведет тебя к успеху!"

Я бросил постылую работу коммивояжера грузовиков и пошел работать учителем в вечернюю школу. Я принял решение, и оно изменило всю мою жизнь. Я стал стройным и красивым. Мои волосы завились в кудри. Восхищенные дети гроздьями висели на мне. Девушки приветливо улыбались и отбивали меня друг у друга на танцах".



Мы слушаем эту историю. Наши глаза автоматически увлажняются, и никто не задает простого вопроса: "А где ты, дурень, был раньше? Почему с такой хорошей профессией ты жил среди крыс и тараканов? Почему, только дойдя до крайности, ты изменился?"

Почему? Потому что законы драмы требуют, чтобы сталкивались крайности. Если они сталкиваются, возникает чудо – мы вовлекаемся в рассказ – чужие проблемы становятся нашими. А если повествовательно описывать, как на самом деле учитель добивается успеха, – мухи сдохнут от тоски, а зрители уснут.

Драматическая перипетия, помимо всего, обладает одним свойством: она парализует здравый смысл. Любая история, рассказанная с помощью драматической перипетии, обладает гораздо большей убедительностью.

Почему? Потому что мы хотим, чтобы так было у нас и всех тех, кому мы сопереживаем. Драматическая перипетия – инструмент сопереживания. Есть мнение, что наибольшей убедительностью пользуются истории из реальной жизни. Вот если все будет как в жизни, тогда история сработает. Вредное и глупое заблуждение. Непонятно только, почему каждый человек не напишет по десятку прекрасных сценариев. Ведь жизнь каждого содержит сотни увлекательных и правдивых историй. Профессиональные рассказчики используют жизнь, как шашлычники мясо. Они нарезают куски жизни на шампуры и выкладывают из шампуров гребенку.

Если эта схема выложена правильно, "правдивая история" сработает. Как-то я прочитал выдающийся по наглости рассказ "из жизни". Американец уверял, что он находился в русской каторжной тюрьме. Он описывал свои муки, унижения, пытки. И то, как, доведенный до отчаяния, он начал рыть ногами из камеры подземный ход.

Наконец он его вырыл. Как вы думаете, куда вывел этот подземный ход?

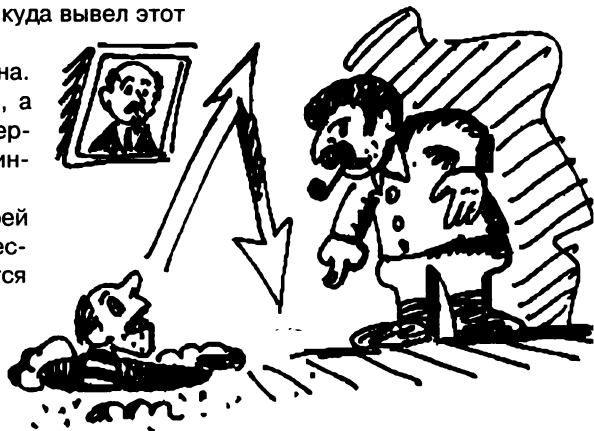
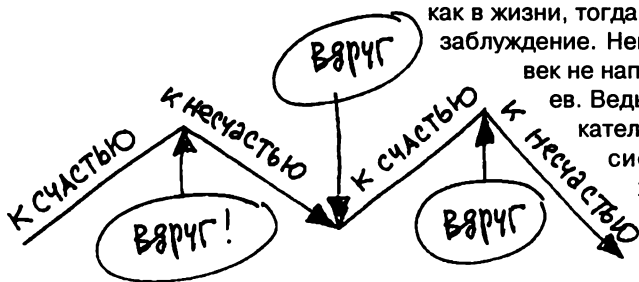
Прямо в центр кабинета Иосифа Сталина.

В этот момент я задохнулся от злости, а простодушный сочинитель этого беспримерного по наглости бреда пишет: "Это подлинная история из жизни".

Я думаю: почему этот лжец уверен в своей безнаказанности? Потому что он врет профессионально. Он знает: пока история держится в рамках чередования драматических перипетий, ему обеспечено внимание и доверие. Надо только, чтобы перипетии были эмоциональны, действенны и содержали яркие визуальные образы. Драма не интеллектуальное искусство. Это искусство, как вызвать и развить в зрителе эмоции.

Зрители приходят к вам холодные, как собачий нос, и равнодушные, как нож правосудия. Они садятся рядами в темном помещении. За полтора часа вы должны довести их всех до волнения и счастливых слез катарсиса. Как минимум они должны забыть обо всем, кроме того, что вы показываете.

Почему они, вы думаете, будут волноваться, смеяться и плакать? Потому что вы подарите им чудо общения с искусством с большого-большого "И"? Не стройте дилетантских иллюзий. Вы победили потому, что умело манипулиро-





вали стереотипами зрительского восприятия. И сознательно шли к цели. Один из элементов этого умения – цепь драматических перипетий – базовая структура эмоционального рассказа.

## ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПЕРИПЕТИЯ СОЗДАЕТ ФОРМУ

Далеко не каждый рассказ способен вызвать ваше сопереживание. Мы уже отметили, что больше всего шан-

сов для такого сопереживания у рассказа, где персонажи находятся в драматической ситуации. Она дает нашему сопереживанию толчок на старте. Дальше мы двигаемся по драматической перипетии. Бедная Золушка прислуживает глупым и капризным сестрам. Ей все хуже. Она остается в одиночестве, когда сестры уехали на веселый бал. Как вдруг...

Маленькая Маша (в сказке “Маша и медведь”) заблудилась в темном лесу. Лес все гуще. Маша никогда не найдет дороги домой. Как вдруг...

Гадкий утенок терпит побои от злых и сильных птиц. Как вдруг...

Все это вызывает наше сопереживание. Не знаю, как вы, а я в своей жизни был и Золушкой, и Машей, и гадким утенком...

Драматическая перипетия разогревает ваши эмоции. И в тот момент, когда происходит “вдруг!”, мы эмоционально раскрываемся навстречу истории. Это происходит в пике поворота перипетии к счастью.

Золушка встречает принца и танцует с ним в сверкающем зале под восхищенными взглядами всех гостей.

Маленькая Маша, испуганная и заплаканная, находит маленький домик в лесу, а в домике – горшок каши и постель.

Гадкий утенок съезживается от очередного удара и вдруг ощущает за спиной белоснежные крылья, расправляет их и летит к солнцу.

Хорошо рассказанная история состоит из непрерывного чередования драматических перипетий. Эта цепь чередования является одной из субструктур драматического рассказа. Она как бы сама вовлекает в историю и персонажей, и нас, зрителей. И она же дает актерам богатый материал для действий.

Посмотрим на эту структуру в простой сказке.



Золушка была счастлива, пока жила мама. Перипетия к несчастью. Вдруг...

Мама умерла. Отец взял в жены злую мачеху с глупыми дочками. Несчастье растет.

Золушка прислуживает сестрам как рабыня. Она остается одна, когда сестры и родители уезжают на бал. Она несчастна. Вдруг появляется фея, и начинается полет к счастью.

Крысы, мыши и тыква превращаются в карету с лакеями. Золушка получает наряд и хрустальные туфельки. Она едет на бал. Полет

к счастью продолжается.

Гости на балу восхищены неведомой красавицей. Принц в нее влюблен. Золушка счастлива. И вдруг...

Все рухнуло и катится к несчастью. В полночь Золушка бежит, потеряв все. Она



снова несчастна. Новое движение к несчастью.

Принц также несчастен. Он повсюду ищет Золушку. И в последний момент находит. Теперь они оба счастливы.

В этой простой истории нет ни одного мига, когда бы структура драматической перипетии не работала. Но это, скажете вы, простая детская сказка. А как эта структура работает в сложном современном драматическом произведении?

Например, в "Сталкере" Тарковского. Не буду вас томить. Сразу

скажу – точно так же, как в "Золушке". Это так ясно, что каждый из вас может провести несложное исследование, вооружившись видеокассетой с фильмом.

Можно было бы привести и какой-нибудь другой выдающийся фильм. "Сталкера" я вспомнил потому, что моя память хранит устный рассказ братьев Стругацких о том, как создавался сценарий фильма. Дело в том, что Тарковский начал снимать фильм, но прервал съемки, испытывая острую неудовлетворенность сценарием. Стругацкие получили предложение написать новый вариант сценария. Они написали. Тарковский новый вариант не принял. Написали еще раз. Опять неудача, причем Тарковский не объяснял, чего он хочет. В полном отчаянии писатели предложили свою историю в виде мелодрамы, где эмоции и действия персонажей развивались по максимальной амплитуде движения персонажей от несчастья к счастью, как к цели, и снова к несчастью. Стругацкие уверяли, что в сознательном и уравновешенном состоянии никогда бы не предложили такой грубой схемы. И во всяком случае, предлагая ее, не рассчитывали на победу. Они были прозаики. Наши драматические проблемы были им в новинку. Но Тарковский пришел в восторг именно от этого "грубого" варианта. Он заявил, что никогда еще не имел такого прекрасного сценария. И в дальнейшем снял по сценарию фильм-шедевр. Философия фильма не пострадала. Глубина содержания не исказилась, хотя адаптировалась к массовому восприятию. Фильм получил то, в чем нуждался, – структуру драматических перипетий как форму. Потому что драматическая перипетия обладает потенциалом формообразования. История, рассказанная с ее помощью, выглядит как законченная форма. Драматурги, которых бог одарил инстинктом драмы, чувствуют эту форму интуитивно.

Как-то я поделился соображением об универсальном действии этого "вдруг" с приятелем, известным фантастом Кириллом Булычевым. Он сказал:

– О, я всегда работаю с этим. Только у меня другая формула, не "вдруг". А "это не мама".

Приходит мальчик домой, стучит в дверь, кричит: – Мама, открой – это я!

Дверь медленно открывается. А это не мама.

– А кто?

– Уже интересно?

Цепь драматических перипетий – это лучший путь, которым может пойти увлекательный рассказ. От одной неожиданности к другой. Из чего состоят все приключения? Из драматических перипетий.

**ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПЕРИПЕТИЯ – ЭТО ФАКТОР  
УСИЛИВАЮЩИЙ ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ**

Иногда говорят, что драматическую историю создают контрасты. Но контраст – это что-то совсем поверхностное. Контраст плюс эмоциональное восприятие. Контраст плюс эмоциональная оценка. Контраст плюс эмоциональное действие – вот что создает приключение. Но это и есть драматическая перипетия.

Самые разнообразные события происходят с героями. Самые невероятные опасности выдумывает автор. А структура повторяет одну и ту же клеточку драмы: опасность – оценка – спасение, то есть: несчастье – оценка – счастье.

Вспомните начало “Искателей затерянного ковчега”, приключения Индианы Джонса в Южной Америке. За минуту он успевает десять раз оказаться под угрозой неотвратимой смерти и, мгновенно оценив опасность, уклониться от нее, чтобы сразу попасть в следующую. Вы скажете: Это путь “идола”. Нет, не только.

Клиент и приятель “Крестного отца”, киноактер, певец и гаснущая кинозвезда в отчаянии. Главная роль в новом фильме может снова сделать его звездой. Но он не получит этой роли. Дон Карлеоне отправляет своего адвоката в Голливуд уладить это дело. Мы уже знаем, что семейство Карлеоне – влиятельный клан, и ждем успеха. Как вдруг адвоката грубо выгоняют из павильона. Стремился к успеху и вдруг – неудача.

Вслед ему известный голливудский режиссер просит узнать: кто этот наглый адвокат? И вдруг адвоката принимают с максимальными знаками внимания. Была неудача и вдруг – успех. Режиссер лично показывает почетному гостю дом, сад, конюшню с бесценным жеребцом-любимцем. Но за обедом выясняется, что адвоката ждет неудача. Актер никогда не получит роли. Режиссер впадает в ярость, когда говорит об этом мерзавце актере, который унизил, опозорил и разорил режиссера. Адвокат огорчен, он, кажется, смирился с поражением.

Как вдруг ночью режиссер просыпается в своей постели весь в крови. В его ногах лежит отрубленная голова жеребца, его бесценного любимца. Потрясенный режиссер в ужасе кричит. Карлеоне победил – актер получает роль. Успех – неудача – успех – неудача. Это, в сущности, то же самое, что: счастье – несчастье.

“Крестный отец” – это фильм, где действуют “потерянные души”. Как выглядят драматические перипетии в фильмах о “наших знакомых”? О, тут-то и наступает их полное торжество. Мы очень хорошо понимаем этих героев. Все их радости и горести без труда сплетаются в цепочки драматических перипетий. На чем держатся сотни серий “мыльных опер”? На гроздьях драматических перипетий. Каждую минуту новое “вдруг”. Каждый раз, когда зритель огорчается неожиданным препятствием на пути персонажа и удивляется находчивости, с которой препятствие преодолено, – он эмоционально сближается с героем.

Не существует максимума или чрезмерного количества для драматических перипетий в этих фильмах. А есть минимум? Минимум есть.

В трехактном членении драматической ситуации каждый акт переходит в следующий через поворотный пункт. Этот пункт и есть резкая, четко обозначенная драматическая перипетия с усилением альтернативного фактора. При этом крошечных перипетий, связанных с микронаблюдениями за поведением персонажей, может быть множество. Но конструктивных, обозначающих поворот действия всей драмы, должно быть как минимум две. Серьезные драмы нередко обходятся двумя хорошо подготовленными перипетиями в поворотных пунктах драмы.

В “Вишневом саде” первая конструктивная перипетия возникает в конце первого акта. Уже отчетливо обрисована угроза продажи имения. Его владельцы отвергли предложение спасти себя ценой уничтожения вишневого сада. Кажется, выхода нет. И вдруг Гаев предлагает план спасения. Он туманный. Но Аня верит в этот план. Блеснула надежда на спасение. Наметилось движение к счастью.

Но весь второй акт – угроза продажи имения нарастает. Беспечное прожектёрство его владельцев только усиливает альтернативный фактор угрозы безопасности. К концу акта все в тревоге. Ненужный бал только усиливает общее волнение. Раневская мечется, переходя от надежды к отчаянию. И вдруг приходит известие, которое неожидан-



нее и страшнее всего, что ожидалось. Имение продано Лопухину, убежденному убийце вишневого сада.

В "Дяде Ване" Чехов также обходится минимумом конструктивных перипетий. В конце первого акта дядя Ваня видит свою любовь в объятиях доктора Астрова. Его надежда на счастье разрушена. Но второй акт грозит ему полной жизненной катастрофой. Профессор Серебряков намерен продать имение, в которое дядя Ваня вложил всю свою жизнь. Дикий взрыв внутреннего конфликта сотрясает дядю Ваню. Все, что мы узнали о героях к этому моменту, взрывается в один миг. И опять оба поворотных пункта происходят как будто подготовленно развитием характеров, но совершенно неожиданно по ходу рассказа. Гениальный рассказчик, Чехов знает силу этого "вдруг". И в фабуле, и в сюжете, и в развитии конфликта "вдруг" действует безотказно.

"Запах женщины" – прекрасный фильм, в основе которого лежит превосходно рассказанная история с двумя сильными перипетиями в поворотных пунктах первого и второго акта.

Слепой полковник (Аль Пачино награжден за эту роль "Оскаром") в сопровождении юного секретаря-поводыря едет в большой город. Кажется, что это поездка к счастью. В жизни полковника наступает просветление. Но вдруг оказывается, что это был путь к смерти. Полковник давно задумал самоубийство. Ему незачем жить. Его юный секретарь борется с ним и как будто временно добивается успеха. Но юноше самому грозит несправедливый суд в колледже. Спасенный им полковник выступает в суде и защищает парня. Перипетия "к счастью" возносит полковника от полного поражения в жизни к максимально возможному счастью. Он заслужил восторженные аплодисменты нескольких тысяч молодых ребят. Его принципы оказались для юного поколения важны и полезны. И кроме того, им восхищена женщина, которая может стать его спутницей в жизни.

Когда мы движемся по векторам драматических перипетий, мы увлекаем за собой зрителей то в бездны отчаяния, то к высотам полного счастья. Конструктивных перипетий в фильме было только две, однако, помимо них, в течение всего фильма действует множество маленьких перипетий. Иногда еле заметные повороты от надежды к отчаянию, от счастья к несчастью раскачивают кораблики персонажей в бурном море жизни. Кажется, что ни одна из них никогда не бывает лишней. Потому что главный потенциал драматической перипетии – это ее роль в развитии эмоционального рассказа. Чем больше эмоций мы хотим вызвать, тем больше перипетий нам потребуется. Нет другого способа вызвать стресс у персонажей и зрителей одновременно. Это очень хорошо понимали классики.

## МАКСИМУМ ЭМОЦИЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ МИНИМУМЕ.

Шекспир, когда это ему надо, на информационном минимуме создает через перипетии

мир эмоций. Вот, к примеру, маленькая, можно сказать, проходная сценка, где няня сообщает Джульетте об изгнании Ромео из города. Всей информации на две фразы: "Тибальд убит. Ромео изгнан". Посмотрите, что из этой информации извлекает Шекспир.

Вначале Джульетта счастлива, она не знает о только что разыгравшейся на площади трагедии. Она мечтает о встрече с любимым. Крик кормилицы: "Убит! Убит!" – ошеломляет ее. Джульетта решила, что убит Ромео. Джульетта брошена во мрак отчаяния. Нет, Ромео жив – Джульетта снова счастлива, но ее муж – убийца брата – Джульетта в гнев на Ромео. Любовь и негодование борются в ее душе, и любовь побеждает – она плачет слезами радости оттого, что не Ромео, а Тибальд пал жертвой поединка. Ромео жив – это главное! Только теперь Джульетта оценивает информацию во всей полноте. Ромео изгнан. Джульетта не увидит его больше. И это для нее страшнее смерти тысячи тибальдов. Она в отчаянии.

Эта небольшая сцена напоминает нам о том, что в драме информация – это только повод для эмоций, которые мы должны вызвать у зрителей.

Шекспир был не только драматургом, но и режиссером своих пьес. Он понимал, каким путем эмоции драмы доносятся до зрителей. Путем чередования драматических перипетий. Поэтому их так много в его пьесах.

От счастья – к несчастью – через оценку – к счастью – через оценку – к несчастью.

Важно отметить, что все три части этой простой схемы прерывисты. Они не плавно перетекают друг в друга, а как бы составлены из ломаных линий. Было счастье, и вдруг оно сломалось. Ворвалось что-то, что требует оценки.

"Вдруг" – это очень важное слово для драматического рассказа. Оно лучше всего способствует эмоциональному отклику. И мы уже знаем почему. Потому что "вдруг" связано со стрессом. Каждое "вдруг" это и есть маленький стресс. А он лучше всего мобилизует наше внимание, и мы мгновенно реагируем на раздражение всей полнотой наших чувств.

## ПЕРИПЕТИЯ И КАТАРСИС

Пока мы говорили о практической пользе перипетий. Это выглядело как урок кройки и шитья. Но было бы странным, чтобы такой важный элемент драмы имел всего лишь

практический смысл. Древние греки, придумавшие перипетию, не были убежденными прагматиками. Все, что их увлекало, имело какой-то неявный смысл прикосновения к тайне жизни.

Тайна магического воздействия драмы, конечно, в первую очередь относится к ее способности вызывать катарсис – очищение через сопереживание страданию. Ганс Селье, наверное, скажет, что никакой магии тут нет, а есть полезная имитация стресса. Физиологически он прав. Но каждый из вас, надеюсь, испытал возбужденное искусством волшебное чувство радости и горя одновременно, то, что греки называли "очищением" – катарсисом. Если не испытывали, я не понимаю, зачем вы выбрали себе такое безнадежное занятие, как кино. Главное наше самооправдание перед преуспевающими торговцами состоит в том, что никакое другое дело не может дать нам это краткое иллюзорное счастье прикосновения к волшебству. Загадочный высший смысл драмы присутствует также и в драматической перипетии. В ней отражено странное свойство человеческой души испытывать смену воодушевления и уныния, творческой активности и пассивности.

Композитор Шнитке сказал мне в интервью для фильма: "Я не понимаю, почему иногда я мгновенно нахожу ответы на все вопросы, и вдруг эта способность покидает

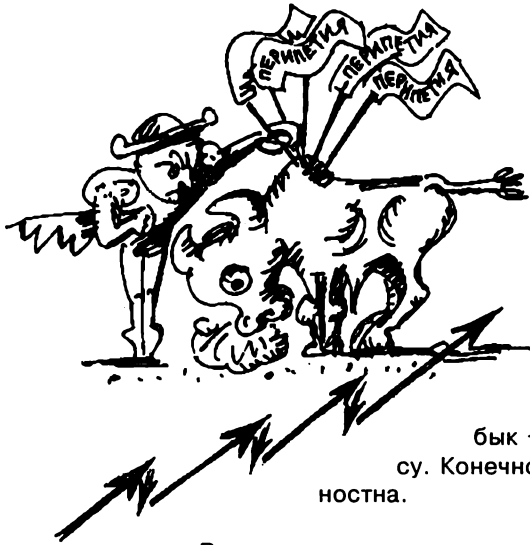
меня, и я оказываюсь в беспомощной растерянности. Иногда эта растерянность возникает внутри одного сочинения. Однажды в своей жизни я два года провел в бесплодных попытках закончить начатое сочинение. И перебрал десятки вариантов. Они дали жизнь другим сочинениям, но были бесплодны для главного”.

Это признание гения. Человека, чья душа соткана из безграничных возможностей в искусстве. Если эти слова не прикосновение к тайне творчества, то что же это?



Каждому известны эти приливы творческой энергии. Они возникают как будто ниоткуда и сменяются апатией, не спровоцированной ничем. Драматическая перипетия, ничего не объясняя, дает этому феномену форму, а форма – это то, к чему стремятся все наши усилия. Пока нет формы – нет искусства. Тайна эмоционального воздействия драмы заключена в магической силе ее простых конструкций. Это давно заметил такой глубокий аналитик драмы, как Фридрих Ницше. “Ощущение трагического возрастает и ослабевает в зависимости от подъемов и спадов в чувственных восприятиях”.

Внимание гения философии проникло в суть механизма драмы и угадало там конструктивный принцип развития на пути к катарсису.



Хорошо. Мы мечтаем о катарсисе. Мы знаем, что в принципе он достижим. Но каким путем к нему перейти?

Мой ответ вы уже угадываете... Да. Путем драматических перипетий. Они вернее всего возбуждают наши эмоции и ведут нас ввысь к кульминации, вершине драмы, на которой и встречается нас желанный катарсис. Если у вас нет хорошего запаса мощных перипетий, забудьте о катарсисе. Эта цель не поражается с одного удара. Перипетии, как бандерильи в бое быков. Только когда торреро утыкает ими весь хребет и бык разъярится, можно нанести последний удар.

Мы, создатели фильма – это торреро. А бык – это драма, которую мы готовим к катарсису. Конечно, как все аналогии, эта эффектна и поверхностна.

Вглядимся, как построены эти “подъемы и спады в чувственных восприятиях” в одном из гениальных и поэтических сочинений, маленькой повести Гоголя “Шинель”.

С первых строк обрисована драматическая ситуация: у героя, мелкого чиновника Башмачкина, совершенно обветшала шинель. Башмачкину грозят мороз и ветер. В перипетии начато движение к несчастью.

Башмачкин пытается залатать шинель, но она расползается. Героя мучит холод, ему грозят болезни. Ступенька за ступенькой он опускается к крайней степени отчаяния строго по схеме драматической перипетии.

И только когда он достиг полной безвыходности, в его душе рождается намерение



совершить подвиг – ценой лишений и крайних жертв. Он за полгода накопит денег и пошьет новую шинель.

Оценка закончилась, началось движение к счастью. Оно выстраивается сцена за сценой, строго по вектору: от одной радости к другой, еще большей.

Вначале, среди лишений и бед, одна лишь мечта о будущем счастье воспламеняет дух героя. Но уже дух отчаяния сменился духом самоотверженности. Теперь он движется воодушевленный. Это посыл к грядущему счастью. Цель является ему в видениях и снах как жена, соратник, друг. Она как знамя ведет его к победе.

И вот он победил – шинель пошита. Но полное ли это счастье – быть в тепле?

Перипетия должна вести героя до конца – к полному счастью. И Гоголь ведет нас ступенька за ступенькой все выше и выше. Башмачкин, который слыл последним человеком на службе, вдруг достигает полного самоуважения. Он становится героем дня в своем департаменте. Впервые в жизни его заметили и им восхитились сослуживцы.

Но перипетия тащит Башмачкина вверх к счастью. Сам заместитель начальника канцелярии устраивает прием в его честь. В Башмачкине оживают заочневшие чувства, впервые он почувствовал себя мужчиной.



И он уже не одинок – шинель стала его единственным другом. Она, как возлюбленная, жарко обнимает его. Он впервые ощутил полноту счастья жизни. Для бедного чиновника все это максимум возможного счастья.



И как только он достиг пика счастья, перипетия вдруг ломается и все рушится. Но как?! Ужасно! Башмачкина ограбили. Он снова один, пронизан холодом. Он в горе. Герой лишается шинели и катится в бездну отчаяния. Будто скачет со ступеньки вниз по перипетии “к несчастью”.



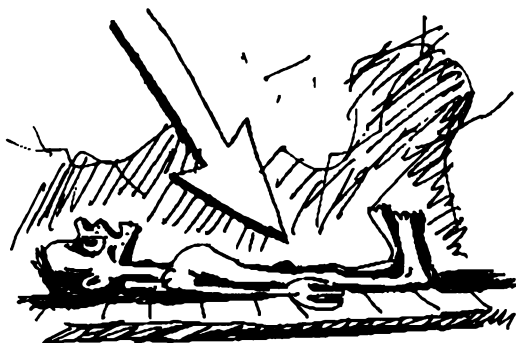
Но это еще не полное несчастье. Это только начало движения вниз. Перипетия “к несчастью” тащит героя к полному поражению.

Следующая ступенька – равнодушие чиновников делает безнадежными его попытки отыскать утерянную любимую.

Новая ступенька – гнев капризного генерала – усиливает отчаяние до полного ужаса.

Следующая ступенька вниз – быстро следуют одна за другой болезнь и смерть. Перипетия “к отчаянию” прочерчена до конца.

И сразу же возникает оценка новой перипетии. В Петербурге появился дух Мести. А вслед за этим и сам Башмачкин в виде фантастической фигуры взметает драму вверх к мистическому счастью отщепенца за свою погубленную жизнь. И тут наступает кульминация и катарсис.



Дух Мести.

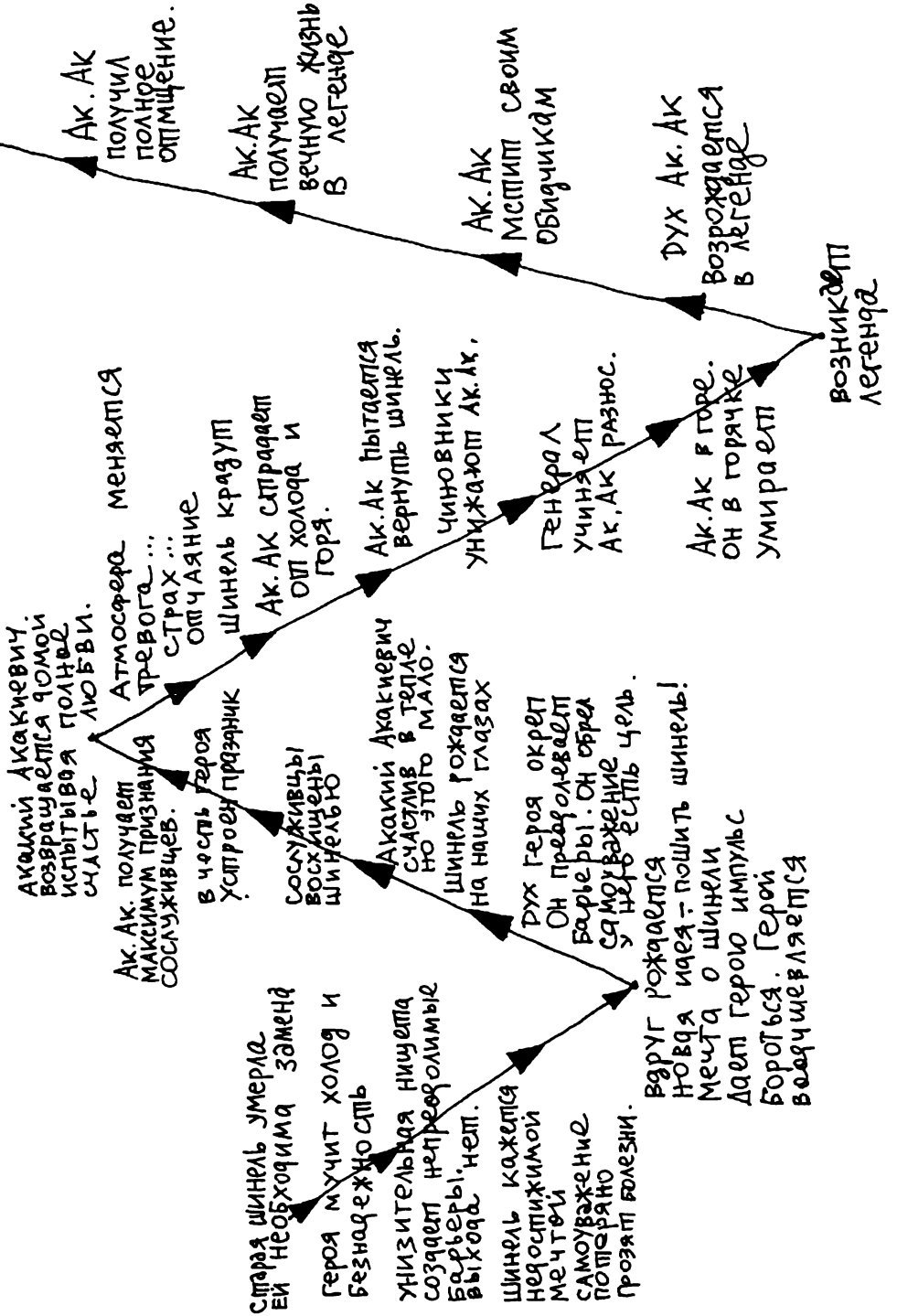


Вы читаете этот маленький шедевр. Все так естественно, так живо. Навероятно, что через полтора столетия лет это трогает нас нежностью, иронией, сочувствием к малым мира сего. Мы совершенно не замечаем, что наши чувства рождаются и нарастают, направленные четкими векторами простых драматических перипетий. Их всего три на всю повесть, где чередуются самые разные сцены, многолюдные и одинокие, с мечтами и бедами, унылыми буднями и неожиданными праздниками. Резкие повороты возникают только тогда, когда персонаж доходит до конца в движении к несчастью или к счастью.

Критики не замечают да и не должны замечать того, что необыкновенный эффект, которого достигают гении в шедеврах, основан на простых и ясных структурах. Было бы странно услышать фразу: “Тазовый сустав и изящно выгнутые ребра Синди Кроуфорд обеспечивают пластический эффект, усиленный мышечной тканью, почти лишенной жировой прослойки”. Но художники, рисуя модели, держат в голове и череп, и мышцы – это им вдалбливают за десять лет академических студий. И нам бы неплохо знать, как выглядит скелет драмы, какие мышцы придают ей силу.



# Схема драматических перипетий "Шинели"



Чего этим добивается автор? Он вовлекает нас в мир эмоций. Мы наиболее полно сопереживаем герою в радости и горе.

Может быть, лучший пример воздействия драматической перипетии мы видим в одном из самых поэтичных и драматических созданий человеческого гения – Евангелии.

В кульминации жизни Христа тайная вечеря становится точкой отсчета трагической перипетии.

1. Христос счастлив в кругу друзей.
2. Но он знает, что он будет предан.
3. Его арестовывают и судят.
4. Он несправедливо осужден на смерть.
5. Его подвергают мучительной казни.

В момент, кажется, полного поражения и горя возникает стремительная перипетия к счастью и полной победе.

1. Тело исчезает.
  2. Дух возносится.
  3. Начинается вечная жизнь идей Христа.
- Перипетия получает максимальное развитие.  
Драматическая перипетия дает форму для:

1. концентрированного выражения идеи;
2. выразительного их исполнения;
3. максимального подключения читателей.

В драматической перипетии философская глубина естественно соединяется с полнотой эмоциональной жизни на всех уровнях.

В произведении искусства, помимо всего богатства характеров и мыслей, нас привлекает некий внутренний порядок, архитектура этого мира, созданного художником. Мы способны безотчетно восхищаться совершенством симфоний или скульптур не только из-за красоты мелодии или форм. Но и потому, что нам свойственно оценивать гармоничную структуру. То, как в немногом выражено многое. То, как соразмерны все части целого.

Вся наша жизнь в творчестве – это, красиво говоря, вызов хаосу смерти. Смерть разлагает, разрушает, а творчество в любом виде деятельности что-то строит. Искусство – метафора этих усилий. Так, кажется, все просто и так бесконечно полно жизни. В постройках гениев простота конструкции проявляется как итог интуитивной работы великого интеллекта. Когда мы вникаем в них, оказывается, что в этой простоте спрессовано бесконечно много.

Проницательные умы давно обращали внимание на то, что в драматической конструкции заложен особый смысл. Шопенгауэр отметил: “Драма является самым совершенным отражением человеческого бытия”. Какой же из всего этого следует сделать вывод для нас?

Мы можем задумать и спланировать фильм, который, по нашему замыслу, должен заставить зрителя страдать и радоваться. Но мы передаем свой труд из рук в руки, и каждый последующий развивает достижения предыдущего. Можно ли в этих условиях полагаться только на силу чувств и магию интуиции? Нет. Это должен быть замысел глубоко продуманный и четко различимый. Перипетия в этом конструктивном построении может хорошо помочь нам.

Неплохой подарок сделали нам древние греки. Было бы глупо не воспользоваться им. А те, кто еще сомневаются, прочтите слова одного из наиболее проницательных философов драмы Фридриха Ницше: “Построение сцен и конкретных образов передают мудрость более глубокую, чем та, которую поэт сумел вложить в слова и понятия”.

Продолжение в следующем номере

# Вернисаж в доме Нащокина



З. Богуславская

Н. Юрикова

М. Шемякин

С. Родионов

С. Лоцато



Е. Сидоров

М. Захаров

А. Яковлев



Г. Ван Халст  
(Бельгия)

Я. Мюттон  
(Бельгия)

В. Игнатенко

В. Васильев



П. Морель  
(Франция)

Дж. Кинсман  
(Канада)

К. Мозель

Д. Рюриков



Благоволин

Е. Шапошников



А. Вознесенский



Ю. Арцимович

Б. Окуджава



Э. Рязанов с супругой

Галерея "Дом Нащокина", учрежденной нашим журналом и банком "Империал", исполнился год. Год назад наши стены впервые украсили полотна Михаила Шемякина, за ним Олега Целкова, Дмитрия Плавинского и Дмитрия Краснопевцева. С каждым из художников мы знакомили наших читателей. Перед Вами фоторепортаж С. Скучасы и В. Баженова с нашего вернисажа. На этот раз мы впервые показывали москвичам скульптуру Михаила Шемякина.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
СПОНСОР  
БАНК "ИМПЕРИАЛ"



# АЗБУКА

## П

**ПАРАЛЛЕЛИ (Parallel).** Основной закон геометрии – "Две параллельные линии встретятся в бесконечности" – всегда приводил меня в состояние мечтательности.

**ПАРИЖ (Paris).** Город, который всегда исполняет то, что обещает.

"Paris-Match". Лучший еженедельник мира.

**ПАРКЕТ (Parkettboden).** Старые паркетные полы – произведения искусства. Обычно я натираю их самым тщательным образом. Это вид домашней работы, который позволяет немедленно насладиться результатом.

**ПЕРЧАТКИ (Handschuhe).** Неотъемлемая часть туалета. Перчатки с застроченными поверх швами можно носить только со спортивной одеждой. Не тратьте деньги на черные перчатки. Они плохо чистятся и выглядят траурно. Всегда следуйте правилу хорошего тона надевать перчатки только после того, как вы покинули общество или ресторан.

**ПЕСНИ (Lieder).** Мягкие, голубые ленты воспоминаний.

**ПЕЧАЛЬ (Traurigkeit).** Горька в детстве, сладка в юности, трагична в старости.

**ПЕЧЕНЬ (Leber).** Больная печень не только причина головной боли, но и пессимистического восприятия жизни.

**ПИАФ, Эдит (Piaf, Edith).** Парижский воробей. Дитя канавы. Родилась с ранимой душой, которая не хотела умирать. Идеалистка и оптимистка с печальными глазами, чье детство прошло среди голода и мучений. У нее было щедрое тело и руки принцессы. Нежная и жестокая, мужественная и робкая, все своё сердце и романтическую душу она вкладывала в песни и была готова отдать каждому свою любовь, дружбу, помощь, совет. Эдит Пиаф – это воробей, ставший фениксом.

**ПИВО (Bier).** Прекрасный напиток для испытывающих жажду.

**ПИЛОТ (Pilot).** Как только он начинает выводить самолет на посадку, все пассажиры должны думать о нем с самыми теплыми и добрыми чувствами.

**ПИСАТЬ (Schreiben).** Для написанного слова существуют такие же законы, как для слова высказанного. Для меня очень важен темп предложения, потому что я понимаю его смысл только при определенном темпе.

**ПИСЬМА (Briefe).** Не писать писем – неприлично. Моя мама всегда говорила: "Не рассказывай, что у тебя нет времени написать тому, кто ждет твоего письма. Всегда найдется тихий уголок, где тебе никто не будет мешать. Посещай его каждый день и пиши. Хочешь знать, что это за место? То, куда царь пешком ходит".

**ПЛЮЩ (Efeu).** Хорош под открытым небом, но только не в доме.

**Продолжение. Начало см. №4, 1994 г.**

# МОЕЙ ЖИЗНИ

*Мария  
Фитрис*

**ПОВЕДЕНИЕ (Benehmen).** Не быть выскочкой и не совать нос в чужие дела.

**ПОЛЕЗНОСТЬ (Nutzlichkeit).** Считаю день потерянным, если заходящее солнце не увидело полезной деятельности твоих рук.

**ПОМИДОРЫ (Tomaten).** Их можно варить, тушить, жарить, использовать сырыми в салатах. Однако прежде снимите кожицу. Уложите помидоры в блюдо, обварите их горячей водой. Кожица снимется без усилий. Или наколите помидор на вилку и подержите над пламенем. Кожица снимется так же легко.

**ПОСРЕДИ ЛЕСА (Mittenwald).** Мечта, из которой все заключают, что я привержена меланхолии. Вспоминается деревня, все жители которой заняты производством скрипок. Корпуса скрипок, которые сушатся в саду. Звуки скрипок из окон, колокольчики на шее животных, приятный ветер, скамейка перед домом, а на душе – мир и покой.

**ПОСТ (Fasten).** Для поста нужны весомые причины. Тщеславие здесь ни к чему. Время поста лучше свести к одному дню. Легче поститься один день, чем ограничивать себя в еде целую неделю. При этом не вздумайте выходить на улицу. Пейте больше воды и пораньше отправляйтесь в постель.

**ПОСТЕЛЬ (Bett).** Поскольку половина нашей жизни проходит в постели, не нужно при ее покупке задумываться о цене.

**POT-AU-FEU.** Важно купить подходящее мясо, лучше всего – ноги, крестец и ребра. Тощее мясо не годится. В большую кастрюлю поместить 4 фунта мяса, 2 луковицы, 2 картофелины, петрушку. Варить вместе 1 час. Добавьте соль и перец. Следите, чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью. Убавьте пламя и на маленьком огне варите еще 2–3 часа, пока мясо не станет мягким. В другой кастрюле отварите картофель, морковь, лук и белую капусту. Учтите, что капуста при варке выделяет много сока. После варки овощей бульон слить в большую кастрюлю.

Выложите мясо на большое блюдо, гарнируйте овощами и петрушкой. Ее можно добавить в тарелки, прежде чем заполнить их бульоном. Французские кулинарные книги утверждают, что для приготовления этого блюда нужно брать птицу, но я люблю мясной вкус.

**ПОЦЕЛУЙ (Küsse).** Не тратьте их понапрасну, но и не подсчитывайте.

**ПОЧКИ (Nieren).** Лучше обращать внимание на почки, чем на круги под глазами.

**ПОЧТА (Post).** В Нью-Йорке почта разносится 1 раз в день. А если вы хотите, чтобы ваше письмо достигло адресата на следующий день, его нужно посылать с нарочным. Это низводит Нью-Йорк до уровня маленького провинциального городка.

**ПОЯС ДЛЯ ЧУЛОК (Hufthalter).** Не слишком привлекательный предмет женского туалета. Женщины связывают с ним множество надежд на исправление фигуры, но они не должны обольщаться. Я не в состоянии долго рассуждать о плюсах и минусах этой детали туалета, но хочется подчеркнуть, что природная линия женского тела имеет больше плюсов, чем минусов.



**ПРАЗДНОСТЬ (Müssiggang).** Ничего неделание – страшный грех. Всегда есть возможность сделать что-то полезное. Я не уважаю богатых бездельников, которые заменяют полезную деятельность организацией благотворительных балов.

**ПРЕВОСХОДСТВО (Überlegenheit).** Его можно выставлять напоказ, только если оно конструктивно.

**ПРЕДСКАЗАНИЕ (Vorausagung).** Чем больше у предсказателя знаний и фантазии, тем больше у него идей трагического толка. На этом основаны многие пророчества.

**ПРЕСЛИ, Элвис (Presley, Elvis).** Появился во времена, когда молодежь нуждалась в романтическом идеале. Он исполнил ее ожидания, а кроме того, умел петь. Этот кумир молодежи задал тон современной эпохе.

**ПРИВЫЧКА (Gewohnheit).** Часто возникает на месте любви.

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ (Kochen).** В нем проявляется природный талант каждой женщины, а в основе – врожденный материнский инстинкт. Нужно стараться готовить простую пищу. Ее любят и мужчины и дети. Приготовление пищи приносит двойную радость. Первая – видеть за едой людей, которых любишь. Второе – они могут попробовать все, что для них приготовлено. Приготовление пищи не только приносит радость, но и загружает вас полезной работой.

А теперь несколько полезных советов.

Что делать, если:

Суп или мясо пересолены? Взять большую картофелину и варить вместе с ними не менее 20 минут.

В чайнике слишком много накипи? Картофельные очистки и уксус кипятить в чайнике не меньше часа.

Белок остался неиспользованным? Смешать его с несколькими каплями лимонного сока и туалетной воды. Получится отличный крем для рук.

Мясо не становится достаточно мягким? Добавить соды и уксуса.

Пирог не хочет выходить из формы? Перевернуть форму, обвязать полотенцем для рук, энергично потереть туда-сюда. Пирог выскочит сам.

Корка пирога слишком зарумянивается и становится жесткой? Во время выпечки поставьте в печь металлическую миску с водой.

Яйца варятся без засекаания времени? Опустите их в холодную воду, и когда она закипит, яйца готовы.

Сковорода начала пригорать? Возьмите сало и натрите поверхность сковороды.

Все мои рецепты рассчитаны на газовую плиту. Можно готовить и на электрической, но от этого получаешь мало удовольствия, а главное – нельзя гарантировать результат. Как-то мне пришлось угощать компанию французов Pot-au-feu, приготовленным на плитке в гостиничном номере, но это было сверхпереживание!

Если вы хотите приготовить обед без спешки и нервов, должна быть газовая плита. Можно контролировать температуру, в одну секунду изменяя силу пламени – от большого к маленькому, и наоборот. Повар регулирует кастрюли и сковородки точно так же как полицейский – уличное движение. Это не запрещает иметь электроплиту, однако это была бы хорошая мина при плохой игре.

**ПРИДИРКИ (Norfein).** Это – смерть любви.

**ПРОДЮСЕР (Produzent).** Необычный, "творческий" продюсер – это человек, который ищет "идеальных" сотрудников для своей постановки, а потом пытается заинтересовать их своими идеями, чтобы они постигли важность задуманного им. После этого он оставляет их в покое, позволяя таланту каждого раскрыться в полную меру.

Обычный продюсер работает по-другому. После того, как подписан договор, он каждого поработает своей идеей и вмешивается буквально во все, а потом жалуется на тупость и недостаток духовности у своих исполнителей, которые, по его словам, хотят только одного – закончить работу, которую начали.

**ПРОПУСК (Coupe file).** Очень ценное удостоверение, выдаваемое парижской полицией особенно уважаемым личностям. Оно дает право ездить повсюду и не подвергаться штрафу за неправильную парковку.

**ПРОЩЕНИЕ (Verzeihen).** Если женщина простила мужу грех измены, то не должна напоминать об этом каждое утро.

**ПСИХИАТРИЯ (Psychiatrie).** Наука, которую я очень уважаю.

**ПУТЕШЕСТВИЕ (Reise).** Чтобы разбираться в разных проблемах, надо больше путешествовать и не препятствовать путешественникам.

**ПШЕНИЧНОЕ ПОЛЕ (Kornfeld).** Васильки, маки, теплое солнце, скамейка перед домом, накрапывающий дождь, – это для меня символы мира.

## Р

**РАВНОДУШИЕ (Gleichgultigkeit).** "Трагедия любви". Сомерсет Моэм.

**РАДИО (Radio).** Величайшее средство связи.

**РАДОСТЬ ЖИЗНИ (Lebensfreude).** Как мало из нас познали ее! Величайший подарок для тех, кто имеет ее, и для тех, кто может наблюдать ее, хотя бы издалека.

**РАЗВОД (Scheidung).** Теоретически я против. Но на практике факты говорят о другом. Если развод необходим, это может печально сказаться на детях. "Позвольте не разлучать детей" – прекрасная теория. Если на ее базе можно создать гармоничный дом – все хорошо. Но много ли людей способны на это!

**РАЗЛУКА (Abwesenheit).** "Заставляет сердце биться нежнее". Милое поэтическое высказывание, однако не вполне верное. Убеждена, что слишком долгая разлука ослабляет любовную связь. У французов есть такая поговорка: "Разлука для любви, что ветер для огня. Малый гасит, раздувает большой". К этому можно добавить лишь то, что "большой огонь" – слишком большая редкость, так что поговорка относится, скорее, к области желаний, но не реальности.

**РАКИ (Krebse).** Готовить их я училась у Шюманна в Гамбурге, но рецепт обещала не раскрывать. Не нарушая обещания, могу сказать только – если у вас нет свежего укропа, тогда лучше не начинать этого дела.

**РАМКА (Rahmen).** Если письмо или рисунок имеют для вас определенную ценность, вставьте их в рамку. Во-первых, так они не потеряются, а во-вторых, большинство людей испытывают уважение ко всему, что висит в рамке на стене.

**РАСПОРЯДОК ДНЯ (Tagesordnung).** "Позволь нам перейти к распорядку дня" – ключевая фраза моего детства.



**РАСПРОДАЖА (Ausverkauf).** Стремление купить по дешевке заканчивается тем, что дом заполняется ненужными вещами, а портмоне становится пустым.

**РАССЛАБЛЕНИЕ (Entspannung).** Слово, пришедшее из Америки. За ее пределами употребляется только в связи со снятием напряжения после сложной работы.

**РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ (Verschwendung).** Ненавижу его страстно.

**РЕБЕНОК (Baby).** Самое важное на свете. Чудо, которое никогда не разочаровывает. Основание терпеть все и вся. Живое доверие. Беспомощный Геркулес.

**РЕВНОСТЬ (Eifersucht).** Неконтролируемая страсть, сиамский близнец любви.

**РЕЗОНАНС (Resonanz).** Каждый нуждается в нем. Влюбленная женщина может быть довольна, если она становится им для своего мужчины.

**РЕЙНХАРДТ, Макс (Reinhardt, Max).** В современном театре нет ничего, что не было бы апробировано этим художником, и многое из того, что провозглашается новаторским, уже давно забыто им самим.

**РЕКВИЗИТОР (Requisiteur).** У каждого фильма свой реквизитор и всегда это человек с добрым взглядом. Его задача охранять короба с добром, настоящие волшебные ящики. Кроме вещей, необходимых по сценарию, там много такого, что и не может пригодиться, но реквизитор всему знает цену.

Сила реквизитора в том, что он может все, например, сервировать еду для интимного тет-а-тета героев-любовников. Среди актеров у него всегда есть любимчик, для которого он готовит кофе и бутерброды или выпивку, если работа близится к концу. Как только раздастся крик: "Конец! Торжественный вечер!", реквизитор закрывает волшебные ящики и делает это так бережно, что похож на извозчика, который поправляет упряжь на своих уставших лошадях.

**РЕСТОРАН (Restaurant).** Известно, в чем состоит отличие первоклассных ресторанов от прочих. Официанты там не спрашивают у посетителей, кто что заказал. Кстати, обед в ресторане может доставить много удовольствия. Порезать на куски мясо, потом проделать то же самое с луком, помидорами, грибами. Все это смешать с жареным картофелем, овощами, а сверху посыпать свежей пахучей петрушкой.

**РЕЦЕПТЫ (Rezepte).** Я рассказываю здесь о блюдах, которые часто готовлю сама. В них нет ничего сверхординарного. Я обращаюсь как к женщинам, так и к мужчинам, которые имеют представление о кулинарии. Все мои рецепты рассчитаны на двух человек, т. е. это небольшие порции.

Сама я готовлю на глазок, не утомляя себя сверхточностью. Другие правила мне неизвестны.

**РИВЬЕРА (Riviera).** Только сноб может сказать: "Ривьера слишком многолюдна, давайте уедем отсюда". Чтобы так говорить, сначала нужно найти такое же райское место.

**РИЛЬКЕ, Райнер Мария (Rilke, Rainer Maria).** Мой идеал поэта. Хотя его произведения невозможно перевести на другой язык, все попытки я приветствую с благодарностью. Никто не писал, не пишет и не будет писать так, как он.

**РИМ (Rom).** Большинство из нас, бедных городских жителей, приговорены видеть за окном унылый пейзаж. Когда римляне открывают окна, пред ними предстает невыразимо прекрасный город. Как жаль, что все не могут жить в Риме!

**РИС (Reis).** Наполните кастрюлю холодной водой. На одну чашку риса – две чашки воды. Добавьте маленькую луковку, масло и соль. Закройте крышкой. Когда вода вскипит, уменьшите огонь. Рис готов, когда вся вода испарится. Перед подачей на стол вынуть лук. Чтобы рис не остыл – держать на водяной бане.

**РИТМ (Rhythmus).** Ему нельзя научиться, с ним нужно родиться.

**РИХТЕР, Святослав (Richter, Swjatoslaw).** Грандиозное явление музыкальной культуры, уникальность которого ощущаешь при каждом повторном прослушивании.

**РОДИНА (Heimat).** Одно из прекраснейших слов немецкого языка.

**РОДНОЙ ГОРОД (Heimatstadt).** Для меня это Берлин. Я родилась берлинкой, остаюсь берлинкой и благодарна Богу за то, что я берлинка!

**РОДНОЙ ЯЗЫК (Muttersprache).** Ничто не заменит его – ни воля, ни намерение, ни работа, ни старания.

**РОЖДЕСТВО (Weihnacht).** Спокойные праздничные дни, объединяющие семьи, скромные пирушки, посвященные встречам родственников.

**РОЗЫ (Rosen).** Больше всего я люблю розы прямо из сада. Чайные розы с нежным стеблем пахнут именно так, как и должны пахнуть эти цветы.

**РОЛЛС-РОЙС (Rolls-Royce).** Не иллюзия, а реальность.

**РОССЕЛЛИНИ, Роберто (Rossellini, Roberto).** Я познакомилась с ним на одной вечеринке, а на следующее утро застала в холодной клетушке одного писателя, который перевернул пол-Парижа, чтобы разыскать его. Росселлини сидел за машинкой и печатал сценарий. Мощное дарование снискало ему множество поклонников. Среди его многочисленных талантов был один, особенно мною чтимый – он был хорошим другом.

**РОЯЛЬ (Klavier).** Дом без рояля, кажется, застыл в ожидании чего-то.

Перевод Гарены Красновой

Дорогой читатель!

Подписаться на наш журнал на почте Вы можете двумя способами:

1) по каталогу ЦРПА – по карточной системе; это дешевле;

2) по каталогу АПР – по адресной системе; это надежнее. Индекс 70434 при этом не меняется.

Если Вы испытываете затруднения с подпиской на наш журнал на почте, если он поступает к Вам нерегулярно и так далее – предлагаем оформить подписку через редакцию: Вы высылаете нам переводом стоимость полугодовой подписки – 25500 рублей, а мы Вам высылаем каждый номер наложенным платежом, сумму которого составляют почтовые расходы на пересылку. На квитке перевода не забудьте указать свой почтовый адрес с индексом и свою фамилию. Если Вы живете в Москве, Вы можете оформить подписку у нас в редакции. Цена одного номера без почтовой надбавки – 8500 рублей. О выходе каждого номера мы сообщим Вам по телефону, и Вы сможете подъехать и забрать его в удобное для Вас время.

Наш адрес: 103006, Москва, Воротниковский пер. д.12

Редакция журнала "Киносценарии"

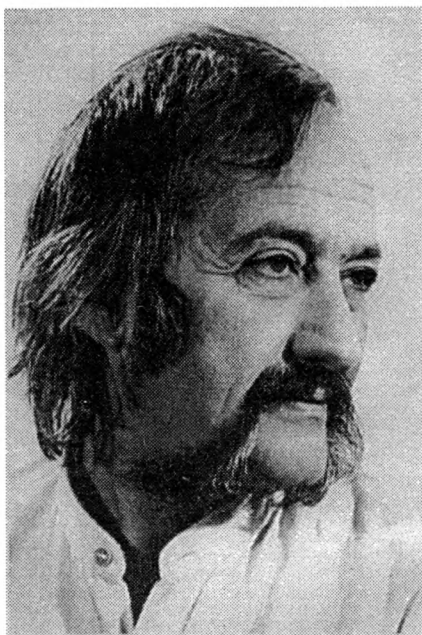


# "БАХОР"

Герой повести писателя и кинодраматурга Б. Носика "Бахорфильм" Семен Зенкович, – москвич, интеллигент, полуеврей, подвигающийся на ниве литературной и драматургической и ничем особым на ней не выделяющийся, – в силу стечения обстоятельств получает предложение "довести до ума", т. е. до постановки, некий киносценарий, написанный неизвестным Зенковичу, "выдающимся современным бахорским поэтом" Муразом Муртазом.

Такая практика приглашения за малые деньги "в соавторы" к местной национальной гордости профессионала из Москвы была широко распространена в годы расцвета застоя на республиканских студиях. Так вызревали национальные кинематографии в ожидании собственных талантов.

Поэтому "Бахор" в повести – образ собирательный, Зенкович – образ собирательный, Мураз Муртаз – тоже образ собирательный, и, несмотря на это, все они благодаря Борису Носику получили весьма конкретную судьбу, с фрагментом которой мы и хотим познакомить нашего читателя... Поскольку нам эта судьба не только небезразлична, но и, мягко говоря, близка...



## БОРИС НОСИК

# ФИЛЬМЫ

Надо признать, все началось прекрасно. Мой друг С. Зенкович, совершив за счет киностудии четырехчасовой перелет, попал в поистине райский уголок земли, в атмосферу братской любви и нежного понимания всех его творческих и просто человеческих нужд. Начать с того, что ночью его встречал в аэропорту редактор с машиной, что его поместили в гостиницу, устланную толстыми китайскими коврами, что сосед по коридору тотчас же, среди ночи, угостил его дыней, а другой сосед напоил зеленым чаем, что утром за ним пришел поэт Мураз Муртаз и повел домой, где накормил пловом и еще какими-то очень вкусными кушаньями, названия которых мой друг, к сожалению, не смог запомнить сразу, а также познакомил со своими десятью сыновьями и двумя дочками. Поэт был очень маленький, очень лысый и очень подвижный. По-русски он говорил быстро, нечленораздельно и был сексуально озабочен. Редактор же был молодой, красивый, он встретил Зенковича, крепко и честно пожал ему руку и стал его другом навек.

Гостиница, в которой поместили Зенковича, была расположена рядом с базаром. Это было почти забытое в России чудо – базар. Здесь грудями лежали ярко-красные и нежно-желтые помидоры, виноград, большая сладкая редька, красный перец, яблоки, груши, огурцы, капуста, айва, ароматные травы и еще бог знает что. Здесь продавали также какие-то загадочные предметы мусульманского обихода: деревянную куритель-

ную трубку, которую вовсе даже не берут в рот, а, напротив, надевают на пиписку младенцу, чтобы моча стекала в специальный горшочек, оставляя подстилку сухой; безобидный табачный наркотик, который кладут под язык, и, что еще более важно, узорчатые тыквочки-табаки для этого наркотика; куски какой-то прозрачной гадости, которая служит здесь жвачкой и заменяет дорогостоящую заграничную; странную железную щетку, которой дырявят лепешку, прежде чем прилепить ее к стенке очага... А главное – здесь нельзя было остаться голодным. В одном углу базара дымился шашлык, в другом вкусно пахло пловом. В больших котлах рыба кипела в масле. Женщины продавали горячий горох стаканами. Бахорцы ели большие пельмени-манты, посыпая их красным перцем. Продавец кидал



на газету самбусу, горячие пирожки, похожие на беляши...

Все было вкусное, все подавали сразу, с пылу с жару, и, присев за угол чайханы среди доброжелательных и красивых людей, Зенкович перепробовал всю эту вкусную еду, запивая ее терпким зеленым чаем. Это был ласковый Восток...

А на студии Зенковичу без сопротивления выдали аванс. Потом ему вручили папку со сценарием Мураза Муртаза. Поздней его еще угощали в ресторане, на очень высоком уровне, с участием директора и бухгалтера. Участники пира рассказывали ему про здешние горы, которые ему еще предстоит увидеть, а также почему-то про Францию и Грецию, которые он увидеть уже не надеялся. Они просили его как можно скорее завершить работу, приехать снова, приезжать часто, и при этом Зенковичу было очевидно, что эти люди – и молодой директор, земляк Муртаза, и поседевший в боях бухгалтер, и будущий его режиссер Махмуд Кубасов, и нежный друг-редактор – все без исключения рады ему, рады их новому знакомству и хотят, чтобы дружба эта продолжалась вечно.

А потом Зенковича всей компанией так же ласково проводили в аэропорт. Он полетел домой придавать творению Мураза Муртаза литературную и даже, по возможности, кинематографическую форму.



Первое знакомство со сценарием "Девушка из чайханы" привело Зенковича в шоковое состояние. Он позвонил мне как-то поздним вечером, почти ночью, зачитывал по телефону перлы абсурдизма и слабоумия, усугубленного подстрочником, негодовал, смеялся, клялся отказаться от этой работы и начать честную жизнь. Даже вернуть аванс, если на то пошло. Потом он успокоился и решил, что не стоит нервничать: раз сценарий Муртаза признан неудачным даже на студии, надо его по возможности забыть. Зенкович прочел одноименную поэму и решил, что позаимствует оттуда два факта: тот, что у дороги стоит чайхана, и тот, что в чайхане работает девушка. Еще он решил оставить неизменным название фильма.

Зенкович придумал свой собственный, совсем новый сценарий – грустную и нежную историю про молодую женщину с ребенком, которая любит женатого шофера, а потом влюбляется в юношу и, запутавшись в своих любовных делах, погибает. Там, конечно, были и чайхана при дороге, и суровые работяги-шоферы, и Восток, который Зенкович уже успел полюбить. Среди героев выделялся один джек-лондонский шофер-бродяга;



был там также розоватый, донкихотствующий мальчик и еще было суровое мужское братство; были трагические приключения на дороге, элемент детектива и элемент мелодрамы. Зенкович сам не ожидал, что все так ловко сладится у него в конце концов.

Когда он зачитывал мне этот свой первый вариант сценария, голос его звенел от волнения. Кончив, Зенкович напился воды, попытался улыбнуться небрежно и сказал:

– Надеюсь, это как раз то дерьмо; которое им нужно.

Однако я видел, что он так не думает и что он надеется, что это все-таки не совсем дерьмо. Мне, как человеку, не связанному с кинематографом, трудно было сказать по этому поводу что-либо определенное. Мне ясно было, с одной стороны, что это написано с чувством и вполне профессионально и что это отличается от опытов М. Муртаза, как Фолкнер отличается от Кожевникова; однако ощутимо было и то, что это все-таки какой-то особый, несколько облегченный вид прозы, некий субпродукт, приспособленный к идейным и производственным требованиям текущей (то есть прошлой) пятилетки (нынешняя пятилетка качества была объявлена позже).

Еще неделю Зенкович работал над стилем и диалогом, а потом отправил свое детище по почте и стал с нетерпением ждать ответа. Примерно через месяц он был телеграммой вызван в Орджоникирв для обсуждения его варианта сценария. Доброжелательный редактор позвонил Зенковичу и, успокоив его, сказал, что впечатление от его работы на студии в общем вполне положительное.

Я провозжал моего друга в аэропорту. Он был чем-то встревожен. Казалось, он ожидал более восторженной, более праздничной телеграммы. Он сказал мне, что, по всей вероятности, задержится в Бахористане, там сейчас тепло и прекрасно, а в Москве – как всегда. Что хорошего может быть в Москве, да еще поздней осенью?



Итак, Зенкович вторично прибыл в Бахористан, на сей раз для обсуждения плодов своих усилий над злополучным творением Муртаза; точнее сказать, сценария, сочиненного им по поводу или по мотивам творения Муртаза.

Орджоникирв был, как и в первый раз, ласковым, теплым, изобильным. В гостиничном буфете все казалось ему вкусным, а на базаре – просто сладостным. На улицах стоял тот особый запах тепла и уходящего лета, который еще стоит в этом благословенном краю в ту пору, когда во всех прочих местах уже льют холодные дожди или даже падает снег.

Редактор был с ним дружественно-нежен, сказал, что все о'кей и что сценарий прямым путем идет к цели, то есть к производству. Даже есть режиссер, один из самых талантливых режиссеров на студии, душа, рубаха-парень, весельчак Махмуд Кубасов. Конечно, сейчас будет худсовет, дадут кое-какие поправки, но...

И началось обсуждение. Все выступающие отметили, что сценарий изменился к лучшему, стал несколько более стройным и профессиональным, что выдающиеся художественные идеи М. Муртаза обрели теперь литературный и кинематографический эквивалент, однако...

Зенкович оторопел. Они всучили ему бесформенную кучу дерьма, он им написал вещь – с литературой, драматургией, да они ведь, кажется, довольны, так о чем в конце-то концов речь?..

Однако речей было много. Ораторы говорили, что сценарий все же отчасти утратил национальную самобытность, которой и вообще и в частности отмечено творчество



М. Муртаза. (Боже, да что там у него за творчество?) И вот теперь нужно будет эту самобытность мало-помалу восстановить.

Всем членам худсовета понравился розовый шофер. Он был в розовых традициях Розова, и это было очень хорошо. Что же касается джек-лондонского бродяги, то Зенковичу напомнили, что шоферы – это все-таки передовой отряд рабочего класса, и это нужно подчеркнуть в первую очередь. Исчез, оказывается, гул большой стройки, который был слышен у Муртаза. Его тоже надо восстановить.

Но главное – сама девушка из чайханы. О ней говорили много и заинтересованно. В поэме это, оказывается, был очень чистый и светлый образ. Вообще, бахорский народ любит только чистые и светлые женские образы. А в сценарии у девушки ребенок. Как тут быть?



Один из членов худсовета предложил сделать девушку татаркой. Татарке можно многое, почти все. Изумленный Зенкович крикнул, что эту операцию он произведет в два счета. Большинство членов худсовета сказало, что все-таки не нужно (хотя бы она и была татарка), чтобы она любила женатого шофера. Пусть она любит только молодого, розового, тогда это будет по-нашему, по-бахорски, и по-нашему, по-татарски. Зенкович вякнул, что тогда не будет драмы, но тут выступил самый главный редактор. Он сказал, что драме и не должно быть места на большой дороге, которая ведет ко всесоюзной стройке. Там должно быть место для пролетарского интернационализма...

Теперь говорили все. Говорили об отце бедной девушки из чайханы. Очень плохо, что у нее нет отца. У всех бахорских (и даже татарских) девушек есть отцы. Это очень важно для девушек. Это помогает им жить. Или пускай этот отец был раньше, но погиб на войне. Пусть он погибнет, освобождая белорусский народ, тогда тема пролетарского интернационализма обретет конкретное звучание. Режиссер Кубасов просил авторов написать эпизод героической схватки, в которой погибает отец девушки, унося за собой в могилу десятки черных фашистских жизней.

Зенкович сказал, что он подумает.

Всем понравился в сценарии элемент мелодрамы, а также суровой мужской дружбы. Нужно только сделать, чтобы это была производственная дружба, чтоб она помогала этим шоферам выполнять свои обязательства, иначе совершенно исчезнут приметы нашего времени. Что касается детектива, то он может остаться как любимый народом жанр. Зенкович буркнул, что, поскольку из двух мужчин остается один, детектив ему не понадобится. Девушка, впрочем, тоже.

Его просили все же оставить девушку, ссылаясь на специфику жанра, на название поэмы, любимой народом, и на производственные планы студии. Упомянули почему-то даже уборку хлопка в республике и борьбу с хулиганством.

Пожилой режиссер, стосковавшийся по публичным выступлениям, говорил целых полчаса.

– Этот девушка, – воскликнул он с болью, – он же советский человек. Я вспоминаю тяжелый время гражданский война, когда был голод. Вспоминаю время Отечественный война, когда во всем был недостаток. Я вспоминаю время реконструкций...

Покончив с воспоминаниями, режиссер перешел к художественной теории.

– Я вспоминаю великий бахорский режиссер Рахметов, который сказал, что кино должен быть интересный.

– Что снял этот Рахметов? – шепнул скучающий Зенкович своему черноусому соседу-оператору.

– Два картина, – ответил сосед шепотом. – Очень плохой. Тогда пленка был мало. Один картина он кончил. Другой – из Москвы режиссер кончил. Рахметов уже кончился. Он слабый был. Очень большой.

– Что должен быть в современной картина? – воскликнул старый режиссер и долго молчал. Аудитория приняла паузу за конец выступления и оживилась. Но пожилой режиссер не дал сбить себя с толку.

– В современной картина должен быть много примет советской власти. Без этого картина может быть слабый... Я не понял, был ли этот девушка комсомолка.

– Товарищи, – призвал молодой режиссер, явно намекая на безграмотность старого. – Побольше художественного анализа...

Выступавшие стали давить на эрудицию. Был дважды упомянут Джеймс Олдридж, трижды Чингиз Айтматов и четыре раза чеховское ружье, которое должно все время стрелять. Режиссер Кубасов сказал, что ему в этом сценарии действительно не хватает выстрелов. Говорили о необходимости пластики, ритмики и параллельного монтажа. Когда цитаты стали повторяться по третьему разу, Зенкович впал в полный ступор.

Заметив отеческим оком депрессивное состояние автора, директор обратился к нему с ободряющей и даже ласковой речью.

– Почему бы уважаемому автору, – сказал он, – не поехать в нашу родную долину? Это лучшего места совершенно нет в мире. Чтобы там на месте увидеть простых тружеников горного кишлака. И даже, может быть, познакомиться с девушкой, пленившей сердце нашего поэта Муртаза.

Муртаз горячо поддержал эту идею, однако уточнил, что свою девушку он писал в буфете, в аэропорту, в общем, в другом месте...

Все заулыбались и сказали, что они понимают сложные пути творчества.

Зенкович подал голос. Он сказал, что сегодня же вечером он отбывает в горную долину.

Худсовет воспринял это как здоровую и оптимистическую реакцию на принципиальную, конструктивную критику и постановил выдать Зенковичу еще пятнадцать процентов гонорара. Поэт Муртаз выехать сейчас в долину не мог. Он должен был искать деньги и ходить на работу. Кроме того, настоятельные сексуальные поиски прочно привязывали его к республиканскому центру. Однако Муртаз снабдил Зенковича отличными рекомендациями. Он сказал, что в райцентре третий секретарь райкома Гопузов, один из его родственников, найдет для Зенковича лучшее место на земле, где ему жить. Скорей всего, это и будет родной кишлак Муртаза. Или родной кишлак директора студии.





Вместе с Муртазом Зенкович побывал на приеме у молодого директора.

– Увидите нашу долину, – лирично сказал директор. – Не забудьте описать в сценарии желтые маки...

Потом он напомнил Зенковичу, что у друга его Муртаза так много, так много детей... Может, это означало, что Зенкович, получив пятнадцать процентов, должен был оказать поэту материальную поддержку. Зенкович предпочел не задумываться над смыслом этого намека.

Вместе с редактором Зенкович побывал на приеме у председателя Комитета кинематографии республики. В ведении комитета находилась все та же небольшая студия “Бахорфильм”, так что председателю не оставалось никаких других занятий, кроме упорной борьбы за власть с непосредственным руководством студии. Редактор информировал Зенковича, что в этой борьбе за последние пять лет погибло уже три директора студии и два председателя комитета.

Председатель комитета сказал, что он в общем и целом удовлетворен сценарием. Он только просит вставить туда, как иностранцы восхищаются успехами Бахористана в строительстве социализма.

– Один очень знаменитый американский писатель... – задумчиво сказал председатель. – Как же его? Манн? Нет, не Манн...

– Фолкнер? – подсказал редактор.

– Нет, – покачал головой председатель. – Примерно так... Альфред Шмальц...

– Альберт Мальц?

– Может быть... А может, и нет. Он сказал, что сколько он проехал в мире, а лучше Бахористан не видел... Хорошо было бы туда вставить сотрудничество в рамках СЭВ. Остальное совсем не очень плохо...

Выйдя от председателя, Зенкович двинулся в гостиницу собирать вещи.

Через час попутная машина, уходящая в горы, подобрала Зенковича на шоссе. Путешествие началось. Зенкович улыбался, глядя на прекрасные снежные горы, и мало-помалу забывал крошечный мрак обсуждения.



Ах, дорога! Новые места, новые люди, и времена, и нравы, а чаще просто волнение, просто ожидание – вот оно откроется за поворотом нечто невиданное, незнакомое. А когда так ждешь, и правда начинает казаться, что все здесь немножко другое в этих местах, все тобой еще невиданное – и горы не те, и люди другие. А может, они и правда чуть-чуть другие. А еще чуток разницы сам уж дотянешь, за счет своего ожидания и радостного настроения. Дорога, кто не любит тебя, дорога? Недаром ведь родился в этой стране известный анекдот – про человека, который все мечтал, все добивался уехать в другую страну, где молочные реки, а едва уехав, добивался разрешения возвратиться назад, потом снова маялся, добивался, чтобы разрешили уехать (по этой вот трудности передвижения и заключаем мы, что анекдот наш, отечественный), и так до тех пор, пока властям, ведающим затруднением передвижений, не наскучила вся эта маята и обозлившись вконец, они не прикрикнули:

– Да что вам не сидится на месте, Иванов (или его звали Рабинович, этого человека, уже и не вспомню)?

На что он ответил одной фразой (из-за фразы ведь чаще всего и рассказывают анекдоты, чтобы по старости, забыв самый анекдот, сохранить эту самую фразу, в которой собрана вся соль и вся мудрость):

– Там говно, здесь говно, но дорога...

Ах, дорога. Как нас всех тянет в дорогу, и старых и малых! И стоит ли удивляться, что друг мой Сеня Зенкович, великий странник, пришел в такой необычайный восторг от бахорской дороги? Они ведь и впрямь удивительны, дороги Бахористана, – узкие коридоры ущелий, где реки рычат в белой пене, где вздымаются к небу горы и на них – гнездами – кишлячки, вечные снега, изумрудная зелень садов.



А когда устанет глаз и притомится тело, шофер тормозит: вылезай, друг, закусим. У горной речки вмазан в землю котел, под ним огонь – варится шурпа. И самовар кипит у чайханщика, и лепешка только что из очага, хрустит и тает во рту и упоительно пахнет. Блестят мытые бока арбуза, вот он хрюкнул под ножом и распался, обнажив ярко-красную прохладную плоть. Шофер режет арбуз на множество мелких долек – все надеятся, всем хватит, и своим и чужим.

Зенкович не устаёт удивляться здешней щедрости, гостеприимству бахорцев и какой-то изысканной культуре пиршества. Как они разливают чай, как угощают стариков и незнакомцев, как неторопливо, с достоинством пьют! А ласковое солнце все греет, растопляет сердце, и кажется – так будет всегда: дорога без конца, ласковая, щедрая, гостеприимная дорога под облаками.

Снова – подъем, подоблачный перевал в снегу, спуск в теплую долину, маленький базар у чайханы, где рдеет перец и золотятся дыни... А вон малюсенький, будто гнездо, весь из камешков, прилепился кишлак – каменные коридоры его улиц, таинственные его дворики: уж там непременно происходит что-то другое и неведомое, не похожее на нашу жизнь. (Зенкович уверяет, что эти сокрытые от глаз дворики не обманывают самые пылкие ожидания, но тут, конечно, надо делать скидку на неутолимое этнографическое любопытство моего друга Зенковича.)

На исходе того же дня Зенкович прибыл в маленький городок, служивший райцентром, и даже успел пообщаться там с весьма приятным молодым мужчиной, секретарем райкома товарищем Гопузовым, который обещал завтра, спозаранку отвезти Зенковича в самый что ни на есть прекрасный и глухой кишлак, на свою родину.

Утром они на газике тронулись в путь от дома Гопузова. Их провожала пожилая бахорка, которая словно не замечала присутствия Зенковича, протягивая секретарю узелок с провизией.

– Ваша матушка? – спросил Зенкович, изо всех сил стараясь быть любезным и почтительным.

– Зачем матушка? – обиделся секретарь. – Жена. Старая что ли? Она не старая, она на три года меня моложе.

Зенкович решил загладить неловкость, переключив внимание секретаря Гопузова на красоту пейзажа, который и в самом деле был прекрасен. И все же вовсе уйти от семейных разговоров в Бахористане нельзя, так что в конце концов секретарь стал выспрашивать у Зенковича, сколько у него детей, в каком возрасте он женился и в каком развелся.



С неизбежностью сравнивая их достижения (сравнение было, конечно, всякий раз не в пользу Зенковича), секретарь завершил беседу победоносной фразой:

– Я сам в восемнадцать лет женился!

Потом он огорченно взглянул на Зенковича, потому что они почти одновременно проделали в уме нехитрое арифметическое действие: восемнадцать минус три. В результате они получили то, что и должны (или не должны) были получить – возраст невесты.

– Это я ошибался, – сказал секретарь, не отрывая глаз от Зенковича и стараясь уследить за ходом его мысли. – Мне уже двадцать три был.

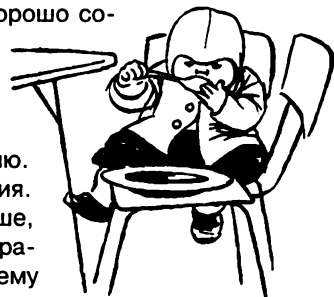
Зенкович впервые с неловкостью осознал, что хотя он как будто бы неплохой человек и ему можно кое-что рассказать, все-таки он человек оттуда, из России, и рассказывать ему следует не все. Это было и обидно, и неприятно. С одной стороны, ему было все равно, когда женился секретарь: когда созрел, тогда и женился. С другой – ему это было все же весьма любопытно – и то, что невесте было тогда пятнадцать, и то, что сейчас, в свои сорок, она выглядит как хорошо сохранившаяся старуха семидесяти лет. Хотелось также спросить, какой калым платили в те годы, но теперь спрашивать было уже неловко.

– У меня семь детей, – сказал секретарь с вызовом.

– У меня один, – сказал Зенкович. – Притом один раз в неделю.

Оба замолчали, производя в уме арифметические действия. Секретарь сосчитал, что у него детей в сорок девять раз больше, чем у Зенковича (семижды семь), а Зенкович получил таким образом объяснение, почему его бывшая жена (вид которой был ему давно отвратителен) выглядит в девять раз моложе, чем жена секретаря. В выигрыше опять остался секретарь...

Преодолев головокружительный подъем, машина въехала на улочки кишлака Вашан, стесненные глинобитными стенами и сверкающие горными потоками. Улицы эти карабкались в гору столь же стремительно, как и дорога, ведущая к кишлаку. На вершине улицы машина остановилась, и Гопузов представил Зенковичу своего отца, почтенного восьмидесятилетнего старца. Секретарь сообщил, что его почтенный отец совсем недавно женился на тридцатилетней женщине. После этого секретарь Гопузов, Зенкович, шофер Гопузова и старик Гопуз уселись на айване, где уже начали мало-помалу собираться родственники. Каждый из них приносил с собой пеструю скатерть-дастархан, в которую были завернуты лепешки, конфеты, гранаты, урюк. Гости неторопливо беседовали в ожидании чая. Вновь приходящие снимали при входе галоши или ботинки, оставаясь в носках или мягких чупяках, с



удобством усаживались на длинных стеганых одеялах, а Зенковичу, как европейскому гостю, подоткнули под спину подушку. Разговор шел преимущественно на бахорском языке, так что Зенковичу оставалось разглядывать гостей и размышлять о вечном.

Откуда-то появилась бутылка водки. Секретарь неторопливо налил себе и Зенковичу. Зенкович от водки отказался, так что секретарь остался со своим стаканом в одиночестве. Но он, вероятно, уже привык к этому своему секретарскому одиночеству и даже находил в нем горькое удовольствие. Он долго держал стакан на весу, высоко поднимал его перед собой, смотрел на свет.

И Зенкович вдруг понял, что это не просто обеденное возлияние. Что эта игра со спиртным имеет еще и символический, ритуальный смысл. Здесь, в присутствии своих близких, односельчан и старейшин своего рода, секретарь совершал привычно-чеиз-



бежное и все же требующее отваги богохульство. Он совершал его как современный, цивилизованный человек, как коммунист, которому приходится демонстративно порывать с предрассудками. В то же время он совершал его как человек, сознающий жертвенный смысл своего поступка: он, Гопузов, выдвинутый народом на большой пост, должен был совершить это святотатственное самопожертвование ради благополучия сородичей. Не просто ради того, чтоб он, Гопузов, мог свободно передвигаться на высоком уровне, куда вознесла его счастливая звезда, а ради благополучия всех Гопузовых, к их вящей славе рисковал он сейчас своим будущим, своим здоровьем, своей окончательной карьерой перед лицом Аллаха.

Секретарь начал пить. Гости и непьющий Зенкович с ужасом и омерзением наблюдали эту процедуру.

Зенкович утолил голод лепешкой, курагой и чаем. Но через час принесли шурпу. Похоже было, что пир только начинается и что Зенкович совершенно напрасно насытился лепешкой.

Внимание сытого Зенковича привлек обтрепанный старик в чалме, которому кто-то из гостей протянул недоеденную шурпу. Старик, сидевший с краю, молниеносно сожрал остатки чьей-то шурпы и до блеска вылизал миску.

Зенкович заметил, что старик этот не принес, как все прочие, угощение, завернутое в дастархан. Он вообще ничего не принес. Секретарь, наклонившись к Зенковичу, объяснил: – Это бывают у нас такой люди. Жадный люди. Ходит, сам ничего не приносит, никому не дает. У всех просит. Остатки доедает...

Итак, старик этот был знаменитый восточный скупец. Он был, как опустившийся пьянчужка, который больше не стыдится своей низкой слабости и своего падения. Он не был беден, он был не беднее других, этот старик, может, даже богаче, но он не мог преодолеть своей жадности, он примирился с ней и больше не мог скрывать ее от людей... Теперь он мерзко вылизывал второе блюдо из-под шурпы.

За дастарханом подшучивали над почтенным старцем Гопузом, который засыпал то и дело. Гости будили старца и спрашивали его о чем-то. Старик отвечал, и все дружно смеялись. Гордый своей ролью переводчика и гида, секретарь объяснил Зенковичу:

– Они спрашивают, он еще может? Старик говорит, что он еще может... Вот смотри. Умный старик...

Старик улыбнулся беззубо, в сотый раз подтвердил, что он еще может, и снова уснул. Гости стали будить его и спрашивать, сколько раз он может. Однако так и не добились.

Секретарь, посмеявшись от души, с теплотой осмотрел собравшихся и сказал Зенковичу, что это все родственники, это все Гопузовы. Зенкович уже и сам понял, что находится в родовом квартале Гопузовых, на сборище самых почтенных представителей рода. Секретарь горделиво сообщил:

– Это вот сидит завсклад. Это директор школа. Это бригадир. Это завмаг.

Окончательно разомлевший от выпитого, ощущая к Зенковичу нежную симпатию благодетеля и хозяина, щедро увеселяющего иноземного гостя, а может, алкая нового признания и новой славы, тщеславный секретарь наклонился к москвичу и сказал про-никновенно:

– Ни один Гопузов в поле не выходит!

Примитивный европеец и прогрессист, немедля шевельнувшийся в Зенковиче, был шокирован этим сообщением и не знал, как должно на него реагировать. Только потом, гораздо позднее, понял Зенкович цену и смысл такого признания. Это была похвальба хорошего человека, человека высокой морали, который любит своего ближнего, рискует не ради себя, а ради ближнего, ради своего родственника, пусть даже и не близкого родственника, а просто представителя своего рода. Нет, не для себя пил он эту омерзительную (уже, впрочем, ставшую приятной водку; не для себя дрожал на пленумах



обкома и трепал себе нервы; не для себя подвергался начальственным разносам, про­с­жи­вал штаны на бюро, заседа­ния, го­во­рил плохие слова про Аллаха и Мохаммада – ради них, ради ближних, ради всех Гопузовых села Вашан, ибо принцип братства еще не распространялся для него на всех братьев во Христе или в Магомете, не поднимался даже до уровня класса или нации. Но принцип существовал, и пусть он действовал лишь в рамках родового квартала, своего махалля, все равно Гопузов был человек, обладающий этическим принципом, он не был человек беспринципный, человек аморальный, человек безнравственный...

Во дворе кончали разделять барана. Осоловевший от еды Зенкович с трудом одолел кашу и теперь медленно попивал чай, ожидая, когда будет шашлык. Или плов? Или что?

Стало темнеть. Барана вдруг погрузили в машину, секретарь простился со всеми и уехал. Гости разошлись, айван опустел.

Зенковичу постелили тут же, на айване. Засыпая, он слышал, как лепечет крошечный водопад.



Зенкович открыл глаза и увидел склон горы, уже освещенный солнцем; вспомнил о том, что он в далеком кишлаке, в самом сердце гор, обрадовался, подумал, что теперь хорошо было бы отыскать туалет. И вдруг приподнялся в изумлении, отбросив теплое одеяло: вниз по склону горы катился человек в красном платье. За ним второй. Зенкович вскочил на ноги... Вглядевшись внимательней, он успокоился. То, что катилось, было похоже на человека, но являлось все же неодушевленным предметом. Зенкович разглядел наконец, что чучела эти пускал маленький человек, который ка-

раб­кал­ся по уступам горы высоко-высоко, у самого гребня. Человек косил траву, осторожно передвигаясь по склону, потом заворачивал скошенную траву в красную тряпку и пускал красный узел вниз. Сделав ленивое умственное усилие, Зенкович пришел к выводу, что человек, столь тяжким трудом добывавший пропитание для скота, был, скорее всего, не Гопузов. Утомленный умственной работой, Зенкович уже отправился было на поиски туалета, когда к айвану приблизился мальчик. Зенкович жестами обозначил неотложную нужду, мальчик сказал что-то по-бахорски, потом, взяв Зенковича за рукав, повел его за собой. Вопреки ожиданиям Зенковича, они пришли не в туалет, а в соседний двор. Здесь, между уличной калиткой и вторыми, глухими воротами, стояла такая же гостевая мазанка с айваном, как в доме старика Гопуза. На айване уже расстелен был дастархан, а на нем лежали конфеты, лепешки, урюк и гранаты. Вскоре появился хозяин и объяснил Зенковичу, что он тоже родственник Гопузова и что он хочет, чтобы Зенкович у него завтракал. Потому что все родственники хотят, чтобы он у них завтракал. Чтобы он завтракал, обедал и ужинал у родственников. Немножко чай, потом немножко кислое молоко, потом немножко шурпа, потом немножко плов, потом снова чай и лепешка, потом... Зенкович благодарил, прижимая левую руку к сердцу. Он объяснил хозяину, что вообще-то он собирался также работать, писать – переделывать сценарий, хотя он, конечно, не горит желанием срочно приступить к переделкам. И тогда его хозяин, с таким трудом объяснявшийся по-русски, вдруг спросил легко и небрежно, с неподражаемым студийным шиком:

– Какая вариант синарий? Канчательный вариант? Запуск производство била? Подготовительный период била?

Зенкович уже раскрыл рот, чтобы спросить, откуда здесь, в самом сердце гор, приобрел этот человек столь тонкое знание кинопроизводства, когда прибежал мальчик и что-то сказал хозяину по-бахорски.

– Завсклад такой работа, понимаешь? – сказал хозяин. – Товар немножко отпустить надо. Сиди, лепешка кушай, приду.



Зенкович остался наедине с таинственной загадкой. Он долго развлекал себя лепешкой и чаем, потом прикрыл глаза и стал блаженно дремать на просторном айване, в виду поднебесных гор. Сквозь дремоту он видел, как приоткрылись створки внутренних ворот и как из них стали выползать дети всех возрастов. Остановившись у ворот, они с опаской смотрели на Зенковича. Он не шевелился. Дети стали подходить все ближе и ближе. Их было много, и все они были похожи на завсклада, как промтовары отечественного производства на просторах полупустого универсама. Вслед за детьми стали выходить женщины. Их было три, они тоже были разных возрастов, однако ни одна из них не была похожа на завсклада.

И тут Зенковича осенила догадка. Это были жены завсклада. Именитый завсклад мог себе, наверно, позволить такую роскошь, как три жены. И непохожие жены рожали ему детей, как две капли воды похожих на породистого завсклада... Зенкович разглядывал их сквозь полуприкрытые ресницы, а между тем дети и жены приближались к Зенковичу совсем близко, чтобы рассмотреть его подробнее. Осмелев, они стали щупать одежду Зенковича и, наконец, щекотать его пятки. Не выдержав, он вдруг прыснул, потом твякнул по-собачьи. Дети и жены со счастливым смехом бросились враспынную. Зенкович больше не твякал. Он сделал вид, что снова уснул, и даже захрапел. Тогда они стали подкрадываться к нему снова. Усыпив их бдительность, он твякнул еще громче. Они снова разбежались с визгом и хохотом. Они были совершенно счастливы. Он, впрочем, тоже...



За этой игрой они провели час, и Зенкович вдруг с действительно-

стью вспомнил про туалет. На его счастье вернулся завскладом, и, завидя его еще издали, семейство скрылось за глухими воротами. За этими воротами скрывалось теперь для Зенковича так много тайн, что он совершенно забыл о туалете, и завскладом гостеприимно всплеснул руками, давая понять, что это дело простое и общедоступное. Он вывел Зенковича за калитку, на крошечную площадку, на которую выходили калитки еще трех хозяев. По краю площадки стекал с горы поток.

– Здесь лучший место, – сказал завскладом. – Давай, давай, не стесняйся...

Зенкович расстегнул брюки, мучительно размышляя о том, почему это место лучшее, если в любую минуту любая из трех калиток может открыться и прекрасная девушка с газельими глазами... О, стыдоба!.. Застегнув брюки, Зенкович стал оценивать обстановку более здраво: в конце концов, им не пришлось идти далеко от дома, это раз. Аккуратный мусульманин сразу может здесь помываться, а церемонный европеец – помыть руки. Это два...

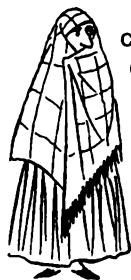
– Мыло бы мне только... – сказал Зенкович, но завскладом покачал головой.

– Мыло тут нельзя... Химический вода вниз пойдет. Там внизу люди этот вода берут, чай пьют...

– И ведь правда, – подумал Зенкович умиленно. – Мы-то, брезгливые европейцы, готовы пить любую щелочь, а тут только чистый продукт...

Теперь, когда исполнение всех желаний принесло ему облегчение, Зенковичу захотелось проверить свою этнографическую догадку, и он пошел на маленькую (уже почти восточную) хитрость. Он сказал, что хочет сфотографировать детей завскладом и вообще его домашних.

– О-о-о, у меня много-много людей кормить надо... – вздохнул завскладом и, приоткрыв ворота, бросил клич. За глухими воротами сразу началась суета, и вскоре Зенко-





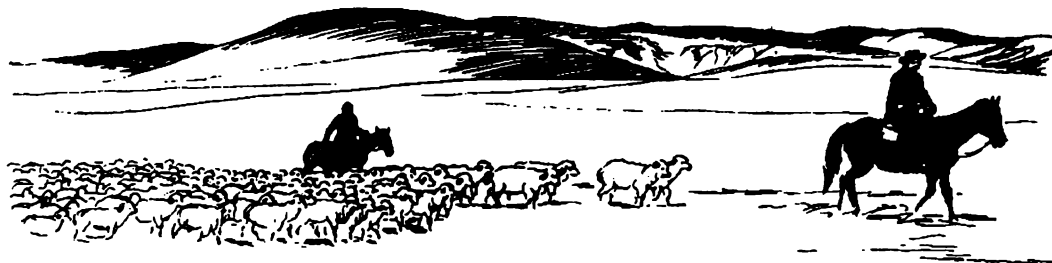
вич смог, наконец, из своего готового карантина проникнуть за сокровенные ворота. Приступая к съемкам, он мысленно разделил детей по матерям. Сделать это было нетрудно: в присутствии постороннего они жались к матерям. Кроме того, возле старшей жены и дети были постарше. Потом Зенкович собрал детей в обособленную кучу. Маленькие продолжали копошиться в дальнем углу двора, и Зенкович небрежно спросил у завскладом:

- А эти что, не ваши?
- Почему не мои? - воскликнул завскладом с обидой.
- И эти мои. И те мои.
- А эти?

- И эти... И эти... И вот там... - похоже, он уже готов был произнести знаменитую ноздревскую фразу, когда вспомнил вдруг о строгом единобрачии, предусмотренном УПК республики, и об органах надзора. Его отцовское чувство подверглось суровому испытанию, и хитроумный Зенкович ощутил себя мудрым Соломоном на знаменитой выездной сессии библейского суда.

- Тут есть родного брата жена... - сказал, наконец, завскладом. - Брат далеко горы уходил. У двоюродного брата есть жена, он уходил далеко горы. Их дети все равно как родные дети растут.

- Что там в горах?
- Там баран ходит...



Зенкович отдал должное мудрости завскладом. Там, в родных горах, бродили лишние мужья и лишние бараны. Последние были совершенно необходимы людям для производства свадебных пиров и для продолжения рода, чего, однако, не хотело принимать в расчет европейское законодательство. К счастью, никто не мог пересчитать этих заоблачных баранов: горы помогали людям жить по-своему, по-горному, то есть по-человечески...

После завершения съемок в гостевую пожаловал еще один родственник - молодой и красивый директор школы Арслан. Он сказал, что уже пора Зенковичу с ним тоже почайпить, к тому же он хотел бы показать гостю школу, прежде чем пригласить его домой. Зенкович, обладавший, как уже было отмечено, поразительной для его возраста любознательностью, сказал, что школа его тоже очень интересует. Вместе с директором он и отправился туда по узкой горной дороге. Навстречу им попадались младшеклассники, только что закончившие смену. Они несли на голове книги и тетради, завернутые в цветные платки и тряпки. При встрече с Зенковичем все они радостно улыбались, однако девочки при этом отворачивались, закрывая нижнюю часть лица краем платка. Так же поступали и взрослые женщины. Одна из них кормила грудью ребенка. При виде Зенковича она закрыла нижнюю часть лица, зато свою изобильную, смуглую грудь даже позволила сфотографировать на память. Вид этой прекрасной груди навел Зенковича на размышление об относительном характере всякого этикета и безотносительной красоте женского тела. Как уже успел отметить читатель, наш скромный герой



был по натуре своей мыслитель и созерцатель, что само по себе не так уж хорошо. Лучше бы он был деятель...

Во дворе школы Зенковича и директора приветствовали учителя, наблюдавшие за общественно полезным трудом старшеклассниц, которые были заняты уборкой двора. Зенкович присоединился к этой группе, понимая, что наблюдать за старшеклассницами ему следует не впрямую, а как бы искоса. Директор напомнил Зенковичу, что в Бахористане вообще не принято глазеть на чужую женщину – следует делать вид,

что ты ее не замечаешь, тогда и она будет делать вид, что не замечает тебя, – тогда все, может быть, обойдется. Зенкович подумал,

что это, в сущности, неплохое правило, которое при неукоснительном его соблюдении избавило бы человечество от стольких брачных недоразумений. Остается только уточнить, какие женщины являются чужими. Директор объяснил, что старшеклассницы его школы смело могут рассматриваться как чужие женщины, потому что почти за каждую из них внесен (частично или полностью) так называемый калым (отступная сумма, позволяющая жениху-плательщику рассчитывать на брак)\*. Женихи, которые внесли этот калым, да и сами невесты, с нетерпением ждут окончания курса наук, чтобы приступить к главному делу жизни. Не ощущая острой потребности в законченном среднем образовании и считая свое женское созревание завершенным, эти девушки, может, и пренебрегли бы опостылевшей школой, однако за посещаемостью строго следит районный прокурор. Зенкович с умилением констатировал, что сбылась мечта самых передовых просветителей – образование стало заботой не только всего народа, но и его карательных органов.

Раскрывая Зенковичу хитросплетения бахорской жизни, молодой директор время от времени с чувством повторял фразу, которая очень ему нравилась:

– Сам я человек современный.

Фраза эта глубоко интриговала Зенковича, который в своих бесконечных странствиях давно уже тщился выяснить, что же такое современный и что такое несовременный, что такое провинциальный, а что такое столичный; что такое интеллигентный, а что такое неинтеллигентный человек.

– Видите, какой я современный человек.

Вспомнив о необходимости пополнять свой книжный фонд, Зенкович выказал желание осмотреть школьную библиотеку, но в ней он обнаружил только школьные учебники на бахорском языке, старые постановления по вопросам сельского хозяйства, стихи местных поэтов, а также четыре русские книги. Одна из них оказалась “Книгой допризывника”, вторая “Руководством по организации военно-полевых складов”, третья переводом на русский язык венгерского пролетарского прозаика Каринти, а четвертая одиннадцатым томом собрания сочинений Л. Толстого и была, вероятно, так же мало понятна простому бахорцу, как тибетская рукопись “Ганджура”. Поначалу Зенкович оптимистически предположил, что книгу эту зачитывает до дыр местный учитель русского языка, но страницы книги оказались неразрезанными. Сам же учитель вскоре объявился в библиотеке и приветствовал Зенковича развязным: “Как делё?” Больше ни одной русской фразы он не смог припомнить, так что романтическое предположение Зенковича отпало само собой.

Директор напомнил гостю, что пришло время почайпить, и они двинулись в обратный путь. Перед воротами своего дома директор в последний раз, с угрожающим пафосом прославленного радиодиктора военной поры воскликнул:

– Я человек современный!

---

\* Автор предвидит, что, поясняя самые элементарные реалии восточной жизни, он вызовет раздражение наиболее просвещенных из читателей. Однако он намерен держаться как можно ближе к первоисточнику (подлинному рассказу С. Зенковича). Кроме того, он не может забывать об интересах наименее просвещенной (и наиболее им любимой) части читателей (тех самых, что непременно пишут письма в редакцию и выступают на читательских конференциях).



И распахнул двери маленькой гостевой комнаты-мехмонхоны (только врожденное чувство языка мешает нам называть эти комнаты бахорского дома гостиными). Зенкович вошел и остановился, рассеянно глаза по сторонам. В комнатке с земляным полом стояли стол и два стула, в углу красовалась тумбочка. Стену украшали, по обычаю, вышитое покрывало, какие-то картинки, полотенца и портрет товарища Сулова.

– Ну? – с торжеством спросил директор. Зенкович вежливо зацокал языком, все еще не понимая, чего от него ждут.

– Садитесь, – сказал директор и пододвинул Зенковичу стул. – Я человек современный!

Только усевшись, Зенкович понял, что имел в виду директор. Стулья! Два казенных стула. И канцелярский стол. Может быть, также и тумбочку из общежития. И правда, это было в кишлаке единственное жилье со стулом. Да еще с этим ненужным столом. И с сиротской тумбочкой.

– Да-а-а! – протянул Зенкович, имитируя крайнюю степень изумления.

– А это? – сказал директор, отпирая тумбочку. Он вытащил оттуда бутылку водки и с гордостью повертел ее в руках.

– Не будем, – сказал Зенкович. – Сейчас не будем. Рано. Жарко. И вообще.

– Чай будем, – охотно согласился директор. В конце концов он уже продемонстрировал свой нрав современного человека.

Они уселись на полу, мальчик принес им зеленый чай, и директор простодушно рассказал Зенковичу всю правду о своих родственниках. Кто из них сколько заплатил калыму. У кого сколько жен. И сколько неучтенных баранов у каждого из них пасется в горах. О самом себе он говорил все так же уважительно и кратко:

– Я человек современный!

Впрочем, прогрессивность его не выходила за рамки приличий: жена и другие женщины его дома так и не показались гостю. Директор признал, что жена у него есть, но заявил, что, женившись по любви, он не платил калым. Зенкович не настаивал на исповеди. Он уже понял, что на следующем чаепитии в другом родственном доме он и без расспросов услышит все подробности из жизни директора.

За чаем современный человек сообщил Зенковичу приятную новость. Он сказал, что Зенкович приглашен в соседний кишлак на пир, посвященный обрезанию ребенка, так что он сможет увидеть на этом празднике много всяких прекрасных вещей. При этом известии любознательный Зенкович еще раз благословил судьбу, директора студии и взыскательный худсовет, совместно забросивших его в этот райский уголок нашего государства.



Весь следующий день Зенкович, как человек истинно творческий, провел в благочестивом творческом размышлении. Глядя на склон горы, он размышлял о том, кому (кроме самих работников творческого труда) и на кой черт нужно еще какое-то там творчество, если земля такой прекрасной и совершенной вышла уже из рук Творца, так полна чудес и неожиданностей...

Размышления Зенковича изредка прерывал престарелый Гопуз, отец секретаря Гопузова. Он приходил и садился у стены. Это каждый раз означало, что скоро появится его молодая супруга и принесет еду. Красное, свободно ниспадавшее платье супруги обозначало ее тугие груди нерожавшей женщины и ее соски, торчавшие, точно кнопки на пульте управления современной теплоцентрали. Зенкович уже знал от родственников, что эта молодая женщина два раза выходила замуж, но, оказавшись бесплодной, оба раза была изгнана из дому. Что заботливый сын-секретарь сосватал ее для овдовевшего родителя и что калым за нее потребовали небольшой, то ли из-за того, что она бесплодна (трудно было предположить, что старик Гопуз еще собирался плодиться в свои восемьдесят лет), то ли из-за того, что за нее уже дважды было уплачено. Когда Зенкович попытался однажды в доверительной беседе с кем-то высказать сожаление

по поводу судьбы этой женщины, собеседник возразил с живостью:

– Что ему, со старичком плохо? Тепло ему. Накормлен.

Поскольку женский и мужской род не различаются в бахорском языке, Зенкович не сразу понял, кто кем накормлен. В конце концов он пришел к выводу, что оба, вероятно, накормлены, так что оба довольны. Любопытный Зенкович решил, что путем визуально-сексуального наблюдения и методов дедукции ему, может, удастся выяснить, как разрешает юная супруга Гопуза половую проблему, а может, не только выяснить, но и внести свой посильный вклад в решение этой проблемы. Здесь автор должен заметить, что его друг Зенкович был сторонником активного вмешательства в жизнь, и если по мягкости характера он не придерживался знаменитого тезиса о том, что Добро должно быть с кулаками, то считал, что каким-нибудь полезным органом Добро все же должно обладать.

Размышления Зенковича о совершенстве природы и необязательном характере творчества дало ему силы отложить исправление сценария на неопределенно долгий срок.

Освободив себя таким образом от трудовых обязательств, Зенкович отправился бродить вдоль сада, протянувшегося над горной рекой. И здесь ему вдруг представилось зрелище столь же таинственное, сколь и прекрасное. Вдоль речной террасы, точно птицы на жердочке, обратив лица к востоку и замерев в благочестивой неподвижности, сидели старики в нарядных халатах и чалмах. Они совершали коллективное богослужение. От просвещенного директора школы Зенкович

уже слышал, что во времена мракобесия в этом кишлаке, как и во всех прочих кишлаках бахорской земли, была своя мечеть, даже две мечети, но в наше время, в связи со стремительным ростом просвещения, во всем Бахористане оставлена была только одна небольшая мечеть в

городе Орджоникирве, вполне, впрочем, удовлетворяющая нужды международного мусульманского сотрудничества и

борьбы за мир. В результате такого аскетического культослуживания отдельным гражданам, выросшим еще при старом режиме, приходилось отправлять свои религиозные потребности без мечети, а иногда вот так – в саду над рекой. Оптимисту Зенковичу подумалось, что молитва, совершаемая на воздухе, в местности, располагающей к благочестию, не может не быть угодной Господу. Вид молящихся старцев пребывал в живописной гармонии с пейзажем и со всей атмосферой вечера на берегу горной реки, с прекрасным садом, напоминающим сады Аллаха.

Внезапно гармоничная картина была испоганена. Зенкович даже не сразу понял, что произошло. Он понял только, что трогательная гармония нарушена, и стал с отвращением приглядываться к подробностям этого святотатства. Он отметил, что старики повскакивали со своих мест, а некоторые даже обратились в бегство (неловкое и непристойное ввиду их почтенного возраста и их одежды, созданной для поз спокойного достоинства). Он заметил, что это началось как раз в тот момент, когда в поле зрения появился мужчина в черном пиджаке, размахивавший палкой. Острый ум Зенковича, сопоставив эти два явления, установил их причинно-следственную связь, которая, однако, не прояснила тайну странного происшествия. Зенкович услышал, что мужчина что-то кричит по-бахорски резким и неприятным голосом. Когда же Зенкович подошел ближе к речной террасе, ни стариков, ни мужчины с палкой там уже не было.

Теряясь в догадках, Зенкович вернулся, в кишлак. Здесь он решил посетить сельмаг и купить там каких-нибудь конфет, чтобы порадовать старого Гопуза и его молодую супругу. Увы, конфеты продавались только одного сорта, того самого, который Зенкович уже видел на дастарханах и на подносах в каждом доме. Они вряд ли могли потешить старого Гопуза. Однако сам магазин не оставил равнодушным воображение Зенковича. Здесь были предметы старые, предметы устаревшие и даже предметы старин-



ные. Самым старым было рассыпное печенье. Оно лежало тут, вероятно, еще со времен ханско-байского мракобесия, и вид у него был такой почтенный, точно оно было сделано из серого мрамора. Были тут также старые сапоги, галоши, куски масла (тоже, судя по всему, старинного), широкие, дохрущевской моды, брюки, керосиновая лампа времен победоносно выполненной третьей пятилетки. Наибольший интерес представляли, однако, сами полки магазина. Продавец сверху донизу увешал их черно-белыми и грубо раскрашенными фотографиями, воспроизводившими кадры из индийских и арабских фильмов (главным образом дамы с пышной грудью и с родинкой на лбу). Кроме дам здесь были разнообразные, трогательно-знакомые фотографии генералиссимуса Сталина и его сподвижников (при орденах и без орденов, у телеграфного аппарата или на лыжах, с узбекской девочкой Мамлакат, с безымянной калмыцкой девочкой и с какими-то не по-нашему причесанными детьми, явно переснятыми с довоенных немецких открыток). Трогательные фотографии вождя, как ни странно, гармонировали с декольтированными арабскими дамами: судя по выражению его гениального лица, доброго генералиссимуса как будто даже радовало столь сладостное соседство...

Зенкович справился о цене ичигов. На самом деле ему хотелось спросить о замысле этой красочной экспозиции, объединившей вождя и арабских девочек, но он решил, что раньше или позже торговец, наверняка один из Гопузовых, позовет его в дом на чай и тогда он узнает о его замыслах. Пока он видел только, что завмаг был ленивый вор. Скромный сельский магазин все же давал ему, вероятно, возможность кормить детей от одной, двух, а может, и трех жен, поддерживая могучий клан Гопузовых. А может, позволял оказывать поддержку и самому главному Гопузову...

Зенкович вышел на площадь. Радио пело что-то протяжное по-бахорски. Может быть, это была песня о безнадежной любви. Или песня о высоком урожае, о великом друге и вожде. О великих друзьях и вождях. Может, даже это была песня из кинофильма Махмуда Кубасова...

"Так запоет однажды наша девушка из чайханы", – подумал Зенкович. Он нашел, что мысль эта может оказаться небесплодной для его сценария. В самом деле, почему бы счастливой крошке не петь чаще?

Какой-то старик в военных брюках, с орденами колодками на сером пиджаке подошел к Зенковичу и остановился, глядя в него слезящимися глазами. Зенкович почтительно протянул старику правую руку, прижав левую к сердцу.

– Ты меня не знаешь? – сказал старик, заранее обижаясь. – А поэт Мураз Муртаз знаешь? Я его дядя по отцу, родной брат его отца... Меня тут все знают. И там все знают, – старик горделиво повел рукой за горные хребты. – Мы с тобой завтра в другой кишлак на пир ходить будем. Праздник будет. Борцы бороться будут. Артисты будут. Надо сейчас парторг Кусманов идти, машина просить. Вместе идем.

Войдя в дом и увидев парторга Кусманова, Зенкович лишился дара речи. Это был тот самый человек в черном пиджаке, который час назад разгонял стариков в саду. Вон и палка стоит в углу. Видя, что Зенкович не решается начать разговор, дядя поэта, которого тоже звать Мураз (а может, еще и Муртаз), взял на себя представление.

– Этот человек Москвы. Будет сценарий делать про наш колхоз. Вместе мой племянник Мураз Муртаз. "Бахорфильм".

Парторг Кусманов глянул зорким глазом, спросил:

– Какой конкретно материал из наш колхоз берете свой сценарий?

Зенкович, еще глядя на суковатую палку в углу, ответил уклончиво:

– Это художественный фильм... Он еще, так сказать, не родился... Трудно сказать, что будет... Вот как ваша жена – пока она беременна, еще неясно, что она родит...

Неуместное сравнение с его женой Кусманов пропустил мимо ушей. Спросил деловито и просто:



– Какой фильм? Полнометражный? План этого года? Переходящий план? Какой вариант? Режиссерский? Ах, второй вариант. До запуска доживать надо...

Зенкович онемел от удивления. Между кишлаком и кинематографом определенно существовала загадочная связь...

Оклемавшись, Зенкович кивнул на палку, стоящую в углу.

– Я видел... – сказал он запинаясь. – В саду. Старики...

Парторг отозвался печально:

– Вот так. Сам видел, какой предрассудки. Сколько им новый жизнь завозят, телевизор завозят, машина завозят... Все равно предрассудки. Атеистический борьба у нас отстает. Один раз все можно успеть?

Дядя поэта Муртаза подал голос:

– Для борьба предрассудок обрезание пир будем завтра ходить. Давай завтра машина.

– Машина испорчен, запчасти нет, – сказал парторг. – Очень трудно предрассудка бороться.

– Раз так, пошли. Пешком будем ходить, – сказал Зенковичу дядя Муртаза и добавил, обращаясь к Кусманову: – Слабый ты парторг. Рахматов сильный был парторг. Пошли, Семен!

Перед сном Зенкович пошел за ближайший сарайчик и там, справляя меньшую из своих нужд, услышал вдруг полузабытые уже, волнующие звуки любовной битвы. Скрытая ветхими стенами сарайчика неведомая пара трудилась восторженно и самозабвенно. У Зенковича не было сомнений в том, что женская сторона в этом побоище представлена его молодой хозяйкой. Что касается второго участника турнира (мысль о проникновении группового секса в бахорские горы не потревожила душу Зенковича), то его кандидатура вызвала у Зенковича большое любопытство. Во-первых, при всем уважении к бахорским долгожителям, Зенкович не мог представить себе, что засыпающий на ходу Гопуз-ака учинит такую возню в собственном сарае. Во-вторых, неизменные галоши старого Гопуза мирно стояли на айване: значит, старик был дома и, скорей всего, спал.

Зенкович вернулся в мехмонхону и решил, что будет наблюдать за сараем с упорством настоящего исследователя. Впрочем, сексологическое открытие не потребовало от пытливого Зенковича ни долгих усилий, ни душевных мук. Через четверть часа дверь сарайчика отворилась, и из нее с чувством выполненного долга вышел соседский мальчик Сурхат, пионер, второгодник и добрый друг Зенковича. Как исследователь чужеземных нравов Зенкович мог торжествовать победу, однако, засыпая, он отчего-то чувствовал себя обойденным...



Ранним утром Зенкович и Мураз-ака пешком двинулись в кишлак Сары-Чинар, где должен был происходить пир в честь обрезания. Старенький Мураз-ака бодро шагал впереди, и Зенкович едва поспевал за ним, особенно сильно отставая на подъемах. Солнце уже поднялось из-за гор и начало сильно припекать, а они все еще не вышли за пределы своего кишлака.

Иногда, замедляя шаг, Мураз-ака развлекал Зенковича рассказами. Он очень гордился своим прошлым, потому что был одним из самых передовых людей своего кишлака и еще в довоенное время был то ли членом партии, то ли просто беспартийным большевиком. Во всяком случае, он гордо называл себя коммунистом. Он был грамотным в те времена неполной грамотности и работал секретарем в сельсовете. Бахорская республика пользовалась тогда арабским алфавитом, так что сегодня Мураз-ака был одним из немногих жителей этих мест, который разбирал арабскую грамоту. Бремя этой редкой учености он делил с бывшими священнослужителями. Как и они, он мог прочесть молитву, написанную по-арабски. В то же время он умел разговаривать с председателем колхоза или парторгом на их современном языке, мог вспомнить при

случае о своих заслугах в деле наведения порядка в этом глухом углу республики. В общем, он был человек с прошлым. Однако жил он настоящим, пожиная плоды, которые приносили ему возраст (а возраст в бахорском селении приносит не одни только болезни), революционные заслуги и знание арабского алфавита. К тому же, пробыв так долго на государственной службе в должности секретаря сельсовета, Мураз-ака в тот или иной период своей деятельности успел облагодетельствовать тем или иным способом чуть не всех своих односельчан и оттого мог требовать от каждого из них, а на худой конец, от их потомства, смутно слышавшего об этих старинных заслугах, знаков уважения и благодарности. И поскольку он ждал от них благодарности, ожидание его немедленно передавалось гостеприимным жителям кишлаков, и под котлами с пловом вспыхивали приветственные огни... Другими словами, лучшего проводника, чем Мураз-ака, вряд ли можно было бы найти в округе.

Как достойному собеседнику, способному к тому же увековечить его прошлое, Мураз-ака время от времени раскрывал Зенковичу славные страницы этого прошлого...

– Вот здесь... – воскликнул он, остановившись под огромной чинарой близ кладбища. – Вот здесь мы учили вашанскую молодежь и комсомольцев пить красное самаркандское вино...

Глаза Мураза-ака затуманились воспоминанием. А может, еще и предвкушением выпивки. Он бодро двинулся в путь, а когда обернулся, увидел, что Зенкович не поспевает за ним.

– Устал? – посочувствовал Мураз-ака. – Давай сюда зайдем в гости. Чаю попьем. Тут один мой родственник живет. Мулла.

Мулла был высокий, кривой и такой противный, точно желал одной только внешнею своей узаконить традиционный образ муллы в бахорском кинематографе. Гостевая комната его дома не имела никаких специфических признаков его профессии, если не считать двух плакатов над дверью, написанных арабской вязью. Если бы Зенкович не знал, что здесь живет мулла, плакаты эти долго мучили бы его неразгаданностью. Он уже пережил эти муки в расписанной сверху донизу чайхане райцентра, где среди узоров и орнаментов были также две надписи по-арабски. В чайхане Зенкович проявил находчивость и усердие лингвиста, бьющегося над клинописью маяя. Внимательно разглядев всю роспись, он обнаружил прежде всего, что надписи эти расположены симметрично на противоположных стенах чайханы. Далее он заметил в уголке надпись на кириллице. В результате хитроумного анализа любознательный Зенкович установил, что арабская надпись означала: “Слава КПСС”. Продолжая свои поиски, Зенкович вспомнил, что арабские надписи, замеченные им в ханском дворце в Крыму, были гораздо более длинными, и выдвинул рабочую гипотезу, предположив, что крымская надпись означала: “Да здравствует наше родное ханское правительство!”

В жилище муллы, тем более в гостевой комнате, надписи должны были, без сомнения, носить культовый, научно говоря, мракобесный характер. Догадку эту подтвердил и Мураз-ака, расшифровавший первые слова надписи: “Аллоу акбар...” – “Слава Аллаху”.

Тем временем мальчик расстелил дастархан. Мулла провел ладонями по лицу, сказав “Аллоу акбар...”. Мураз-ака и Зенкович повторили его жест и молитву, впрочем, с разной степенью умения. Потом все трое стали пить чай и закусывать лепешкой, макая ее в каймак.

– Кусманов машину не давал, – пожаловался Мураз-ака. – Слабый парторг.

– Вчера ко мне приходил... – сказал мулла. – Обрезание его сыну делать надо.

– Больше с него деньги бери, больше, – сказал Мураз-ака. – Совсем слабый работник. Район был, не справлялся. Студия не справлялся. Тут совсем не справляется: машина не давал.

– Значит, он работал на студии... – начал прозревать Зенкович.

– Тут каждый человек работал на студии, – сказал Мураз-ака. – Директор наш земляк, много себе брал работник. Кусманов картина работал – тоже не справлялся. Гопузов стал в район секретарь, кто кино не справлялся, обратно себе брал...

– Зачем он стариков палкой разгоняет? – спросил Зенкович.

– Плохой человек. Больше с него будем деньги брать, – сказал мулла. – Сиди немножко. Сейчас у него машина просить будем.

Мулла сдернул узорчатый платок с телефона, снял трубку, покрутил ручку. Неторопливо, величественно, вполголоса поговорил с блудным секретарем. Повесил трубку, покачал головой.

– Машина ремонт. Запчасти нет, – сказал он. – Плохой человек.

– Слабый работник, – подтвердил Мураз-ака. – Мы пошли. Тихонько ходить будем.

Мулла проводил их до калитки, простился с достоинством, с сознанием своей силы. Зенкович подумал при этом, что, может, и впрямь его мерзкая физиономия угодна Аллаху, раз он так спокоен за свое будущее в этом беспокойном мире.

– Тоже плохой человек, – сказал Мураз-ака, как только калитка за муллой закрылась. – Очень жадный. Деньги много имеет.

Дойдя до конца улицы, они остановились в тени кладбищенской ограды. Это было мусульманское кладбище. Бахорское кладбище. Пустыня за глинобитным дувалом. Ни травинки, ни бугорка, ни надгробья. Сухая земля да глина... Из глины создан, в глину ушел, что тебе, человек? В углу одиноко стоял шест с белыми тряпками – флагами поминовения: это была свежая могила. За оградой пестрело дерево, обвязанное тряпочками.

– Святой могила, мазар, – сказал Мураз-ака. – Там как будто чудо был. Какой-то чудо? Сам знаешь, чудо не бывает...

Зенкович подумал, что самое большое чудо – это то, что мусульманская религия еще жива здесь, несмотря на порушенные мечети, на самаркандское вино, на просветительские усилия Мураза-аки и оплаченную деятельность парторга...

Они карабкались в гору. На первом же повороте стало прохладней. С далекого снежника дул ветер. Мураз-ака уверенно выбирал тропу.

– Э-э-э, – сказал он. – Я эти дороги как своя рука знаю. Бывало, район звонит – давай цифра, давай сводка. Каждый кишлак сводка давай! Каждый кишлак телефон нет. Вставай, пошел. Холод, зима, пошел. Этот цифра зачем нужен? Этот цифра все равно сам придумать надо. Им тоже надо область свой цифра давать. Тоже свой работа. Пешком ходи, ходи... До это место дойдешь – снег, лед, руки отморозил, слезы текут, идти надо. Стоял, плакал немного, дальше пошел. Все же давал цифра, сводка давал, помогал свой страна трудный время...

– Из головы давал? – спросил неугомонный Зенкович.

– Конечно! Откуда еще давал? – торжествующе отвечал Мураз-ака. – Эх, если кто понимает, большой сделан работа: трудный год, голод, басмач, Отечественная война, хлопок, табак, опять голодный время, современный время все время тяжелый... Наш работник все выдержал – кругом шпион, враг, американский разведка, каждый кишлак сводка надо давать, сколько шпион...

Зенкович слушал то трогательный, то страшный сумбур воспоминаний, где мешались картинки минувшего, газетные лозунги, реминисценции из бессмертных творений "Бахорфильма", создавшего за четыре десятилетия неторопливой, вальяжной деятельности убедительное полотно классово-борьбы в Бахористане, некую басмачиаду или даже басмачиану. В его сладких воспоминаниях старенького Мураза-аку не могло волновать несъедобное зерно истины (так интриговавшее беспокойного полуеврея Зенковича): его интересовало признание его заслуг современниками, оправдание его долгой, на пользу общества прожитой жизни, и потому все, что грозило принижением и умалением этих заслуг, не могло быть им принято, отторгалось его памятью. Он был здоровый человек из горного кишлака, не психопат какой-нибудь, не мазохист, не русский писатель-интеллигент с его вечно недужащей совестью. Совесть Мураза-аки была чистой всегда. Вот и сейчас он с чистой совестью начал длинный рассказ о том, как ему



удалось передать органам одного председателя, который отчего-то знал полдюжины немецких слов... Рассказ был длинный, очень важный для старика рассказ. Однако еще важнее рассказа был живой человек, и когда Мураз-ака заметил, что Зенкович выбился из сил, он прервал повествование, сел у края дороги и сказал:

– Садись, мирза! Отдыхай немного. Сейчас маленький крюк будем делать. Еще один кишлак зайдем. Там война работал. Немного кушать будем, немного чай пить, потом дальше идем.

Зенкович, блаженно растянувшись на теплой земле, смотрел вниз – на неслышную сверху реку, застывшую в прыжке; на раздолье зеленой долины; на стадо баранов, пестревшее на недоступной скале; на кишлак, прилепившийся к склону в изумрудном обрамлении садов; на каменную стену, смело изукрашенную великим Мастером, – черные узоры и красные потоки живописи, серо-зеленые коллажи мхов, фриз тончайшей чеканки...

– Еще мало-мало ходить будем, – сказал Мураз-ака. – Сто метров...

Зенкович уже знал эту маленькую хитрость. Сто метров. Еще сто метров. Значит, километр, два, а может, и все три. Вон как бодро шагает Мураз-ака, не знающий лекарств, сделавший последнего ребенка в пятьдесят восемь, в возрасте, когда Зенкович и его сверстники уже, вероятно, откинут копыта... Боже, сколько таблеток проглотили они, сверстники Зенковича, едва разменявшие свой пятый десяток...

– Кишлак Фанг! – воскликнул Мураз-ака. – Сюда тоже сводка брать ходил. Война работал. Много добра делал. Сейчас будем отдыхать, немножко чай пить будем, немножко плов кушать...

Мураз-ака озабоченно смотрел на живописный кишлак, крутыми террасами поднимавшийся от реки вверх по склону. У Мураза-аки были свои проблемы. Эти люди, которые хотели почтить его угощением, могли забыть о его маленьких современных слабостях – о его любви к водке. Водка хранилась здесь в закромах сельмагов (вечно закрытых), и требовали ее очень редко, только в таких вот исключительных случаях. Впрочем, благодарные и гостеприимные жители дальних кишлаков ни разу не обманули ожиданий почтенного Мураза-аки: они из-под земли доставали завмага, отпирали склад, добывали мерзкую, теплую зеленоватую бутылку, дурно пахнущую вестницу прогресса, и платили без колебаний, сознавая культуртрегерскую миссию мерзкого напитка в их лишенном истинной культуры идилическом уголке земли.

Кишлак Фанг, увидевший их издали, на склоне, был взволнован появлением гостей. Мураз-ака и Зенкович то и дело останавливались, правой рукой пожимали руки туземцам, прижимая при этом левую к сердцу. Первым, кто пригласил их в дом, был завуч местной школы. Переглянувшись со своими учителями и благосклонно взглянув на детвору, которой небо послало сегодня такой подарок, завуч сказал сторожу:

– Звони! Пусть идут по домам. Уроков больше не будет.

А сам он повел гостей к себе в дом, сопровождаемый учителями и виднейшими представителями сельской интеллигенции. Пьющий учитель физкультуры, как наиболее опытный в этом районе сын грека, был послан на поиски водки.

В ожидании плова гости сидели вдоль стен просторной гостевой комнаты, отличающейся очень пестрым расписным потолком. Мастер, делавший потолочную роспись, испытал на себе могучее влияние войсковой эстетики, так что мехмонхона сильно смахивала на красный потолок воинской части, именуемый также Ленинской комнатой. Здесь были нарисованы пушки, пятиконечные звезды, серпы, молоты, знамена боевой славы и даже значок классного специалиста какого-то из родов войск. Для завершения сходства к стене был припилен фотопортрет генералиссимуса, от руки раскрашенный небескорыстным умельцем.

За достарханом кроме учителей и завуча находились также бывший районный судья, отдохавший на пенсии, и молодой шофер, недавно отслуживший срочную службу, так что Зенкович счел случай вполне удобным для того, чтобы услышать достаточно представительное народное мнение.

– И за что только мы любим нашего вождя? – патетически воскликнул Зенкович, поднимая пиалу с чаем и кивая на раскрашенное фото генералиссимуса.

Вопрос его поверг в волнение мирное восточное застолье.

– Очень был храбрый! – пылко сказал молодой шофер. – Первый на амбразуры кидался!

– Мудрый человек, – сказал бывший судья с чувством. – Народ очень любил. Я народный судья был, хорошо знаю.

Зенкович кивнул с серьезностью – кому же, как не народному судье, знать о тайной любви народа.

– Очень был ученый, – сказал пожилой учитель. – Сам придумал языковедение, дипломатика и всякий другой наука. Теперь больше нет такой ученой люди.

– Что самый важный... – вспомнил судья. – При нем всякий народы нас очень боялся. Америка боялся. Голландия боялся. Греция боялся. Африка тоже боялся.

– Он все вместе с Ленин строил, – сказал завуч. – Когда он был живой, Америка нас слушался. Потому что у Америка хлеб нет. У другие страны тоже хлеб нет... – завуч грустно замолчал, удрученный обширностью своих познаний.

Все посмотрели на Мураза-аку, и он сказал, отирая слезы со своих старых, вечно слезящихся глаз:

– Какой вопрос может? Ты мне скажи: родной отец можно не любить?

Зенкович отчаянно замотал головой, потому что он очень любил родного отца.

– То-то, – сказал Мураз-ака. – Даже такой вопрос нельзя делать.

Тема была исчерпана, и разговор перешел на другие отрасли человеческого знания. Говорили об огромной учености Зенковича, который проходил обучение в Москве. Искушаемый ложной скромностью Зенкович признался, что он никогда не читал Коран.

– Такой человек, – вступился за гостя Мураз-ака, – такой человек все прочитает... – И, обращаясь к Зенковичу, предупредил: – Больше всех люди будешь знать, когда прочитаешь... Другой такой нет книга.

В самый разгар беседы Зенковичу пришлось выйти на двор. Молодой шофер проводил его в низенькое, трогательное заведение с небольшой дыркой в земле, скромной занавеской и горсткой сухой земли в углу (вероятно, земля была для просушки зада – нечто вроде старинной канцелярской песочницы). Молодой шофер тоже воспользовался заведением, за ним потянулись и другие гости. Зенкович спросил, где умывальник, но шофер потянул его за стол.

– Не беспокойся. Сейчас сюда руки мыть принесут, – сказал шофер, и Зенкович подумал, что он ведет поистине ханскую жизнь. Или падишахскую жизнь.

Запахло пловом. В комнату принесли кувшин, полотенце и тазик. Гостям полили на руки над тазиком. Ревниво следя за черными руками молодого шофера, Зенкович со спокойным академизмом размышлял о том, что процедура эта, скорей, ритуальная, чем гигиеническая, но настроение у него упало поздней, когда гости потянулись к плову руками.

Прокопав со своей стороны небольшую дыру в плове, Зенкович быстро насытился этой ароматной, жирной едой и блаженно откинулся на подушку. Гости сосредоточенно уничтожали гору плова, оставляя в неприкосновенности норку Зенковича, вырытую в рисовом островке. Подойдя к концу, они в один голос стали уговаривать Зенковича, что так мало есть нельзя, что он этим обижает хозяев и если он сам не хочет, то его, как уважаемого гостя, надо покормить.

Пылкий молодой шофер, набрав плов в огромную черную ладонь, стал запихивать еду в рот Зенковичу... По позднему признанию Зенковича, этот случай помог ему понять абсолютно относительный характер всякой брезгливости и всякой гигиены.

Учитель физкультуры принес еще одну бутылку водки. Бывший судья, Мураз-ака, физкультурник и молодой шофер отважно выпили. Склонившись к Зенковичу, молодой шофер стал шептать, что в годы армейской службы он проделывал штуки и почище. Например, у него была одна девушка... Потом он чуть не попал в тюрьму... Зенкович смотрел в красные глаза захмелевшего шофера и думал о том, что, как только родные горы перестают оберегать своих сыновей от соблазнов долины...

Впрочем, два пожилых пьяницы вместе с молодым физкультурником и молодым



шофером так и не смогли одолеть второй бутылки. Зенкович с удовлетворением отметил, что процесс пока еще довольно медленно карабкается в бахорские горы.

Пора было двигаться дальше. Хозяева проводили их до околицы и долго махали им рукой. Вдохновенный выпивкой, старенький Мураз-ака бодро пошел в гору. За ним, с подозрительностью щупая свой левый бок, тащился отяжелевший от плова Зенкович.



Добравшись до перевала, они сели отдохнуть. Ишачок стоял у дороги, опустив голову, и покорно жевал. Ему на голову был до самых ушей надвинут мешок с кормом. Внизу, сколько хватало глаз, расстилась горная долина. Дымы курились над ней, переливаясь оттенками белого, серого, серебряного, палевого... Лучи солнца пробились, точно стальные копыя, сквозь облака, выхватили изумрудные клочки поля. А еще выше, выше облаков, выше гор, небо было синее, безбрежное, бесконечно ласковое...



Зенковичу вдруг стало очень жаль уходящего дня, уходящей жизни и себя, уходящего отсюда. Он был, как этот бедный ишак – его кормили, нежили, на нем иногда ездили, и все это, чтобы потом убить его, чуть раньше, чуть позже... Он хотел взвять, по-ишачьи, по-волчьи, по-человечьи, хотел упасть на колени, просить о помиловании, об отсрочке...

– Немножко отдохали, идти надо, – сказал неутомимый Мураз-ака.

И Зенкович устыдился своего порыва, своей постыдной трусости. Он еще не поблагодарил небо за дарованный ему чудесный день жизни, а уже скулит по-собачьи. Он был не достоин милостей неба, дарованных ему.

– Прости мне, Господи Боже, Иисусе Христе... – сказал Зенкович. – Аллоу акбар...



Пир разгорался неторопливо и степенно, как все шло от века на этой вздыбленной к небу земле. Подходили все новые гости. Поговорив о чем-то с хозяином, они с достоинством садились на курпачу. В саду кипели котлы с бараниной. На айване, занавешенном коврами, прятались от нескромных взглядов женщины и девушки, и внизу,



в уголке двора, под мерный стук барабана кружились в танце совсем маленькие девчушки. Зенкович засмотрелся на их танец. Как только они заметили, что он смотрит, танец немедленно прекратился: они твердо знали, что мужчине нельзя смотреть в их сторону. Отвернувшись от девочек Зенкович увидел в просвете между коврами взрослых женщин. Туда ему тоже нельзя было смотреть, но почему-то хотелось смотреть именно туда: женщины были одеты с изысканной красотой и богатством, ладони у них были красны от какой-то краски, брови насурмлены...

Мураз-ака позвал Зенковича есть шурпу, но

Зенкович больше не испытывал интереса к еде. Он с любопытством разглядывал странного вида женщину, пренебрегавшую женским законом. Она была, как и все здесь, одета в национальный бахорский костюм, более того, одежда ее была еще более национальной, чем у всех. И хотя одежда эта была не менее роскошной, чем у других женщин, все же заметно было, что она уже ношенная. Женщина эта была накращена



более щедро, чем другие, и если бы Зенкович мог с уверенностью сказать, что в кишлаке есть шлюхи, он считал бы загадку решенной. Мало того, что женщина не сидела в женском закутке на айване, она еще и сговаривалась о чем-то с двумя мужчинами полугородского-полукишлачного типа. Лишь когда один из этих мужчин принес с улицы большой студийный микрофон и стал устанавливать его перед дастарханом, Зенкович вспомнил, что на пир были приглашены артисты. Эта женщина и была артистка, как же он сразу не догадался?

Видя интерес Зенковича к артистам, один из гостей, симпатичный молодой мужчина в ослепительно белой рубашке, сказал ему:

– Из филармонии. Тыщу рублей хозяин дома платил.

– Тыщу рублей! – воскликнул Зенкович в изумлении. – Но зачем? Здесь все и так прекрасно танцуют!

– Чтoб было богато, – сказал симпатичный молодой гость. – У соседа был пир – борцы выступали. Победителю – ковер давали, баран давали, мотоцикл давали.

– Во сколько же им сегодняшний пир обойдется? – в страхе спросил Зенкович.

– Два тысяча рублей обойдется. Обрезать мальчика – дорогое дело. Женить мальчика – тоже дорогое дело. Я прошлый год женился – отец девять тысяч давал.

– Хорошая жена? – спросил Зенкович.

– Жена неплохой, – сказал симпатичный гость. – Я его сперва не видел. Хотел поехать его посмотреть, отец говорит: “Пускай, сынок, мама едет. Неужели ты не уважаешь своему матери, не доверяешь ему...”

– Хорошо живете с женой?

– Сначала плохо жили. Я город работал. Он сердился, его отец увозил. Я его привозил. Мой мать обиделся, с ним не разговаривал. Теперь ребенка родил, лучше стал... А ты свой жена хорошо живешь? – спросил симпатичный гость.

– Я с ним совсем не живу, – сказал Зенкович, с готовностью отбросив изыски грамматики. – Расходился.

У Зенковича появилось приятное ощущение, что он говорит не по-русски, а значит, почти по-бахорски.

Артистка отчаянно закричала в микрофон что-то очень печальное. А может, наоборот, очень веселое. Во всяком случае, что-то очень громкое.

– Если есть больше не хочешь, можем немножко погулять, – сказал Зенкович симпатичному гостю, которого звали Ибрагим.

Они покинули пиршество, прошли через толпу глазеющих зевак и оказались на тихой улочке кишлака. Кишлак Фанг размещался под огромной красной скалой, на берегу реки. Дома и дувалы кишлака были вылеплены из красной глины, по его красным улицам текли красные арыки, близ которых темнела изумрудная зелень.

– Вот ты когда в Орджоникирве работал, у тебя не было девушки? – спросил Зенкович.

– Не был, – сказал Ибрагим и честно взглянул на Зенковича. – Мне отец сказал – не надо, сынок. Девушка испортишь. Здоровье свой испортишь. Он сказал: “Вино тоже не пей”.

– И не пил?

Ибрагим с отвращением помотал головой.

– Жена родит тебе десять детей, – с завистью сказал Зенкович. – Папа твой был прав.

– Мой папа очень хороший. Братишки очень хороший. Восемь братишки. Папа сейчас больной. Завтра буду больница возить. Хочешь, к нам в гости будем ходить?

– Пошли.

Они взобрались вверх по крутой улочке и через гранатовый сад вошли на галерею



второго этажа двухэтажного мазаного дома. Внутренний двор был виден с галереи. Посреди двора под виноградными лозами стоял большой помост, как в чайхане. На помосте лежал худой старик в чалме. На том же помосте два других старика стояли перед ним на коленях и часто кланялись.

– Мулла пришел, – объяснил Ибрагим. – Завтра отец больница едет, я просил мулла приходиться. Сорок раз молитва читать будет.

– Не надо им мешать.

– Идем сюда. Это для гостей комната. Стены я сам рисовал...

– А вышивал кто?

– Жена вышивал...

– Вот видишь, какая хорошая жена, – сказал Зенкович и вдруг сладко зевнул.

– Можешь тут спать, – предложил Ибрагим. – Я тебе чай принесу.

– Не надо чай, – сказал Зенкович. Он лег на одно стеганое одеяло, накрылся вторым и сказал сонно: – Скажи Муразу-ака, что я уснул, будь другом.

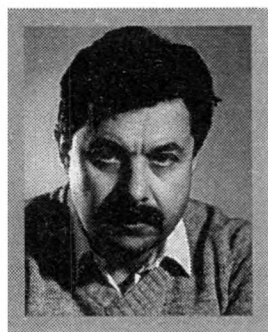
– Я буду твой друг, – сказал Ибрагим. – Я тебе в Москва посылка делать буду. Урюк, гранат. У вас в Москве есть кремплин?

– У нас, как в Греции... – сказал Зенкович. – У нас все есть. Впрочем, я не знаю, что это... Он уснул.

Ему снилась родная Москва, прекрасный город у моря, в котором не было ни одной панельной коробочки – одни только Парфеноны, пропилеи, Пергамоны, оливковые и березовые рощи на солнечном берегу.

В публикации использованы рисунки Херлуфа Бидструпа.

НОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС



### Из интервью Александра Червинского в редакции нашего журнала:

– ... Саша, поскольку вы в США уже два года – что нового у вас получилось в жизни? Не в смысле там рухнул потолок, родился ребенок, собака заговорила человеческим голосом, а для вас – какие открытия?

– Вы знаете, самое интересное, что все это произошло. Рухнул потолок, и родился ребенок, и собака заговорила человеческим языком. Все это случилось. Собака стала понимать каждое слово по-русски, потому что мы там с ней очень тесно общаемся. Я понял, что она понимает русский язык дословно, потому что, когда при ней говорят по-английски, она просто сходит с ума, орет, как будто она понимает. Ребенок родился в том смысле, что он стал таким, каким здесь бы,

конечно, не стал, свободно говорит по-английски, с некоторым напряжением, но читает на иврите. Это как бы восстанавливает исторические и прочие связи, и это замечательно. Дальше видно будет – уже не мама и не папа, он сам будет все решать, но у него будет какая-то отправная точка. Он живет не в тумане, он учится не догадываться, а узнавать, как устроен мир. И в этом смысле – главное ощущение последних двух с половиной лет: с прискорбием убеждаешься в своих очень приблизительных знаниях об этом мире. Для нас нашим миром был потрясающий мир русской литературы, великолепный, изумительный, красивый мир, в котором мы были счастливы. Но это совсем еще не весь мир, понимаете?! Есть еще столько миров, столько ценностей и столько знаний... Чтобы выбирать, надо знать...

Новый сценарий Александра Червинского "Королевство у моря" по мотивам романа В.Набокова "Смотри на арлекинов" читайте в следующем номере.

НОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС

## Власть как лицедейство

Герой нашумевшего фильма, поставленного кинодебютантом Николасом Хайт-нером по сценарию опытного драматурга Алана Беннетта предстает перед нами прежде всего как человек семейный, даже многосемейный – жена Шарлотта родила ему пятнадцать детей, как примерный супруг, как рачительный хозяин своих владений, старающийся лично вникать во все дела. Владения обширны, король Георг III (1738–1820) правит великой колониальной державой в твердой уверенности, что она есть его личное достояние по праву рождения.

Король очень гордится тем, что Англия зовет его “фермер Джордж”. И утрату североамериканских колоний переживает как потерю собственных поместий.

В конце фильма мы снова увидим короля в окружении семьи на ступенях собора св. Павла и услышим его слова: “Нам надо выглядеть посемейней. Нынче есть образцовые фермы, образцовые деревни, даже образцовые мануфактуры. А мы должны быть образцовой семьей и служить примером для нации”. Принц Уэльский, пытавшийся сместить отца с трона, почтительно наклоняет голову.

В промежутке между этими почти идиллическими сценами разворачиваются события, которые позволяют Алану Беннетту выстроить свою концепцию природы власти в ее воздействии на человека, этой властью облеченного. Ради этого Беннетт, историк по образованию, бестрепетно жертвует исторической правдой.

В пьесе “Безумие Георга III”, которая с большим успехом шла в Национальном теа-



*Король Георг – Найджел Хоторн  
Королева Шарлотта – Хелен Миррен*

тре, а затем легла в основу сценария фильма “Безумие короля Георга”, Беннетт рисует власть как спектакль, как драму с “неотвратимым порядком действий”, трагически подчиняющим себе актера на главной роли.

“Монархия и безумие имеют общую границу”, – пишет Беннетт в предисловии к сценарию, вкладывая в эту сентенцию как метафизический, так и сугубо конкретный смысл.

Дело в том, что Георг III, взойдя на престол 1760 году, в 1811-м заболел психическим расстройством и вынужден был уступить власть сыну, тоже Георгу, назначенному принцем-регентом. Был ли король действительно безумен, неизвестно: в наши дни, когда модно ставить ретроспективные диагнозы, высказываются предположения о том, что на самом деле он страдал порфирией – наследственным расстройством обмена веществ, вызывающим помрачение ума, даже при нынешних методах диагностики трудно отличимое от помешательства. Приступы порфирии могут повторяться, и, судя по всему, король Георг перенес такой приступ уже в 1788 году, и тогда принц Уэльский сделал первую попытку сколотить парламентское большинство и прорваться к власти, однако – во всяком случае по сценарию Беннетта – выздоровление короля сорвало эти планы.

Кстати, название порфирии эта болезнь получила только в 1930 году и отнюдь не потому, что поражает порфиринозных особ. Причина прозаичней: в острой фазе моча больного приобретает синева-пурпурный оттенок. И только.

Но чем бы ни болел король Георг, исторический факт его умопомрачения послужил для Алана Беннетта чем-то наподобие линзы, в которой он сфокусировал свои размышления о власти.

Власть есть инструмент подчинения, но прежде всего и сильнее всего она подчиняет себе того, кто ее олицетворяет.

“Монархия есть спектакль, и болезнь короля отчасти состоит в его возрастающей неспособности играть свою роль”, – пишет он.

Спектакль разыгрывается на подмостках и за кулисами Виндзорского замка – церемонный этикет и скученность коммуналки; в Вестминстере – парламентское красноречие и смертельная схватка под ковром премьера Питта и лидера оппозиции Фокса; в апартаментах принца Уэльского и его тайной жены, католички Марии Фицгерберт; в консилиумах раболепствующих медиков. Сталкиваются личные и политические интересы и амбиции, выразительно и ярко сталкиваются характеры, но всякий раз нормальные человеческие чувства приносятся в жертву атрибутам власти.

Принц Уэльский, застоявшийся в ожидании своего часа, всеми средствами добивается от парламента назначения регентом; королю известие о планах сына помогает поправиться – он понимает, что закон о регентстве сына может стать его смертным приговором. Проиграв, сын, по требованию отца, отрекается от своей возлюбленной. Выиграв, король выставляет вон всех, кто был близок к нему во время болезни, включая и выжившего его доктора Уиллиса: “Они видели короля в нижнем белье”.

Власть есть лицедейство, настойчиво убеждает нас Беннетт, а потому она не оставляет места для классического выбора – быть или казаться. Разумеется, казаться: неукоснительное исполнение роли и составляет долг человека, наделенного властью; форма диктует содержание, форма священна, все прочее должно быть подчинено ей.

Конечно, здесь герой, монарх, помазанник Божий, о чем король Георг не забывает даже в помрачении ума; ему так трудно примириться с необходимостью считаться с парламентом, потому что он воспринимает ограничение своей власти чуть ли не как нарушение миропорядка. Когда Питт пытается убедить короля, что сопротивление парламента его воле не следует принимать за личный афронт, тот просто не может понять его.

КОРОЛЬ: Не воспринимать как нечто личное? Но я король. Это мое правительство. Как же мне еще воспринимать это?

Едва ли только венценосцы испытывают подобные чувства, скорее можно предположить, что они знакомы и главам государств, избранным наидемократичнейшим образом, уже не говоря о других, которые обучаются демократии по ходу дела. И лицей-

ство власти не исчезает со сменой формы правления – меняется только исполняемая роль.

Хорошо известно, что короля играет его окружение, включая и ту его часть, которая противится королевскому самовластию. Алан Беннетт – мастер своего дела, он скрупулезно и точными штрихами рисует и продвижение парламентской оппозиции от “простой кровожадности к законности”. Или к превращению в атрибут власти иного типа.

Алан Беннетт отнюдь не новичок в драматургии – он автор семи пьес, ряда сценариев телефильмов и фильмов. Новичок в кинематографе Николас Хайтнер: “Безумие короля Георга” его дебют, и судя по четырем номинациям на премию Академии, их совместная работа принесла удачу обоим.

Кстати, Алан Беннетт рассказывает прелестную историю о том, почему фильм называется иначе, чем пьеса:

“Название было изменено по соображениям проката: американские инвесторы с некоторым смущением объяснили, что увидев название “Безумие Георга III” зрители могут подумать, будто прозевали “Безумие Георга I” и “Безумие Георга II” – недавний социологический опрос показал, что после просмотра фильма Кеннета Бранага “Генрих V” зрители досадовали, что не видели четырех предшествующих картин. Я, правда, не знаю, как в Америке выходили из положения с “Третьим человеком” – или со “Второй миссис Танкерей”.

**М.Салганик**



*королева Шарлотта –  
Хелен Миррен*

*Король Георг – Найгел Хоторн*

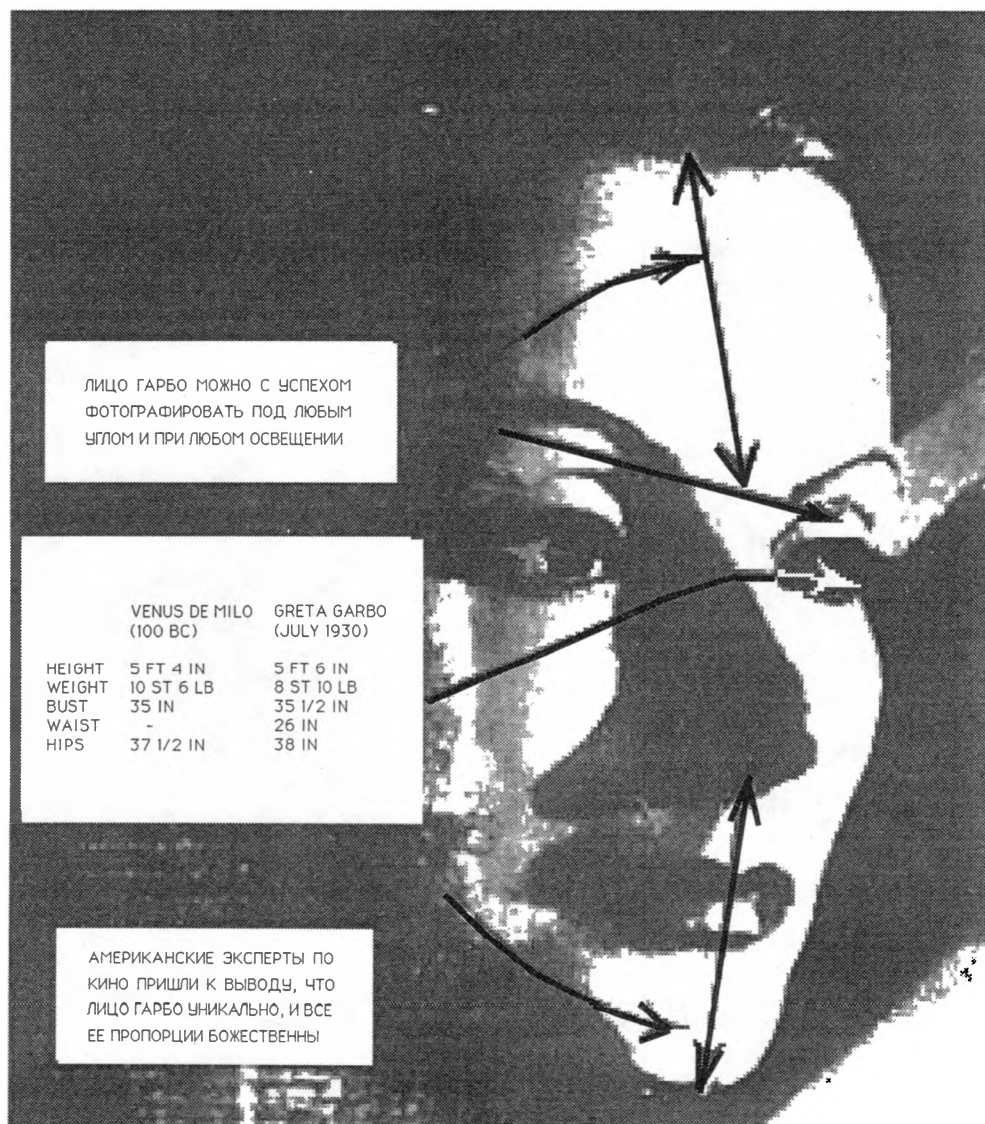
*леди Пемброк – Аманда Донохью*

**Читайте в следующем номере  
сценарий Алана Беннетта “Безумие короля Георга”.**



# ГРЕТА

## Две истории



ЛИЦО ГАРБО МОЖНО С УСПЕХОМ  
ФОТОГРАФИРОВАТЬ ПОД ЛЮБЫМ  
УГЛОМ И ПРИ ЛЮБОМ ОСВЕЩЕНИИ

	VENUS DE MILO (100 BC)	GRETA GARBO (JULY 1930)
HEIGHT	5 FT 4 IN	5 FT 6 IN
WEIGHT	10 ST 6 LB	8 ST 10 LB
BUST	35 IN	35 1/2 IN
WAIST	-	26 IN
HIPS	37 1/2 IN	38 IN

АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ПО  
КИНО ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО  
ЛИЦО ГАРБО УНИКАЛЬНО, И ВСЕ  
ЕЕ ПРОПОРЦИИ БОЖЕСТВЕННЫ

---

# ГАРБО

## одной звезды

### ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ, ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ

#### Истоки легенды

В 1995 году любители кино празднуют двойной юбилей – 100-летие кино и 90 лет со дня рождения его великой трагической музы – Греты Гарбо.

Авторитетный английский критик Александр Уолкер писал в 1980 году: "В Голливуде были, есть и будут только две великих "звезды" – Грета Гарбо и Чарли Чаплин. А другие, на первый взгляд не менее знаменитые и талантливые, были лишь подданными в свите этих некоронованных королей экрана".

Великой "звездой" Гарбо сделало счастливое сочетание многих качеств. Во-первых, она была необыкновенно красива. Огромные синие глаза необычного глубокого тона, благородной формы нос, нежный рот с изогнутой, словно лук Купидона, верхней губой, высокий чистый лоб. Совершенный овал лица с прелестной ямочкой на подбородке. Густые, вьющиеся от природы волосы.

Когда Гарбо приехала в Голливуд и были сделаны первые фотопробы, их результаты потрясли даже выдавших виды киношников. Пропорции ее лица – высота лба равнялась расстоянию между глазами, а также между подбородком и кончиком носа – соответствовали пропорциям лиц античных статуй, а пропорции тела – образцу античной красоты Венеры Милосской. Правда, другие ее поклонники утверждали, что своими широкими плечами, узкими бедрами и длинными ногами Гарбо, скорее, похожа на античного мальчика. Впрочем, одинаково хорошо она смотрелась и в роскошном бальном платье с открытыми плечами, и в мужском костюме, а некоторая сутулость придавала особое очарование ее облику.

Ко всему этому Гарбо была превосходной драматической актрисой. Холодноватая, немногословная женщина полностью преобразилась, как только входила в роль, играла по наитию, пренебрегая возможностями техники. Вот что вспоминал Р. Мамулян, постановщик "Королевы Христины": "Гарбо была интуитивной актрисой. С ее интуицией она легко демонстрировала самые разные эмоциональные состояния. Не требовалось говорить ей: "Посмотрите сюда, взгляните туда". Нужно было только сказать, какую эмоцию она должна показать в этой сцене. "Я поняла", – отвечала Гарбо, внимательно выслушав. И она, действительно, все понимала, потому что ее лицо сразу обретало нужное выражение. С ним согласовывалось и движение тела. Гарбо обладала двумя воистину неопределимыми для кино качествами – фотогеничностью и интуицией. В этом она была абсолютно уникальна".

Гарбо завораживала зрителей накалом страстей и эмоций, казалось, идущих от самого сердца. Не случайно критики той поры сравнивали ее с Дузе, служившей эталоном актерского совершенства.





"Сфинкс XX века" – так называли Гарбо в Голливуде

Далеко не всем талантливым и красивым актрисам удастся пробиться в кино. Для этого необходим особый пропуск – фотогеничность. У Гарбо он был. Знаменитый голливудский режиссер Билли Уайлдер писал: "Чудо Гарбо – это чудо целлулоида. На пленке ее лицо полностью преобразалось, становясь ликом звезды, на котором зритель пытается прочесть все тайны женской души. Эмульсионный слой пленки невероятным образом сообщает плоскому изображению глубину и таинственность. Случай Гарбо – это случай рождения звезды на пленке".

Существовало еще одно качество, которое превращало Гарбо в королеву всех актрис – ее загадочность, непохожесть на остальных женщин. Сфинкс – вот образ, который чаще всего всплывал в статьях о ней. Действительно, Гарбо всегда окружала атмосфера тайны. Известно, что лишь самые доверенные лица находились на съемочной площадке, когда там работала Гарбо, и даже не каждый режиссер-постановщик мог присутствовать при съемках интимных сцен. Первым восстал против этого Рубен

Мамулян. Когда начала сниматься знаменитая любовная сцена между Королевой Христиной и испанским послом, Гарбо попросила Мамуляна выйти из декорации. "Вы могли бы пойти в кафетерий и съесть там пару бутербродов", – обратилась она к нему. "Я должен присутствовать на съемочной площадке постоянно. В конце концов это мой фильм!" – вспыхнул Мамулян. Гарбо на минуту задумалась. "Хорошо! Вы правы", – ответила она.

Поклонники шли на любые хитрости, только чтобы увидеть вблизи прекрасную Грету. Живая Гарбо не любила посторонних взглядов, но позволяла миллионам зрителей любоваться на свое изображение. В 1933 году она санкционировала массовое производство своего миниатюрного бюста и получила от этого немалый доход. Ее поведение, тем не менее, не соответствовало традиционным представлениям о голливудских звездах. Она избегала традиционных вечеринок, не подпускала к себе репортеров, тщательно скрывала все свои романы, ушла из кино в расцвете красоты и таланта.

## Предыстория звезды

Эта загадочная женщина, расположения которой добивались самые богатые и влиятельные люди, родилась 15 сентября 1905 года в бедной шведской семье. Ее предки были крестьянами, а родители, став горожанами в первом поколении, в основном перебивались случайными заработками.

Формальное образование Греты закончилось в 1919 году, когда ее отец серьезно заболел. Болезнь была тяжелой и продолжительной. Семья оказалась без гроша. Мать, старшая сестра и брат начали ходить на заработки. Грета осталась дома ухаживать за отцом. Вспоминая о своем детстве, Гарбо рассказывала, что одна клиника из благодарности раз в неделю делала отцу процедуры, облегчая его страдания. Сидя у постели умирающего отца, она поклялась построить жизнь таким образом, чтобы финансово ни от кого не зависеть.

После смерти отца Грета уже не вернулась в школу. Поскольку с ее ростом (168 см) она выглядела как взрослая девушка, на семейном совете было решено, что она должна пойти работать в парикмахерскую. Потом ее приняли в шляпный отдел крупнейшего универмага Стокгольма. Когда поступила новая партия модных шляп, Грете предложили их прорекламировать. Снимки получились такими удачными, что вскоре она начала сниматься в рекламном фильме.

На съемках Грета познакомилась с богатым промышленником Максом Гумпелем, который пришел понаблюдать за племянником, снимавшимся вместе с ней. Гумпель стал первым мужчиной в ее жизни. Подаренное им золотое кольцо с бриллиантами она носила и в Голливуде. Однако о женитьбе речи не шло, потому что девушка с рабочей окраины была не парой богатому шведскому аристократу. Так в очередной раз Грета Густафсон почувствовала, что такое бедность, и еще больше убедилась в желании выделиться в люди. И помог ей в этом талантливый режиссер Мориц Стиллер. Когда они познакомились, Грете исполнилось 17 лет, Стиллеру – 40, и он считался одним из самых талантливых режиссеров Европы.

Молва утверждала, что Стиллер предпочитал женщинам молодых мужчин. Сам режиссер неоднократно заявлял, что мечтает встретить "сверхчувствительную, спиритуальную, мистическую особу". И она предстала перед ним в облике серьезной молчаливой Греты. Тогда-то Стиллер и решил, чтоординарная фамилия Густафсон не подходит к его открытию, и на вооружение был взят псевдоним "Гарбо". Вскоре они стали неразлучны. Поскольку Стиллер пострянно поучал свою воспитанницу, о ней сформировалось мнение как о безвольном, скучном, неинтересном существе. И даже ее удачное выступление в фильме Стиллера "Сага о Иесте Берлинге" (1924) не могло поколебать сложившегося представления. Вообще, на родине Гарбо судили слишком строго, может быть, даже предвзято. Но стоило Стиллеру показать "Сагу" в Германии, считав-

шейся центром европейского кинотворчества, и о них заговорили как о выдающихся деятелях кинокультуры. А Гарбо снискала громкий титул "нордической принцессы" и вскоре получила лестное предложение сняться в фильме немецкого режиссера Пабста "Безрадостный переулоч". Как раз в это время в Берлин приехал представитель голливудской студии МГМ, выискивающий таланты по всей Европе. Он заключил контракт со Стиллером, но, верный себе, тот отказался ехать в Голливуд без своей воспитанницы. И в Америке Стиллер больше заботился о ее судьбе, чем о своей собственной. Его усилия увенчались успехом. Грета получила, наконец, свою первую роль, а Стиллеру пришлось смириться с тем, что постановку будет осуществлять другой режиссер. Через два года он предпочел вернуться в Европу. Трагизм его положения обострился тем, что в солнечной Калифорнии туберкулезный процесс распространился на оба его легких. 9 ноября 1928 года Гарбо получила известие о смерти Стиллера.





"The Mysterious Lady" / "Загадочная леди" (1928)

## Голливуд

Первый фильм Гарбо в Голливуде "Поток" (1926) основывался на новелле чрезвычайно популярного в те годы писателя Бласко Ибаньеса и представлял собой знойную мелодраму из испанской жизни.

Рафаэль, сын богатых землевладельцев, влюбляется в крестьянку Леонору. Однако его родители восстают против этой связи и вынуждают девушку уехать из деревни. После многих блужданий Леонора оказывается в Париже и становится там... знаменитой певицей. Самые богатые люди добиваются ее расположения, но она любит только Рафаэля. И вот наступает день, когда Леонора решает навестить любимого. Но в результате мощного наводнения река превращается в бурный поток и не дает певице добраться до дома. Силы природы разделяют влюбленных, теперь уже навсегда.

В этом первом голливудском фильме со всей ясностью проявились черты, характерные для будущего имиджа актрисы. Роль получилась убедительной. Никто из критиков не заметил явной несурзадности – скандинавскую актрису заставили играть роль страстной испанки.

"Соблазнительница" (1926), следующий фильм Гарбо, также был снят по повести Бласко Ибаньеса. Он окончательно закрепил за ней амплуа "роковой женщины". Фильм "Плоть и дьявол", имевший грандиозный успех благодаря участию в нем Джона Гилберта, наглядно продемонстрировал, что в лице Гарбо Голливуд обрел самую знаменитую "роковую женщину".

Вдохновленное успехом руководство МГМ в четвертый раз предложило Гарбо выступить в роли соблазнительницы в фильме с весьма красноречивым названием "Женщина, которая любит брильянты". Однако шведка взбунтовалась, заявив, что больше не будет играть плохих женщин и отказалась явиться на съемки. Этот отказ имел не только творческую, но и финансовую подоплеку. Гарбо видела тот энтузиазм, который сопровождал демонстрацию фильма "Плоть и дьявол". Ее партнер Джон Гилберт получал в неделю 10 тысяч долларов, она же – 600 долларов. Майер бесновался, грозил санкциями. Прокатные фирмы охватила паника, поскольку в их распоряжении больше не было фильмов с участием Гарбо. И только одна шведка хранила гордое молчание.

Трудно сказать, чем бы закончилось это противостояние, если бы Гилберт не предоставил ей в распоряжение своего агента Харри Эдингтона. При его непосредственном участии 1 июня 1927 года она подписала новый контракт, согласно которому ей полагалось 5 тысяч долларов в неделю или 260 тысяч долларов в год.

Как большинство мужчин, Эдингтон восхищался божественной красотой Гарбо, однако банальность ее высказываний, невежественность суждений об искусстве разочаровали его. Эдингтон пришел к выводу, что Гарбо не следует контактировать с прессой и давать интервью. Он добился того, чтобы ее перестали фотографировать для рекламных фотографий МГМ. И этим чрезвычайно повысил ее статус.

В ту пору мало кто догадывался об истинной роли Эдингтона в судьбе Гарбо, а победу, одержанную в борьбе с МГМ, относили за счет необыкновенной мудрости актрисы. Так начал формироваться миф о таинственной, загадочной Гарбо, шведском сфинксе, мудром и молчаливом. Эдингтону нравилось управлять женщиной, которую обожали миллионы зрителей. Он тщательно следил за тем, чтобы его клиентку звали Гарбо как Дузе или Бернар, имя Грета, так нравившееся Стиллеру, было изгнано из обихода. На студии актрису постоянно сопровождали две черные служанки, преданные и молчаливые. Миф о Гарбо как истинной королеве Голливуда все шире входил в практику кино.

Созданный Эдингтоном стиль поведения идеально соответствовал личности Гарбо. Замкнутая и неразговорчивая от природы, она предпочитала одиночество. Вплоть до глубокой старости одинокие прогулки являлись для нее лучшим времяпрепровождением. Как только начинался дождь, Гарбо быстро одевалась и отправлялась странствовать. Пелена дождя служила для нее лучшей защитой от посторонних взглядов. И во время съемок Гарбо пользовалась любой возможностью, чтобы прогуляться, побыть наедине с собой. Совсем недавно красные резиновые сапожки Гарбо, в которых она любила бродить под дождем, были проданы на аукционе за 10 тысяч марок.





"Camille" / "Дама с камелиями" (1937)

"Flesh and the Devil" / "Плоть и дьявол" (1927)  
Впервые на экране вместе Гарбо и Гилберт.

ты меня желаешь" (1932) – во всех этих картинах Гарбо продолжала исполнять роли роковых соблазнительниц. Однако она уже не была робкой молодой актрисой, безропотно покорявшейся воле боссов студии. Там, где речь касалась денег, она становилась непреклонной. В 1932 году при подписании нового контракта Гарбо настояла на 250 тысячах за каждый фильм, а также выговорила себе право самостоятельного выбора ролей и членов съемочного коллектива. Только она одна могла решить, кто будет ее партнером-любовником. Благодаря всем этим условиям Гарбо удалось существенно расширить свой репертуар.

Поворотным пунктом в ее карьере стала "Королева Христина" (1933). Она явственно показала, что феноменальная эротическая притягательность Гарбо, в сущности, не имеет признаков пола. В мужском костюме она была едва ли не более привлекательна, чем в женском платье.

В начале своей голливудской карьеры Гарбо снялась в фильме "Любовь" (1927), вольной экранизации романа Толстого "Анна Каренина". Название придумал хитроумный Эдингтон с единственной целью – дать возможность рекламным фирмам написать крупными буквами "Гарбо и Гилберт в "Любви". Реклама оказалась очень удачной и вошла в историю кино. Образ Анны так увлек актрису, что в 1935 году она решила сыграть его еще раз, значительно усилив трагедийное начало.

Вершиной этого периода было суждено стать фильму "Дама с камелиями" (1937), подтвердившему талант Гарбо как истинно трагической актрисы кино. Снимаясь в роли умирающей от туберкулеза куртизанки, она сама в этот период много и часто болела. Этот личный фактор сообщила особую достоверность образу Камелии. Когда критики сравнивали Гарбо со знаменитой Дузе, в этом не было и доли преувеличения. А дочь Александра Дюма, видевшая на сцене и Дузе и Бернар, даже поставила ее выше этих знаменитых исполнительниц.

Сама Гарбо воспринимала успех "Камелии" с



легким недоумением и больше всего хотела изменить свое амплуа. В 1938 году она снялась в комедии "Ниночка" (1939). Роль получилась очень удачной, однако поклонники актрисы желали видеть ее только в ролях трагических героинь, и "Ниночка" не снискала того признания, которое заслужила. Эта роль, несмотря на относительную неудачу, оставалась до конца жизни актрисы ее любимой ролью.

В фильме "Двуликая женщина" (1941) Гарбо предприняла еще более энергичную попытку освободиться от амплуа трагической героини. Она темпераментно исполняла современные танцы, плавала в бассейне, бегала на лыжах и демонстрировала фигуру. Она хотела стать частью современной Америки! Но люди ходят в кино отнюдь не для того, чтобы смотреть на себе подобных, — они жаждут приобщиться к миру высоких страстей. Имя Гарбо значило для них любовь, страсть, страдание, и они не желали менять своих представлений.

Дважды потерпев неудачу, Гарбо навсегда покинула кино. Впрочем, у этого шага существовали глубинные причины: Вторая мировая война нанесла серьезный удар по ее доходам, ведь 40 % из них приходили из Европы. Там особенно ценились европейские сюжеты, лежавшие в основе многих ее фильмов. Попытка переориентировать ее на образ современной американки вызвала лишь критику и отторжение зрителей. И тогда Гарбо решила уйти.

В деньгах она не нуждалась, поскольку уже в начале 40-х годов была мультимиллионершей. Сказывалось ее крестьянское умение экономить каждый доллар и вкладывать его в дело. Лишь в 70-е годы стало известно, что большая часть торгового центра на Родео Драйв в Беверли Хилз, самой уважаемой части Лос-Анджелеса, где живут нефтяные магнаты, принадлежит именно Гарбо. Кроме того, она владела домами в Нью-Йорке и родной Швеции. По совету своих умных друзей, среди которых бесспорно выделялись Ротшильды и Онассис, Гарбо покупала картины. В начале 50-х годов на стенах ее квартиры видели трех Ренуаров, Боннара, Модильяни, Ван Донгена, Руо. Со временем эта коллекция продолжала расширяться, но Гарбо не любила выставлять ее на обозрение.

## Жизнь вне кино

Итак, в 1942 году Гарбо навсегда покинула Голливуд. Знаменитая, богатая, независимая женщина решила просто жить, не чиня насилия над своей личностью. Поскольку с детства Гарбо отличалась плохим здоровьем, страдала малокровием, туберкулезом, бессонницей и большую часть дня



"Susan Lenox: Her Fall and Rise" (1931) /  
"Сюзен Леннокс: ее падение и возвышение"  
С Кларком Гейблом

"A Woman of Affairs" / "Рискованная женщина" (1929)  
С Джоном Гилбертом

вынуждена была проводить в постели, свою свободную жизнь она начала с экспериментирования с различными диетами и весьма преуспела в этом. На этой почве возник ее роман с диетологом Гейлордом Хаузером. Впрочем, это было не единственное ее увлечение.

Когда Гарбо появилась в Голливуде, мужчины ходили за ней толпой. Самый страстный роман был у нее с Джоном Гилбертом. Когда они встретились, Гилберту было 29 лет, Гарбо – 22. Они везде были вместе, вместе обедали, ездили на пикники. Он называл ее Флика ("девушка" по-шведски), она его на шведский манер – Яки. Но свадьба, о которой так много говорили и писали, не состоялась, Гарбо убежала прямо из-под венца. Гилберт вскоре женился – уже в третий раз, но от травмы, нанесенной Гарбо, так и не избавился. Да и она, как оказалось, не забыла своего Яки. Интересное свидетельство оставил английский актер Лоренс Оливье, в 1932 году получивший предложение



исполнить роль испанского посла Дона Антонио, возлюбленного Королевы Христины: "Вскоре появилась Гарбо, одетая в некое подобие пижамы. Между пальцами болталась сигарета. Мы стали репетировать сцену, в которой Дон Антонио узнает, что юноша на самом деле – передетая женщина. Мамулян начал объяснять. Гарбо он сказал, что в ее глазах должна вспыхнуть страсть, которая потом заставит ее отречься от престола и покинуть родную Швецию. Я прикасаюсь к Гарбо – ее рука становится холодной, взгляд каменеет и складывается впечатление, что это женщина из мрамора. Мамулян просит Гарбо внести в игру больше огня. Мы начинаем все сначала, и опять на нее нападает оцепенение. "Грета, есть мужчина, способный разбудить тебя?" – кричит Мамулян. Выясняется, что это Джон Гилберт, с которым Грета часто играла раньше.

Привели Гилберта. Я снял костюм и передал ему. И когда Гарбо увидела Гилберта, в глазах загорелся странный чудный свет. Что-то такое произошло внутри нее. Гилберт пробудил в ней глубокую эмоциональность. Мы все были свидетелями удивительного явления – реакции Гарбо на человека, которого она когда-то любила. Мамулян пришел в восторг. Вме-

сто репетиций, он сразу начал снимать. Я знал, что в этот момент теряю роль. Но я понимал, что Джон Гилберт тот человек, который может завоевать эту королеву, и не стал возражать".

О сексуальной ориентации Гарбо ходили самые разнообразные кривотолки, порожденные ее отношениями с голливудской сценаристкой Мерседес де Акоста, известной своими лесбийскими наклонностями. В 1960 году Акоста опубликовала мемуары. В них были такие слова: "Как я могу описать эти шесть недель, проведенных в горах с Гретой? Только шесть недель, но они значат больше, чем вся жизнь". Гарбо страшно разочлилась на Акосту и больше никогда с ней не встречалась, хотя знала, что та умирает от рака и не имеет средств к существованию. Издатели предлагали Акосту опубликовать их переписку. Но благородная Акоста отвергла это предложение и сдала письма на хранение. Их содержание станет известно лишь в 2000 году. Впрочем, других женщин, интимно

общавшихся с Гарбо, не знает никто. Вероятно, их просто не существовало.

В 1937 году начался бурный роман Гарбо с дирижером Леопольдом Стоковским. Они вместе путешествовали по Европе, скрываясь от преследовавших их журналистов. На предложение Стоковского выйти замуж она ответила отказом. "Мне смешно думать, что я могу пойти с кем-то к алтарю", – заявила Гарбо журналистам. И тем не менее около 20 лет продолжалась хотя и неофициальная, но очень крепкая связь Гарбо с бизнесменом Джорджем Шли.

Многие удивлялись, не понимая что связывает красавицу актрису с невзрачным, одетым в плохо сшитые костюмы (хотя его официальной женой была знаменитая модельерша Валентина) мужчиной. Гарбо обожала Шли, он напоминал ей бога и наставника ее юности Морица Стиллера. Всю жизнь Гарбо пыталась прислониться к тем, кто мог подтолкнуть ее вперед, преодолев ее инертность, взять на себя ее заботы. Гарбо передала Шли право распоряжаться своими деньгами, делать вложения, покупать антиквариат. Когда в 1964 году Шли умер у нее на руках во время их путешествия по Италии, она так испугалась, что в панике улетела в Америку. Хоронить мужа пришлось Валентине.

Почти все свое огромное состояние Джордж Шли завещал Гарбо. Она получила акции бумажной промышленности, дома в Италии и Южной Франции. Деньги любят деньги. Капитал Гарбо продолжал увеличиваться даже помимо ее воли.

Официальная и неофициальная жены Шли продолжали жить в одном доме на Ист-Ривер в Манхэттене. Причем Валентина так страстно ненавидела Грету, что даже пригласила священника, чтобы он выкурил из дома дух соперницы.

Среди любовников Гарбо числится и Сесил Битон, знаменитый фотограф, который в 50-е годы создал серию фотографий, ставших зримым свидетельством того, что она продолжает оставаться самой красивой женщиной мира. Вся загадочность этой связи состояла в том, что Битон был гомосексуалистом и сторонился женщин. Когда в своей книге Битон имел неосторожность рассказать об отношениях с Гарбо, она прекратила с ним общаться, как когда-то с Акоста. Правда, перед смертью Битона они помирились.

Со временем нью-йоркская квартира Гарбо превратилась в антикварный магазин. Ее прекрасные картины стояли запакованными в ящики. Спальня была обставлена мебелью XVIII века, однако она спала на узкой современной кровати. Вообще, по свидетельству очевидцев, вкусы Гарбо отличались спартанской сдержанностью.

Одевалась она в некую униформу – мужской жакет или пальто, длинный шарф, низко надвинутая на глаза шляпа, черные очки, туфли на низком каблучке. "Пешие прогулки приводят меня в доброе расположение духа, помогают преодолеть депрессию, полезны для сердца", – признавалась актриса. Читала она мало, любила смотреть телевизор. В конце жизни пристрастилась к просмотру собственных фильмов. О себе говорила в третьем лице: "Она была хороша..."

В 1987 году Гарбо перестала выходить из квартиры. В 1988 году у нее случился инфаркт. С 1989 года трижды в неделю она подвергалась диализу. Гарбо скончалась 15 апреля 1990 года, оставив свое огромное состояние дочери брата.



На съемочной площадке с Д. Кьюкором

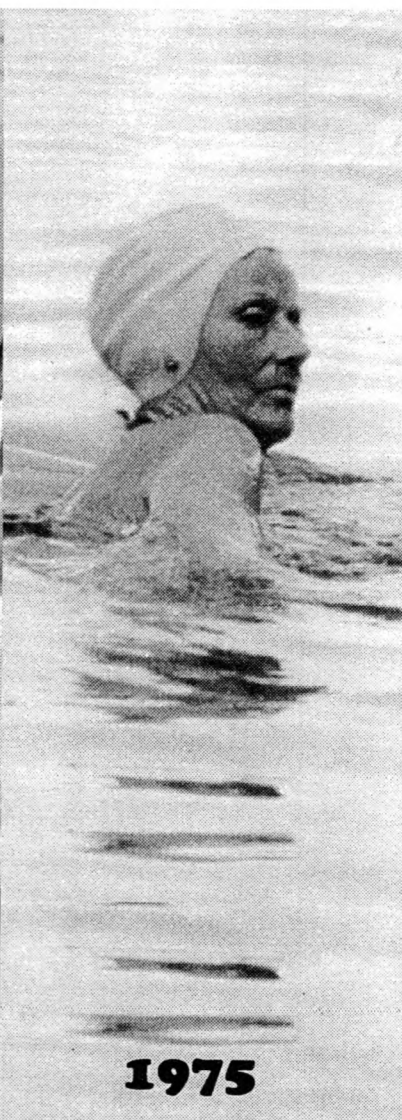




---

# GRETA

две и стори



---

# GARBO

## одной звезды

### ИСТОРИЯ ВТОРАЯ, ПЕССИМИСТИЧЕСКАЯ

#### Гарбо сорок лет спустя

Такие звезды, как Гарбо, даже если они исчезают с экрана, продолжают волновать воображение зрителей. И потому фотографы и журналисты преследовали стареющую актрису с неменьшим рвением, чем в годы ее триумфа. Но верная себе Гарбо никому не давала интервью, ловко избегая встреч с прессой. Тем более ценной представляется книга шведского журналиста Свена Бромана "Разговоры с Гарбо", увидевшая свет в 1991 году (Sven Broman. Conversations with Garbo. Penguin Books. 1991).

Он не только сумел разговаривать актрису, но и "вырвал" у нее несколько признаний, которые представляют голливудскую карьеру звезды в новом, неожиданном свете.

Когда Свен Броман встречался с Гарбо, ей уже исполнилось 80 лет. Однако ее внешность продолжала восхищать людей. "Классический профиль Гарбо до сих пор красив, особенно когда она забрасывает голову назад. Хотя кожа на лице увяла, его очертания хорошо сохранились. Я заметил, что у старых людей глаза как бы уменьшаются в размерах, только не у Гарбо. У нее они такие же большие и глубокие, как прежде. Правда, ее знаменитые ресницы стали несколько короче, но они по-прежнему длинные и отбрасывают тень на щеки. Гарбо использует только тушь и губную помаду красного цвета. Ее седые волосы, пожалуй, длинноваты, но она их принципиально не стрижет, потому что они создают заслон от посторонних взглядов.

Однажды я не удержался и воскликнул: "Разве можно представить себе более совершенное лицо!" "Не такое уж оно и совершенное, – смутилась Гарбо. – Много лет назад мне делали операцию как раз по линии волос. Там выросла большая шишка. Операцию провели так топорно, что приходилось просто начесывать на это место волосы, чтобы скрыть уродливый шрам".

"Когда мы встретились с Гарбо первый раз, я прежде всего отметил красоту ее голоса, глубокого, нежного и мелодичного. Она очень мило говорит по-шведски, совсем без акцента. Правда, многие современные словечки ей не знакомы. И когда мы пошли в магазин в Давосе, она попросила меня назвать некоторые предметы гардероба".

"У Гарбо красивые ухоженные руки. Из драгоценностей она носит только золотое кольцо, подарок ее ближайших друзей графа и графини Вахмайстер. Как-то Гарбо сказала, глядя на кольцо: "Мне всегда хотелось быть графиней". Я никогда не видел на ней других украшений".

"Гарбо постоянно курит похожие на сигары сигареты, которые можно купить только в Америке. Когда они кончаются, она переходит на тонкие короткие сигареты швейцарского производства.



"Mata Hari" / "Mata Hari" (1931)

Гарбо всегда носит брюки и свитер с высоким горлом. "Я привезла из Нью-Йорка 16 брюк. В моем чемодане Вы не найдете ни одного платья или юбки", – не без вызова заявила она. Мне показалось забавным, что Гарбо свойственны амбиции в отношении современной моды. "Я горжусь, что ввела в женскую моду рубашки-поло и заинтересовала ими женщин. Кэтрин Хепберн помогла мне в этом. Не скрою, что борьба женщин за право носить брюки доставила мне большое удовольствие. Они явились здоровой альтернативой традиционному женскому костюму".

Хотя в книге нет особых откровений и глубоких философских раздумий, воспоминания звезды о годах, проведенных в Голливуде, проливают новый свет на личность самой таинственной звезды Голливуда.

## Детство

"Я росла странным ребенком. Почти не спала, ночами бродила по дому. Вытянувшись буквально за год, я была выше всех моих соклассников, но была очень слабой, часто болела, страдала от жестокой анемии".

"С детства я была неуверена в себе, жила на свете с предчувствием, что вот-вот разразится какое-то несчастье. Впервые оно появилось у постели умирающего отца. Мне было тогда 15 лет. Потом умерла моя сестра Альва. Она была красивее и талантливее меня, а умерла совсем молодой в возрасте 24 лет от рака лимфатических сосудов".

"Наша семья была очень бедной. Как же я ликовала, когда на гонорар от фильма "Сага о Йесте Берлинге" смогла купить матери браслет и кольцо. Кстати, мои длинные ресницы я унаследовала от нее. В детстве она называла меня Кетой. Позднее я часто плакала, когда читала в газетах всякие ужасные вещи о моих отношениях с матерью. Это было неправдой".



Мама – Анна Луиза Густафсон



Папа – Карл Альфред Густафсон



## Актерское мастерство

"Годы учебы в Стокгольмской школе драматического искусства были самыми счастливыми в моей жизни. Нас, по крайней мере, обучили правильной артикуляции, а сейчас даже трудно понять, что говорят актеры.

Однако побеждать свой страх перед зрителем я так и не научилась. Я всегда была застенчивой, слишком скрытной, чтобы заставить себя предстать перед толпой зрителей.

Да и в павильоне присутствие посторонних людей мешало мне сконцентрироваться.

А знаете, что случилось в Швеции в 1928 году, куда я приехала на рождественские каникулы? Меня уговорили выступить в одной пьесе. Я начала репетировать роль. Но когда наступил день премьеры, я почувствовала себя такой нервной, что спектакль пришлось отменить".

"Меня часто приглашали выступить на Бродвее, но сама мысль об этом приводила меня в ужас".

## Красота

"У меня никогда не было собственного ящика с косметикой, играющего такую роль в жизни всех голливудских звезд. Перед выходом на съемочную площадку я использовала только пудру, губную помаду и тушь для ресниц. Кстати, я никогда не пользовалась накладными ресницами. Никогда не делала подтяжек или других манипуляций с моим лицом. Правда, мне пришлось перенести две хирургические операции. В молодости мне вырезали шишку на лбу, а совсем недавно удалили на носу небольшую опухоль.

Когда-то, очень давно я получила от фирмы "Пальмолив" очень выгодное предложение, связанное с рекламой мыла. Но я его отклонила, потому что сама пользовалась лавандовым мылом и пользуюсь им до сих пор. Правда, в Швеции мы с моей сестрой Альвой принимали участие в рекламе шведского мыла. Но были тогда очень молодыми и искренне радовались, видя свои лица на обертке".

## Голливуд

"Сегодня я могу посмотреть на свою голливудскую карьеру отстраненно, и она наполняет меня стыдом. Я сожалею о том пути,

который выбрала под давлением обстоятельств, но я была лишена возможности принимать решения самостоятельно и потому часто играла такие роли, которые мне самой решительно не нравились".

"Когда я приехала в Голливуд, то даже не представляла, какой сомнительный путь избрала. Быть кинозвездой – малоприятная профессия, ведь люди ни на минуту не оставят вас в покое. Это очень опасная игра".



Грета Луиза Густафсон  
Конфирмация 13 июня 1920 г.

"Я очень испугалась, когда после фильма "Плоть и дьявол" поняла, что обречена на веки вечные играть роли вамп. И я отказалась выйти на съемочную площадку. Они в руководстве МГМ подумали, что я сошла с ума, поскольку такие вещи в Голливуде были не приняты. Но я просто потеряла голову. Чувствовала себя униженной, усталой, не могла спать. Но главная проблема состояла в том, что я не ощущала себя настоящей актрисой, особенно когда осталась без Стиллера".

"Я устала от Голливуда, и, вообще, не любила мою работу. Были дни, когда я просто заставляла себя идти на студию. Я ушла потому, что не было ни хороших идей, ни хороших предложений. Я снималась даже дольше, чем планировала. Мне всегда хотелось жить другой жизнью. Я бы остановилась раньше, если бы не контракт. Мой последний фильм появился потому, что я выполняла условия контракта".

"В 1932 году лопнул банк, в котором я держала свои сбережения. Для меня это было страшным ударом. Ведь я уже созрела для того, чтобы исчезнуть из кино. Чтобы люди забыли о моем существовании, не оборачивались на улицах, не преследовали меня. И вот в 1932 году я была вынуждена подписать новый контракт, чтобы после стольких лет упорной работы не остаться на бобах. Бедность всегда страшила меня".

"Уже после своего ухода я получила множество предложений от различных кинокомпаний. Никто не хотел понять, что я вообще устала от Голливуда. Ведь я никогда не была настоящей актрисой, поэтому съемки отбирали у меня слишком много душевных сил".

"Я ужасно устала быть "звездой", устала от фильмов, которые мне предлагали. Такой путь зарабатывания денег на самом деле очень утомителен. Я была вынуждена обратиться к психиатру и проводила у него по полтора часа в день. Врач называл меня "интересным случаем депрессии" и советовал взирать на жизнь с юмором".

"В Голливуде я быстро состарилась, постоянно чувствовала себя усталой. И только переехав в Нью-Йорк, ощутила, что ко мне возвращается способность думать и воспринимать окружающую действительность".

"Часто, уставая на съемках, я приходила домой, ложилась в постель и начинала мечтать. Мне всегда хотелось стать графиней. Жить в деревне среди природы и животных, чувствовать себя защищенной. До войны я часто гостила у своих друзей – графов Вахмайстеров в их поместье в Тристаде. Это были лучшие дни моей жизни".

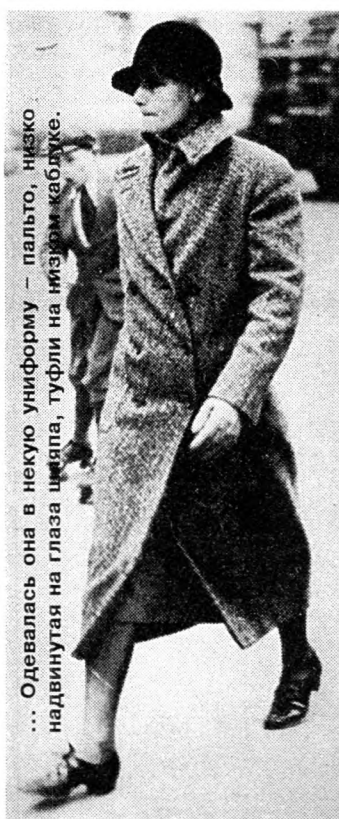
"К моим самым приятным воспоминаниям о Голливуде, без всякого сомнения, относятся прогулки вдоль океана и заплывы вблизи Санта-Моника. Правда, однажды со мной произошел ужасный случай. Меня подцепил крючок огромного спиннинга. В легкие попала вода, и я потеряла сознание. Инстинктивно я начала бороться за жизнь и очнулась только на песке. Вокруг не было ни души. Я перевалилась на живот, постаралась освободиться от воды и восстановить дыхание".



## Режиссеры

"Для меня существовал только один режиссер – Мориц Стиллер, Моша. Когда мне было 18 лет, он дал мне первую большую роль в фильме "Сага о Иесте Берлинге". Моя

... Одевалась она в некую униформу – пальто, низко надвинутая на глаза шляпа, туфли на низком каблучке.



героиня Элизабет Дона была итальянской аристократкой. Думаю, я получила эту роль потому, что никто не считал меня типичной шведкой ни в самой Швеции, ни в Голливуде. Кстати, в моем первом американском фильме мне пришлось играть испанку”.

“Моша был очень талантливым режиссером, он шел впереди своего времени, особенно если сравнить его картины с американскими лентами, которые были либо неправдоподобно драматичны, либо эксцентричны. Я надеялась, что он станет лидером Голливуда, но этого не произошло. Американцы просто проигнорировали его. Они совсем не понимают европейцев. Стиллер видел, что не может сработаться со всеми этими людьми, и решил уехать”.

“Моша был очень добр ко мне. Помню, как он восхищался моими ногами. “Вы только посмотрите на ее лодыжки! Вместе с каблук они образуют чудесную линию”, – говорил он”.

“Моша дал мне несколько заповедей, которыми я руководствуюсь до сих пор:

Не сплетничай и не делай никаких замечаний о других людях. Лучше помолчи.

Каждый человек – уникален.

Будь сама собой.

Не пытайся стать Нормой Ширер”.

“Когда я приехала в Швецию, то сразу же пошла на могилу Моши и отнесла ему цветы. Когда я вернулась на следующий день, цветы были выброшены”.

“Когда я жила в Голливуде, то каждую неделю ходила в кино. Смотреть, что делают другие люди, – часть профессии. Мне очень нравился Любич. Когда я посмотрела “Большой парад”, то испытала настоящее чувство восторга. Мне захотелось встретиться лично с ним и поблагодарить. Помню, я купила красные розы и поехала к нему. Он очень удивился моему визиту, но мы мило побеседовали целый час. Стоит ли говорить, с каким желанием я откликнулась на предложение поработать вместе с ним в “Ниночке”.

Мне также нравились комедианты Лаурел и Харди. В их честь я назвала двух моих кошек. Ох, и игривыми они были! Съели все цветы в моем садике.

Но больше всех мне нравился Чаплин. Мне так хотелось сняться у него. Однако у Чаплина были свои актрисы”.

## Фильмы

### “Королева Христина” (1933)

“Благодаря тому, что я сыграла королеву Христину, теперь весь мир знает, кем она была и что ей пришлось пережить.

В “Королеве Христине” я вновь играла вместе с Гилбертом. Вначале на роль Дона Антонио, возлюбленного Королевы Христины, планировался Джон Баримор, но он был слишком стар. Потом возникла идея пригласить англичанина Лоренса Оливье. Однако мне он показался слишком юным. И, честно говоря, я не представляла, как можно играть в интимных сценах с совершенно незнакомым человеком. И тогда я предложила Гилберта. Правда, у него был слишком тонкий голос, из-за чего его карьера пришла в упадок. Но техники научились творить чудеса. Джон был слишком страстным в некоторых сценах, так что мне не раз приходилось напоминать ему, что он теперь женатый человек и должен прежде всего думать о спокойствии своей семьи”.



Quenn Christina / “Королева Христина”



С Джорджем Шли

"Мне было приятно узнать, что Черчилль смотрел "Королеву Христину" в своем личном кинозале, когда на Лондон падали немецкие бомбы".

### "Дама с камелиями" (1937)

"Не могу сказать, что героиня вызывала у меня какие-то особые симпатии. Достаточно посмотреть, какую профессию она себе избрала. Конечно, роман Дюма я прочитала с большим интересом. Как ни странно, но на эту работу я получила много откликов. Например, мне написала жена Мао Цзэдуна и сообщила, что так часто смотрела фильм, что совершенно испортила пленку. Пришло письмо от дочери Дюма. Она утверждала, что я играю лучше Дузе и Бернар, которых она видела на сцене. Она не сомневалась, что, если бы ее отец посмотрел фильм, то обязательно влюбился бы в меня".

"На съемках "Камелии" я часто болела. В перерывах приходилось подолгу отлеживаться в гримерной. Моим партнером был замечательный молодой человек, может быть, чуть-чуть застенчивый – Роберт Тейлор. Он видел, как мне плохо, и делал все, чтобы облегчить мои страдания. Зная, что я люблю музыку, он

приносил с собой граммофон и пластинки. Ведь киностудия – та же фабрика. Необходимо поддержка, чтобы окончательно не упасть духом.

С Джорджем Кьюкором у меня сложились прекрасные отношения. Было снято два финала. Тот, что предложил Кьюкор, я считаю очень удачным. Я подавала Роберту руки и как бы засыпала.

Очень жаль, что Роберт Тейлор умер совсем молодым. Как и я, он много курил, и заработал рак легких. Ему даже не было шестидесяти, когда он умер".

"На съемках "Камелии" мне стало ясно, что нужно как можно скорее покончить со своей карьерой и вопреки давлению руководства МГМ расстаться с кино. В страшном мире этих людей можно было только погибнуть".

### "Ниночка" (1939)

"Мой самый любимый фильм – "Ниночка". Благодаря Любичу получилась замечательная комедия. Я так устала от всех этих роковых женщин, что восприняла фильм как отдушину. Кстати, мало кто верил, что Гарбо может играть в комедии".

"Всего несколько человек в Голливуде понимали мои проблемы. К их числу принадлежал и Любич. Как и я, он был эмигрантом и говорил по-английски со страшным акцентом. И вот в "Ниночке" мне предстояло сыграть сцену, где моя героиня произносит несколько грубых слов. Например, там была такая реплика: "Вот пну тебя под зад". Едва прочитав сценарий, я выразила протест руководителям студии. Видимо, они думали, если фильм не будет вульгарным, то не вызовет интереса. А может быть, они полагали, что моя героиня, русская комиссарша, должна выражаться только таким



...Пешие прогулки приводят меня в доброе расположение духа."





образом. Одним словом, когда пришла пора произносить эту реплику, я от смущения выскочила из павильона и, забившись в угол, дала волю слезам. Потом кто-то вошел и по-отечески положил мне на плечо руку. "Маленькая девочка, ты права. Не плачь!" Услышав этот акцент, я поняла, что передо мной Любич. Вечером он позвонил

... Ее седые волосы длинноваты, но она их принципиально не стрижет.

мне домой и согласился, что женщина не должна говорить таких слов".

### "Двуликая женщина" (1941)

"Компания МГМ имела множество проблем с "Двуликой женщиной". Католическая церковь протестовала против морали фильма, и мистер Майер согласился с ее требованиями перемонтировать фильм. Я получала десятки рассерженных писем от различных женских организаций. Такого не было раньше. Я почувствовала себя разочарованной и смущенной.

Война усугубила это ощущение. Я чувствовала себя совершенно разбитой. Ведь целых пять лет я не была в Швеции и жила в Голливуде как в изгнании. Меня преследовала мысль, что у меня нет корней, нет родины. Как раз в это время обострились проблемы со здоровьем. Я поняла, еще немножко – и мне придет конец".

## Жизнь после кино

"Чтобы стать независимой, иметь возможность жить своей жизнью, я пожертвовала многим".

"Я всегда мечтала стать хозяйкой своей жизни. Я видела в Голливуде слишком много трагедий, и это послужило наглядным предостережением".

"Большую часть жизни я провела лежа в постели. Не будучи больной, могла оставаться в постели целый день, просто лежать и смотреть телевизор. Все что угодно, но только не спорт.

В Нью-Йорке я обычно сама готовлю себе ужин, потом сижу в постели и ем. На свете найдется не много людей, проводящих время подобным образом".

"Я всегда нуждаюсь в ком-то, кто мог бы подтолкнуть меня в нужном направлении. Хозяйка моего отеля как-то поинтересовалась, что я делаю, когда не спускаюсь вниз. Я ответила: "Лежу в постели и рассматриваю обои". Ее это очень удивило".

"Один врач сказал мне: "Надо поверить, что жизнь может быть приятной и в пожилом возрасте". Смешной человек!

Я часто думаю о смерти. С нею все и закончится. Загробной жизни нет. Лично я в это не верю. Но я всегда была реалисткой".

## Эпилог

Не скрою, признания актрисы произвели на меня грустное впечатление. Печально сознавать, что роли, приводящие в священный трепет миллионы зрителей во всем мире, для самой исполнительницы были только работой, часто неприятной и утомительной.

Печально сознавать, что деньги и независимость, к которым так стремилась актриса, не сделали ее счастливой, а вожденное одиночество стало тюрьмой для ее души и тела. "Часто я задумываюсь над тем, почему рядом со мной нет ни одного человека, в компании которого мне хотелось бы объехать весь мир", – с грустью пишет актриса своим близким друзьям. А вот совет, который немолодая Гарбо дала своей юной корреспондентке: "Выходи замуж, заводи свой дом, детей, иначе станешь такой же несчастной, как я".

Гарбо знала, что нужно делать, чтобы все было хорошо, но делала так, как требовала ее беспокойная, больная душа. Ведь великие роли, как и великие стихи, не рождаются в атмосфере успокоенности и любования.

Вечная неудовлетворенность собой и окружающим миром и сделала ее величайшей трагической музой экрана.

Кстати, Гарбо принадлежит замечательный афоризм: "Жизнь может быть чудесной штукой. Только надо знать, что с ней делать".

## Гарена Краснова



**Читайте в следующем номере  
сценарий любимого фильма Греты Гарбо –  
комедии "Ниночка".**

# СОДЕРЖАНИЕ

- 10 Снимается кино  
Александр Галин "Аномалия"
- 44 Непоставленное кино  
Фридрих Горенштейн, Андрей Тарковский "Светлый ветер"
- Конкурс "Зеркало"  
75 Ариф Алиев "Натиск страсти"  
82 Иван Киасашвили "Как в кино..."  
85 Елена Лобачевская "Зверев"  
92 Александр Гоноровский, Рамиль Ямалеев "Первые на Луне"
- Прибытие поезда  
97 Александр Хван, Александр Дедков "Поезд"
- Мастерская  
108 Александр Полозов "Зарница"  
113 Полина Гудиева "Поездка"
- Секреты мастерства  
119 Александр Митта "Стереотипы драматургии" (продолжение)
- Из жизни звезд  
138 Марлен Дитрих. "Азбука моей жизни"  
172 Гарена Краснова "Грета Гарбо"
- Проза кинодраматургов  
144 Борис Носик "Бахорфильм"
- Анонс  
169 Мириам Салганик "Власть как лицедейство"
- Интервью  
2 Александр Галин "Мои герои не несчастны, они просто висят над землей..."  
39 Александр Митта "1:30 в гостях у Горенштейна"  
105 Юлия Гирба "Александр Хван: "Пока это только надежда...."

Главный редактор Н.Рюрикова

Ответственный секретарь М.Сергиенко. Выпускающий редактор Ю.Гирба.  
Компьютерная верстка О.Дорофеевой.

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Сдано в набор 20.10.95. Подписано к печати 03.11.95. Формат 70x100/16. Усл.печ.л. 14,5. Усл.кр.отт. 14,5. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура "прагматика". Тираж 12000 экз. Заказ № 3801

Издание осуществлено совместно с Издательско-полиграфическим центром Аэрофлота "ПАНАС-АЭРО"  
Отпечатано с готовых диапозитивов в ордена Трудового Красного Знамени ПО "Детская книга" Роскомпечати. Адрес 127018, Москва, Сущевский вал, 49

---

Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12  
Телефоны: 299-11-78, 299-47-74, 209-60-23





**ЭТОТ НОМЕР ЖУРНАЛА ВАМ ДАРИТ "АЭРОФЛОТ"**

**Авиакомпания "Аэрофлот –  
Российские международные авиалинии" –  
лидер гражданской авиации России.**

Аэрофлот – это:

- надежная техника и высокопрофессиональный персонал в небе и на земле;
- уникальный опыт нескольких десятилетий работы на западном рынке;
- регулярные полеты в 160 городов 103 стран мира, в том числе СНГ и Балтии;
- организация международных чартерных рейсов для пассажирских и грузовых перевозок;
- разветвленная сеть агентов и деловых партнеров.

**Аэрофлоту доверяют во всем мире!**

Телефоны авиакомпании в Москве:  
155-50-45 – международная справочная  
155-66-41, 155-66-48 – коммерческая служба  
155-59-48, 155-51-34 – пресс центр



# КИНО

СЦЕНАРИИ

ЧИТАЙТЕ В СПЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ СЦЕНАРИЙ ФИЛЬМА ЭРНСТА ЛЮБИЧА "НИНОЧКА"

# №5

## GARBO

